МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

З. Н. ГИППИУС

Contes d'amour
Дневник любовных историй



З. Н. Гиппиус

Contes d'amour

Дневник любовных историй



Москва
2022

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-49
Г50

Гиппиус, З. Н.

Г50 Contes d'amour = Дневник любовных историй / З. Н. Гиппиус. — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 452 с.

ISBN 978-5-4499-2924-2

В ваших руках личный дневник знаменитой представительницы Серебряного века, писательницы и поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945). Она начала вести дневник в возрасте двадцати трех лет и больше десятилетия описывала свои привязанности и любовные переживания. Живя в браке с русским писателем-символистом Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус тем не менее имела свободные взгляды на семейные отношения и была известна своими многочисленными романами как с мужчинами, так и с женщинами. Поэтесса писала: «В моем духе — я больше мужчина, в моем теле — я больше женщина. Но они так слиты, что я ничего не знаю». В дневнике сквозь недомолвки и намеки, прослеживается надежда и отчаянье женщины в попытках самооправдания и решения проблемы гендерной неопределенности.

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-49

ISBN 978-5-4499-2924-2

Автобиографическая заметка

Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переменившего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга (герб фон Гиппиус — 1515 г.). Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем — немецкая; браки с русскими не давали прочных ветвей.

Мой дед, Карл-Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил, ввиду начавшегося туберкулеза, около двух лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался «кандидатом на судебные должности» в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству.

Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер; он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерями переехала в Тулу, к сыновьям.

Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами. В противоположность другой моей — московской — бабушке, Аристовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как grand'maman, эта до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала.

В январе 1869 года мой отец женился и уехал в Белев Тульской губернии, где получил место. Я родилась в Белеве, в конце того же 1869 г., 8 ноября, а через шесть недель отца опять перевели в Тулу, товарищем прокурора, и меня тетка везла всю дорогу, на руках, в возке.

С этих пор и начались наши постоянные переезды: из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков, причем каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили.

Я росла одна. Все с той же, вечной нянькой, Дарьей Павловной, а потом с бесчисленными гувернантками, которые со мною мало уживались.

В 1877–1878 гг. моего отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора Сената. Но мы прожили там недолго: туберкулез отца сразу обострился, и спешно был устроен его перевод опять на юг, в крошечный городок Черниговской губернии Нежин, на место председателя суда. Меня отдали было в киевский институт, но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить: я ничем не страдала, кроме повышенной температуры.

В Нежине не было тогда женской гимназии, и ко мне ходили учителя из Гоголевского лицея.

Через три года отец мой, все время прихварывающий, сильно простудился и умер (9 марта 1881 г.) от острого туберкулеза. Умер молодым — ему не было еще 35 лет. После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал). Писал стихи, переводил Ленау и Байрона, перевел, между прочим, всего «Каина».

После смерти отца мать моя с детьми (в то время у меня было уже три совсем маленьких сестры) решила окончательно переселиться на житье в Москву. Средства оказались небольшие, а семья порядочная: с нами жила еще бабушка и незамужняя тетка, сестра моей матери.

Но и в Москве мы не прожили более трех лет: моя болезнь, в которой подозревали начало наследственного туберкулеза и благодаря которой я должна была оставить

классическую гимназию Фишер (мать почему-то отдала меня туда, и гимназия мне нравилась), — эта болезнь заставила нас сначала переселиться в Ялту, а затем в Тифлис.

В Ялте мы прожили год, на уединенной даче А. Н. Драшусова, по дороге в Учан-Су. Там у меня были только книги, занятия с сестрами да бесконечные писания — писем, дневников, стихов... Стихи я писала всякие, но шутливые читала, а серьезные прятала или уничтожала.

Еще при жизни отца я хорошо знала Гоголя и Тургенева. В Москве, особенно за последний год, перечитала всю русскую литературу и особенно пристрастилась к Достоевскому. Читала беспорядочно, и помогали мне кое-как разобраться только два человека: дядя с материнской стороны, живший у нас некоторое время (вскоре он уехал и умер от горловой чахотки), и учитель последнего года в Москве, Николай Петрович (фамилии не помню), которому я до сих пор благодарна. Он приносил мне новые книжки журналов, сам читал мне классиков, задавал серьезные сочинения. Помнится, что он писал тогда в «Русских Ведомостях».

Переехали мы из Ялты в Тифлис отчасти потому, что там жил второй брат моей матери с семьей, известный тифлисский присяжный поверенный, редактор им же созданного «Нового Обозрения». Меня, хотя я и поправилась, мать еще боялась везти на север, и сестры были слабого здоровья.

В гимназию поступать оказалось поздно (мне было 16 лет), я бы и не выдержала экзамена в последний класс — слишком бессистемны были мои знания. Умела заниматься тем, что нравилось, а к другому до странности была тупа.

Книги — и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания — только это одно меня, главным образом, занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя,

что «настоящего» тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я «веселья» провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду; ездила далеко в горы.

Летом умер мой дядя. Следующее лето, 1888 года, мы проводили в Боржоме (дачное место около Тифлиса), и там я познакомилась с Д. С. Мережковским.

Меня в то время тифлисская молодежь звала «поэтессой». Молодежь неуниверситетского города — это или выпускные гимназисты, или офицеры. Но офицеры у нас не бывали, они мне казались более грубыми и тупыми, нежели гимназисты, с которыми мы вместе увлекались едва умершим Надсоном; многие из них, как и я, тоже писали стихи. К тому же это были все товарищи моего двоюродного брата, с которым я очень дружила.

Д. С. Мережковский в то время только что издал первую книжку своих стихотворений. Они мне не нравились, как ему не нравились мои, не напечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. Как я ни увлекалась Надсоном, — писать «под Надсона» не умела, и сама стихи свои не очень любила. Да они, действительно, были довольно слабы и дики.

На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским.

Он уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через два месяца, 8 января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург.

Стихи мои в первый раз появились в печати в ноябре 1888 г. в «Северном Вестнике», за подписью *З. Г.*

Вслед за нашим отъездом уехала из Тифлиса и моя мать с семьей, сначала в Москву, а потом в Петербург (где и скончалась в 1903 г.).

Дальнейшая жизнь моя в Петербурге, литературная деятельность, литературные круги, мои встречи и отношения с писателями за двадцать с лишком лет — все это могло бы послужить темой для мемуаров и мало годится для автобиографической заметки.

За все протекшие годы мы с Мережковским никогда не расставались. Много путешествовали. Жили в Риме. Два раза были в Турции, в Греции.

Отец Мережковского был довольно состоятельный человек (он умер глубоким стариком, в 1906 году), но, благодаря личным свойствам и множеству дочерей и сыновей, он мало помогал нам, и мы жили почти исключительно литературным трудом. Стихи я всегда писала редко и мало, — только тогда, когда не могла не писать. Меня влекло к прозе; опыт дневников показал мне, что нет ничего скучнее, мучительнее и неудачнее личной прозы, — мне хотелось объективности.

Первый мой рассказ «Простая жизнь» (заглавие изменено М. М. Стасюлевичем на «Злосчастная») был напечатан в 1890, кажется, году в «Вестнике Европы». Я писала романы, заглавий которых даже не помню, и печаталась во всех, приблизительно, журналах, тогда существовавших, больших и маленьких. С благодарностью вспоминаю покойного Шеллера, столь доброго и нежного к начинающим писателям.

Замечу, что европейское движение «декаданса» не оказало на меня влияния. Французскими поэтами я никогда не увлекалась и в 90-х годах мало их читала. Меня занимало, собственно, не декадентство, а проблема индивидуализма и все к ней относящиеся вопросы. Литературу я любила нежно и ревниво, но никогда не «обожествляла» ее: ведь не человек для нее, а она для человека.

То «двойственное» миросозерцание, которое в конце 90-х годов переживал Мережковский («небо вверху — небо внизу», роман Л. да Винчи), никогда не было моим.

Помню, что в этот период мы особенно горячо спорили и ссорились, так как я не могла принять «двойственности», но не умела определить, почему именно с нею не примиряюсь.

Могу еще сказать, что полосы абсолютной безрелигиозности у меня не было вовсе. Зеленую детскую «бабушкину лампадку» скоро, конечно, заслонила жизнь. Но жизнь, сталкивавшая меня постоянно с тайной смерти, с тайной Личности, с тайной прекрасного, не могла перевести души в ту плоскость, где не зажигаются никакие «лампадки».

Наиболее яркими событиями моей (и «нашей») жизни последних лет я считаю устройство первых Религиозно-философских собраний (1901–1902 гг.), затем издание журнала «Новый Путь» (1902–1904 гг.), внутреннее переживание событий 1905 года и затем совместный наш с Д. В. Философовым отъезд за границу, в Париж, где мы прожили больше трех лет.

Там издан был нами сборник на французском языке; из четырех статей мне принадлежали две: «О насилии» и «В чем сила самодержавия».

В них я пыталась высказать, еще кратко, еще почти намеками, некоторые из мыслей, меня очень занимавших и важных для общего строя моего миросозерцания. Эти частные мысли впоследствии превосходно были поддержаны, развиты и дополнены более талантливыми друзьями моими, главным образом, Д. С. Мережковским, — даже как бы пересотворены им.

По совести должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уже потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, — но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречности нередко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, — «нам».

Так же, впрочем, шла я, шли мы, насколько умели, навстречу «влиянию» нашего друга Д. В. Философова и всех близких, о помощи которых я вспоминаю с большой любовью.

О себе лично писать и говорить почти нельзя. А судить себя, оценить себя в литературном или каком-либо ином отношении — нельзя совсем. Это дело других. Скажу только, что сама я придаю значение очень немногим из моих слов, писаний, дел и мыслей. Есть три-четыре строчки стихов: «...хочу того, чего нет на свете...»; «...в туманные дни — слабого брата утешь, пожалей, обмани...»; «Надо всякую чашу пить до дна...»; «Кем не владеет Бог — владеет Рок...»; «...это он не дал мне — быть...» (о женщине). Если есть другие — не помню. Эти помню.

Вспоминаю еще жизненно-удачную мысль мою о нужности Религиозно-философских собраний, — наш журнал «Новый Путь»; вспоминаю мои слова «нельзя и надо» (смутная, но краткая и для меня ясная формула) по вопросу «насилия». Важна еще была мне мысль «о власти единого над многими», о самом принципе единовластия, вечном, общем, антирелигиозном принципе человека-героя, человека-хозяина...

Центр же, сущность коренного миросозерцания, к которому привел меня последовательный путь, — невыразима «только в словах». Схематически, отчасти символически, сущность эта представляется в виде всеобъемлющего мирового Треугольника, в виде постоянного соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных, всегда трех — и всегда составляющих Одно.

Воплощение этого миросозерцания в словах и, главное, в жизни — необходимо, и оно будет. Не под силу нам — сделают другие. Это все равно, — лишь бы было.

1914

Contes d'Amour[1]
Дневник любовных историй
(1893–1904)

«Она искала встреч — и шла всегда назад,
И потому ни с кем, ни разу, не встречалась».

Буренин
6 мая 1901 г.

Почему???

19 февраля 1893 г.

Так я запуталась и так беспомощна, что меня тянет к перу, хочется оправдать себя или хоть объяснить себе, что это такое?

Ни Solitudo[2], ни Ricordo[3], мои дневники афоризмов, здесь не помогут. Нужны факты и, по мере сил, чувства, их освещающие. Я не говорю, что в этой черной тетради, вот здесь, я буду писать правду абсолютную, — я ее не знаю. Но всякую подлую и нечистую мысль, про которую только буду знать, что она была, — я скажу в словах неутайно. Только мне нужен специальный дневник. Иначе выйдет оскорбительно для всего другого. Отделить эту непонятную мерзость от хорошей части души. Смогу ли только? А если мерзость так велика, что ничего и не останется? Попробуем.

И не надо выводов. Факты — и какая я в них. Больше ничего. Моя любовная грязь, любовная жизнь. Любовная непонятность.

---

[1] Сказка любви (*фр.*).

[2] Уединение (*ит.*).

[3] Память (*ит.*).

Но все теперешнее... о, оно не по фактам так мучительно, а по сознанию моей беспредельной слабости. Лучше бы я была просто низкой и подлой. Быть подлой по слабости — вдвойне низко.

Идем за фактами, скучно.

Теперь мое время убивается двумя людьми, к которым я отношусь глубоко различно и между тем одинаково хотела бы, чтобы их совсем не было на свете, чтобы они умерли, что ли... Если бы я могла уехать за границу, я была бы истинно счастлива.

Один из этих людей — Минский, другой — Червинский.

21 февраля

Продолжаю через два дня, когда прибавилось много новых фактов. Но не надо забывать хронологию. Я даже думаю вот что: мои «специальные» мемуары будут куцыми, если я возьму факты с теперешнего момента. Нельзя. Надо коснуться прошлого. Но чуть-чуть, потому что некогда. На каждую историю две-три строки.

Учителя, кузины — Бог с ними! В 15 лет, на даче под Москвою, влюбление в хозяйского сына, красивого рыжебородого магистра (чего?). Впрочем, я о взаимности не мечтала, а хотела, чтоб он влюбился в Анету. При свете зеленой лампадки (я спала с бабушкой) я глядела на свою тонкую-тонкую детскую руку с узким золотым браслетом и ужасно чему-то радовалась, хотя уже боялась греха. Потом? Не помню. Долго ничего. Но такой во мне бес сидел, что всем казалось, что я со всеми кокетничаю, а и не с кем было, и я ничего не думала. (Наивность белая до 20 лет.) — Пропускаю всех тифлисских «женихов», все, где только тщеславие, примитивное, которое я уж потом стала маскировать перед собою, называя «желанием власти над людьми». В 18 лет, в Тифлисе, настоящая любовь — Jérôme.

Он — молод, добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно болен. Похож на Христа на нестаром образе. Ни разу даже руки моей не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась — знаю это теперь, а тогда ничего не видала. Первая душевная мука. Кажется, я думала: «Ах, если б выйти за него замуж! Тогда можно его поцеловать». Мы, однако, расстались. Через три месяца, он, действительно, умер, от чахотки. Эта моя любовь меня все-таки немного оскорбляла, я ведь и тогда знала, что он глуп.

Через год, следующей весной — Ваня. Ему 18 лет, мне тоже. Стройный, сильный мальчик, синие глаза, вьющиеся, льняные волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб. Отлично все понимала и любовь мою к нему презирала. Страшно влекло к нему. До ужаса. До проклятия. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть — падение. Непонятно без обстановки, но это факт.

Относясь к себе как к уже погибшей девушке, я совершенно спокойно согласилась на его предложение (как он осмелел!) влезать ко мне каждую ночь в окно. (Мы жили в одноэтажном доме на тихой, пустой улице, напротив был сад.) Почему же и не влезать? Я ждала его одетая (так естественно при моей наивности), мы садились на маленький диванчик и целовались. Не знаю, что он думал. Но не помню ничего, что бы меня тогда оскорбило, испугало или хоть удивило. Ничего не было. А вот я один раз его испугала. После одного поцелуя (уж не помню его) он отшатнулся и прошептал боязливо:

— Кто вас научил? Что это?

(Он мне почти всегда «вы» говорил, а я ему «ты», я так хотела.)

Я и не поняла его, только сама испугалась: кто мог и чему меня выучить?

Нарочно пишу все, весь этот цинизм, — и в первый раз. То, что себе не говорила. Грубое, уродливое, пусть будет

грубо. Слишком изолгалась, разыгрывая Мадонну. А вот эта черная тетрадь, тетрадь «ни для кого» — пусть будет изнанкой этой Мадонны.

Физически влекло к Ване. Но презирала его за глупость и слабость. Надо было расстаться. Я предложила ему умереть вместе (!). Это все-таки его оправдало бы, да и меня. (Надо сказать, что я себя вообще тогда считала «лишней» на свете.)

Ждала его в Боржом. Он не приехал. (Родители его сразу отправили в Киев, и умно сделали.) Презрение к обоим и сознание, что меня все-таки влечет к нему, — чуть это все меня тогда пополам не перегрызло. Но решила оборвать все, сразу, и оборвала, хотя все-таки влекло.

Какая детскость! Точно необходимо, в любовной истории, равенство умов! (Главное, это трудно до отчаяния. Думаю, что не необходимо потому, что для мужчины это еще труднее. Ведь среди женщин даже и такой, дешево-нарядный ум, как мой, — редкость. Тогда бы мало кто кого любил! Вздор, да ведь никто и не любил еще. Не бывало. Надо покориться и пользоваться тем, что есть.)

Бедный Ваня! Я потом, через долго, видела его. Но меня уже не влекло. Все-таки, когда я узнала о его конце (он повесился, в долге), на меня эта смерть удручающе подействовала.

Встреча с Дмитрием Сергеевичем, сейчас же после Вани. Отдохновение от глупости. Но зато страх за себя, оскорбление собою — ведь он сильнее и умнее? Через 10 дней после знакомства — объяснение в любви и предложение. Чуть не ушла от ложного самолюбия. Но опомнилась. Как бы я его потеряла?..

Вот Минский. (Ребяческую, тщеславную суету пропускаю.)

С Минским тоже тщеславие, детскость, отвращение: «А я вас не люблю!» И при этом никакой серьезности,

почти грубая (моя) глупость и стыд, и тошнота, и мука от всякого прикосновения даже к моему платью!

Но не гоню, вглядываюсь в чужую любовь (страсть), терплю эту мерзость протянутых ко мне рук и... ну, все говорить! горю странным огнем влюбленности в себя через него. О, как я была рада, когда вырвалась весной на Ривьеру, к Плещееву, из-под моих темных потолков.

(Плещеев — скучно, неважно.)

На Ривьере — доктор. История вроде Ваниной, только без детства. Мне казалось, что я играю, шучу. Искание любви, безумие возможности (чего?) — яркая влюбленность (вилла Элленрок, дача М. Ковалевского) — и вдруг опять, несмотря на все мужество во имя влюбленности, — холод и омертвение. А между тем ведь мне дан крест чувственности. Неужели животная страсть во мне так сильна? Да и для чего она? Для борьбы с нею? Да, была борьба, но не хочу скрывать, я тут ни при чем, если чистота победила. Я только присутствовала при борьбе. Двое боролись во мне, а я смотрела. Впрочем, я, кажется, знала, что чистота победит. Теперь она во мне еще сильнее. Тело должно быть побеждено.

Всегда так. Влюблена, иду. Потом — терплю, долго, во имя влюбленности. Потом хлоп, все кончено. Я — мертвая, не вижу того человека...

Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть, это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? То есть любили, но даже не по своему росту. У Дмитрия Сергеевича тоже не такая, не «моя» любовь. Но хочу верить, что если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит «чудесно»... Ах, ничего не знаю, не могу выразить! Как скучно...

Устала писать, не могу дойти до теперешнего. Завтра.

22 февраля

Ну-ка, фактики!

Минский, после всех разрывов, опять около меня. А я даже и в себя через него больше не влюблена. Держу потому, что другие находят его замечательным, тоже за цветы и духи. В бессильности закрываю глаза на грязь его взоров.

Червинский — другое.

Этой зимой, 17 ноября, мы долго рассуждали о любви. Я думала:

«Нет, я не во всякого могу влюбиться. До чего с этим безнадежно».

«Я мог бы полюбить вас только, если бы отнеслись ко мне... Но я вас боюсь». Я смеялась.

— Да я уж влюблена в вас!..

Он поцеловал кончик моих волос, увлечен не был, но я почувствовала, что могу...

Письма, неуверенность, неопределенность, моя полуправда, игра... Два месяца. В жестах неоскорбительный, допоцелуйный прогресс. Это ничего. Нет ли во мне просто физиологической ненормальности? Как только кончен февраль любви (с иными апрель, май — с разными разно) — в мое чувственное отношение к человеку вливается чувственная ненависть. Она иногда сосредоточивается в одной внешней черте... Но это обман, это не к человеку.

Милая, бесхитростная влюбленность! Буду тебе помогать. Если б я умела довольствоваться маленьким, коротеньким, так хорошо и легко бы жилось. Пусть демон хранит мое целомудрие, я люблю и позволяю себе ангельские приятные поцелуи...

После первого, полуслучайного поцелуя в дверях — я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала его

(Минского) в третьем часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душиться, говорят, mauvais genre[4], но я люблю.)

Скользнула щекой вниз по его лицу и встретилась с его нежными и молодыми губами.

Я дурно спала и улыбалась во сне.

Вот и отлично бы, а я не удовольствовалась. Как я знаю, что он ничтожен? А если нет? Если может не флирт — а любовь? Нет, не могу флирта. Стыжусь. Одно письмо мне понравилось. Он неумен и ничтожен? Да как я знаю? Я стала говорить о «большом чувстве».

Пошли «выверты». Хорошо, что мало поцелуев. Явилась и ложь. Я преувеличиваю перед ним мою веру в него.

Он сказал мне раз, тоже в дверях: «Зина, пришло большое...» Нет, не верю. Не влюблена в его любовь.

Господи, как я люблю какую-то любовь. Свою, чужую — ничего не знаю.

23 февраля

Иногда мне кажется, что у Червинского душа такая же мясистая, короткая и грузная, как его тело.

В понедельник на прошлой неделе был Минский. Я сидела в ванне. Я позвала его в дверях, говорила какой-то вздор и внутренно смеялась тому, что у него голос изменился. Издеваюсь над тобой, власть тела! Пользуюсь тобою в других! Сама — ей не подчинюсь...

Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер. Но теперь довольно. Я потому плакала, что Червинский написал несколько нежно-милых строк, а они так не шли к моему настроению, точно их офицер писал. Да и офицер их не написал бы, если б любил.

Хочу того, чего не бывает.

---

[4] Дурной тон (*фр.*).

Хочу освобождения...

Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь.

А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу.

Не буду писать Червинскому. Слишком безнадежно. Я останусь одна со своим безумием. Солнце, солнце!

7 марта

Чтоб покончить с моими «сказками любви» — надо корень жизни изменить...

Да, все наперекор себе, все наизнанку, боюсь грубого, отвратительного, некрасивого — а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою душу не тому, чему хочешь отдать, — а чему не хочешь, вот где беспредельная гордость и власть.

И только для себя, потому что ведь никто не узнает, чем это было для меня. Я буду для других только одна из многих самоотверженных женщин. Любвеобильное, альтруистическое, женское сердце... Господи! Нет. Я сумасшедшая...

13 марта

У меня много тоскливой, туманной нежности... Я так редко нежна...

15 марта, понедельник

Мутит меня.

Опять этот Минский, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жадными глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не мочь.

Я улыбаюсь от злости.

Вчера у Репина было отвратительно скучно. Те, Шишкин, Куинджи, Манасеин, Прахов, Тарханов — старье, идолы глупости. Тромбон — Стасов, Гинцбург, рожи-дамы...

Нет жизни, нет культуры.

Что бы сделать с собой?..

Нет красивых и чистых отношений между людьми (разве только духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте...

19 марта, пятница

Вероятно, я пишу здесь в последний раз. Если возвращусь к этим страницам, то через долгое время, когда будут новые «сказки любви», потому что эти — кончены.

Во вторник вечером я написала Червинскому такое письмо, которое привела бы здесь, если б он его возвратил. Я сказала все, что думала. И как переменились мои мысли. Я говорила, что надо проститься, надо оборвать отношения сразу.

Просила прийти вечером, 17-го марта (ровно 4 месяца). Когда получила в постели записку с одним словом: «приду» (я не хотела других слов) — мне стало так жаль себя, что расплакалась. Но потом стыдно сделалось самой.

Плохо спала. Рано проснулась. Целый день ходила. Вечером поехала по Французский театр. И когда вернулась — была измучена и физически, и нравственно.

Он ждал меня. А я ничего не чувствовала, кроме досады.

Я знала, что мы расстаемся серьезно. Но теперь даже мне хуже, чем тогда.

Мучительный вечер! Этого человека я не понимаю. Не понимаю, любит он меня или нет. И он меня определенно не понимает.

(Например, он совершенно не понимает, что это не плохо, что я ему никогда не говорю «люблю». Чудесной, последней любви нет; так наиболее близкая к ней — неразделенная, т. е. не одинаковая, а разная с обеих сторон. Если я полюблю кого-нибудь сама; и не буду знать, любит ли он, — я все сделаю, чтоб и не знать, до конца. А если мне

будет казаться... не захочу, убью его любовь во имя моей. Ведь все равно он не сможет так, как я. Вздор! Если полюблю — поверю, что сможет. Вера неотделима от любви. Да пусть. Поверю, а действовать стану по знанию, а не по вере...) Господи, дай мне то, чего мне надо!

Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты видишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То, подлое во мне, что, я слышу, шевелится — ведь Ты же дал мне. Ну, прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне страшно рассердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Неужели это все — от жалкой причины отъезда Червинского? Нет, не все тут. Я правдива здесь. Я сожгу это перед смертью. Много, много у меня в душе. Я писала стихи сегодня, после многих лет. Пусть они плохи, но пишу их и повторяю потом — как молюсь. Есть неведомое чувство умиления и порыва в душе. О, если б молиться, пока жить!

Песня

Окошко мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Вижу я только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Пустым и бледным.
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
И жажду того, чего я не знаю,
Не знаю.
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце просит и хочет чуда,
Чуда!

Мои глаза его не видали,
Никогда не видали,
Но рвусь к нему в безумной печали,
В безумной печали.
О пусть будет то, чего не бывает,
Не бывает,
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает, —
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете.
Мне нужно того, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

После 17-го марта

26 марта

Какие дни! Опять пишу. Зачем?

Какие дни!

Два слова о Минском. Я о нем здесь забыла. Это — другой человек. Что с ним? Он или так любит меня, что имеет силу, или вообще имеет силу. Если б он всегда был такой! И мое отношение к нему меняется. Ни отвращения, ни злобы.

Дай Бог ему еще больше сил.

28 марта — суббота — воскресенье
(Пасхальная ночь)

Поют «Христос Воскрес». Я молюсь о том, чтобы Он дал мне легкость души и освобождение.

Такая боль, что от нее слезы выступают на глаза, и она длится, и от продолготы боли теряешь сознание времени.

Не раненое ли это самолюбие? Не от самой ли боли и боль?

Я — и Червинский!

Жесткая боль, тесная боль, горячая боль. Так разве страдают от любви? Червинский прислал письмо из Венеции.

Не распечатала его. Отдам ему. Вижу в письме на свет веточку ландышей и несколько слов: «Брожу растерянный, тоскующий... Какое было бы... Умоляю одну строчку... в Рим... Не могу ничего не знать о вас...»

Бедная веточка, бедные слова! Нет любви, нет ни у кого резкого, сильного, громового слова. О, если бы я любила!..

Много я о себе узнала в это последнее время. Никогда не тревожьте меня, мои небесные мечты! Успокой, Господи, мое сердце. Утоли мою боль. Утиши мою злобу. Прости, отпусти меня. Сделай не то, что я хочу, а что Ты хочешь. Как я понимаю слова «Да будет воля Твоя!». В первый раз так понимаю. Не то важно, что мне сделали, а как оно во мне отозвалось.

Успокой, Господи, мое сердце.

30 марта, вторник

Что это? Всего два часа, и гудят колокола, это заутреня? Я хотела бы пойти в церковь. Мне часто хочется молиться. И только об одном: пусть Он сделает скорее, как Он хочет.

20 сентября

С усилием беру перо, но хочу писать окончательное окончание.

Такое оно позорное. Вот она, душевная одежда, самолюбие!.. К лету я успокоилась и забыла о Червинском. Мы переехали в Лугу.

Я скучала, но у меня рождались новые, страшные мысли о свободе... Должно быть, не очень они были еще сильны тогда — бесплодные мысли!

С Минским я кончила тогда же, весною. Тоже как-то трусливо кончила, сама к нему ходила в Пале-Рояль, жалела, а потом забегала вперед и писала письма о разрыве. На последнее, решительное, он не ответил и уехал. Больше ничего о нем не знаю.

Зачем Червинский приехал к нам в Лугу? К маме? Но он мог бы подождать до осени. Не знаю.

Приехал в день нашего (меня и Дмитрия Сергеевича) отъезда по делам в Спб.

Я все-таки волновалась, укладывая чемоданчик. Цвела сирень, я чувствовала себя хорошенькой и свежей и думала: «А ведь он любит меня еще!» Я приходила и уходила, звеня ключами. Он сидел в столовой, черный, располневший, бритый...

В Петербурге он должен зайти ко мне (я просила).

Он пришел. Белый вечер, пустая квартира, Дмитрий Сергеевич, брат Николай.

— Я на минуту, — сказал Червинский, входя, — я занят.

Время шло, было неловко, но я вызвала его в другую комнату.

— Вот ваше письмо, я его не читала. Возвратите мне мое, последнее.

Он схватил бедное письмо, с той веточкой ландышей, и злобно разорвал его.

— Теперь я знаю, вы не могли ответить, вы не знали, как ответ мне был нужен. На это письмо нельзя было не ответить. Ваше я возвращу. Тогда я не мог...

— А теперь...

— Теперь оно мне больше не нужно...

Я сделалась кротка и печальна. Разве я не предупреждала его честно, что не буду отвечать на письма? Я говорила о моих «мечтах», о боли... У меня почти нет враждебности к нему... Прежнее чувство неприкосновенно, все, что было... Разве можно изменяться? Мне нравилась моя роль — résignée[5]. Не знаю, где кончалась искренность и начиналась ложь. Я волновалась.

Он ходил по комнате, желтый, мрачный.

---

[5] Безропотная, покорная (*фр.*).

— Вы бросаете другой свет... Но моя враждебность создалась постепенно... Я так работал над собой... А теперь — кончим эту аудиенцию. Все сказано. (Это он — мне сказал, а я пишу.)

Мы еще пили чай при белом свете. Я уже не могла выйти из роли покорной страдалицы. Я звала его в Лугу.

Уезжая, я оставила ему письмо. Зачем? О, эти мои письма! О, как они меня жгут, каждое, даже невинное, не содержанием, а самим фактом!.. Люблю свои письма, ценю их — и отсылаю, точно маленьких, беспомощных детей под холодные, непонимающие взоры. Я никогда не лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса — мои письма! Какой редкий дар! Да, редкий. Пусть они худы — даю, что имею, с болью сердца, с верой в слова. Из самолюбия писем не пишу, но после они обращаются на мое самолюбие, и я это знаю, и жертвую самолюбием — слову.

И в письме была правда, опять старая правда, только без надежд. Господи, прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестока порою! Устала. Завтра кончу все о Червинском...

22 сентября

Продолжаем. Какая скука! А надо...

Червинский опять приехал через месяц.

Я много писала в этот месяц, а главное, много думала. Мысли меня могут пополам разломить, если очень ярки. До Червинского они не касаются.

Но — факты.

Он приехал, я очень взволновалась, все забыла, кроме опять мелкого самолюбия, и сразу попала в тон résignée[6].

Он был довольно холоден и крайне равнодушен. Вечером я затащила (именно затащила) его к себе.

---

[6] Покорный (*фр.*).

Я говорила опять о прошлом, он отвечал неохотно. О том, что он разлюбил — я упомянула вскользь, как о конченном деле; но сама думала: не может быть, ведь осталось же хоть что-нибудь.

Он сидел на моем розовом диване, прямо поставив ноги, сложив полные ручки на коленях, с каменной неподвижностью...

То же было и на другой день. Только я была некрасивее от слабости и злобы (я ужасно некрасива, когда слаба и зла, и знаю это, и страдаю, и еще хуже тогда).

Я обещала ему отдать все его письма. Он точно обрадовался. После завтрака мы остались одни.

— Пойдемте гулять, — сказала я.

Помню свою батистовую кофточку, vieux rose[7], белое покрывало и зонтик с большим шелковым бантом... Я опять говорила, мы сели на скамейку. Вдруг я заметила, что он не слушает. Что-то такое тупое было в его лице, что я испугалась. И, прервав себя, спросила его:

— О чем вы думаете?

— О чем я думаю? — повторил он машинально. — Так. Ни о чем. О деревне думаю.

— О какой деревне? — спросила я почти с ужасом.

— Так, о деревне. Я скоро с ума сойду, — прибавил он, помолчав, с прежней безучастностью.

Замолчала и я.

Солнце сквозь ветви пятнами падало на его неподвижное лицо, на коричневый котелок, на скоробившийся fauxcol[8]. Душу мою ело чувство без названия. Ужас? Стыд? Отчаяние унижения? Не знаю... Но скучно все писать, все то же самое, я не пожалела себя — ну и довольно. Здесь довольно. Но смею ли теперь вернуться к моим мыслям... о Свободе?

---

[7] Увядшая роза (*фр.*).

[8] Пристежной воротничок (*фр.*).

16 октября. Спб.

Минский в городе... Теперь мне все равно. Я жалею его. Я пожелала ему быть свободным и радостно одиноким, это единственное счастье. Только он этого не поймет.

От времени до времени меня тянет к этой тетради.

17 ноября

Да, тянет, потому что даже в безобразной правде есть привлекательность. Я утоляюсь, здесь я — не раба, я свободна, я смотрю моей жизни в глаза, я плюю на все, на всех и на себя, главное — на себя. Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от — судьбы... Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя.

Но здесь не место об этом. И я еще так слаба...

О чем я хотела писать? о последнем разговоре с Червинским.

Вечером, поздно. Случайно. Я уже была иная. Я просто хотела знать, потому что тут чего-то не понимала. За что он так враждебен?

Потому что в нем не равнодушие было, а вражда.

Прослушала молча.

Говорил почти грубо, что у меня нет ничего святого, что он это знает, а не предполагает, «по математическим изысканиям»... В чем обвинял он меня — не знаю; чувствуя себя правой перед ним (не перед собой, может быть) — я улыбалась, ибо ведь не в моей власти было заставить его поверить мне, если нет веры. Не знаю даже, о чем он говорил. Что ж, дать ему было эту тетрадь? Зачем? Нет силы у слов.

В моей улыбке, в моем молчании была правда, которую все-таки отчасти почувствовал. Потом забудет — не все ли равно?

А перед собой я виновата в том, что не могу переломить себя совсем и не чувствовать моей больной, горькой печали.

15 декабря

Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое напряжение воли, жизнь все-таки непереносно меня оскорбляет. Говорю без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорбления чем глубже, тем отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, царапает ее все малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать. Подумаешь, какая тонкость! Ах, недаром поэты меня отпевают. Пошло и сентиментально пишу. И вздор.

Господь даст мне силу недетскую, даст силу быть, как Он — одним. Свобода, ты — самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблений, съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой и сильной. Будет минута перед смертью, когда...

12 марта 1894 г.

Я больна, кажется, серьезно. Может быть, мы поедем за границу. Надо ехать. Не стоит здесь писать. Нет никаких contes d'amour. Это мои мысли так меня переломали. В них есть что-то смертельное. В моей этой «свободе». Боюсь, не хочу думать. Верно ли, если это смерть? А если и верно, то я для смерти еще слаба. Я еще живая, я хочу жить. Прости мне, Господи! Если я не должна хотеть жить.

И одиночество в мыслях меня тоже ломает. А они — должны быть одинокими. Письмо от Максима Ковалевского! Поедем, верно, на Ривьеру.

4 марта 1895 г.

Кажется, закончилась эта... «сказка любви»? Но сказка ли это любви была? Что же это было? Пользование чужой любовью как орудием для приобретения власти над человеческой душой? Созидание любви в другом во имя красоты? Вероятно, все вместе. Пойдем сначала. Факты. Никогда не приходила мне в голову мысль о любви... Флексера. Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношению. Мы были далеки — но я знала, что он ко мне — хорош. Потому радовалась, что думала, что это не «ради моих прекрасных глаз», а «ради моего прекрасного ума». Я возобновила знакомство (этой осенью) отчасти случайно, отчасти потому, что так все складывалось, я только не противилась. И дружба мне нужна была, мне было холодно. А Флексер всегда (и почему? почему?) казался мне человеком, которому все можно сказать и который все поймет. Я знала, что это не так, а между тем упрямая и бессмысленная человеческая слабость меня баюкала другим.

Я думала, что это человек — среднего рода. Иначе смотреть на него не могла. (Забыла сказать, что положение его при журнале тоже играло некоторую роль в желании моем возобновить «дружбу». Какую, большую или малую — не знаю, но хочу быть до конца добросовестной.) И вот — мы стали сближаться. Мы спорили, ссорились и мирились. Я приходила к нему, мы просиживали вечера, потом он провожал меня домой. Раз я даже сказала ему, что считаю его среднего рода... к моему изумлению, он обиделся, и я поспешила его замять. Вскоре, однако, я поймала себя на кокетстве с ним. С ним!..

Перерыв. Продолжаю

Он рассказывал мне, что жизнь его — чистая. В молодости был женат, разошелся с женою и десять лет живет аскетом. Его чистота не похожа на мою: он — цельный.

Я не допускаю «это» из личного желания, из странной гордости, может быть (или почему?), а он, вероятно, умеет сам бороться (из «мыслей»)...

Мы много говорили о любви: само вышло. У меня были всякие мысли: уже помышляла о власти. И мне хотелось хоть видеть чистую любовь, без определенных желаний. Но все-таки я не кокетничала (или страшно мало), я бы призналась. Два-три задушевных вечера — и вот странные письма, которые меня взволновали (его письма, я почти не писала). Странно, но так: могу писать письма только к человеку, с которым чувствую телесную нить, мою. Говорю о хороших письмах, о тех моих «детях», в которых верю. (Телесная нить — это вовсе не какая-нибудь телесная связь, одно может без другого, наоборот.) Но «сухой огонь» Флексера неотразимо пленял меня. Слово «любовь» незаметно вошло в наш обиход. Он говорил «слово» — я старалась объяснить ему мою истинную привязанность, мучилась, когда он не понимал, и тогда просто молчала. Иногда меня заражала его безумная любовь, неопытная и страстная, — он сам говорил, что она — страстная, но все повторял, что сам не хочет от меня ничего, не ради моих мыслей, а ради своих, которые тождественны. И я иногда бывала влюблена в эту его любовь.

Он обещал быть чистым всю жизнь, как я. Не скрываю, что это меня побеждало. Это толкало меня вперед...

26 сентября 1895 г.

Целое лето прошло, а конец моей истории еще не наступил. Правда, у меня-таки чувство, что она висит на волоске. Это все-таки страшно важно, что он мне не нравится. Не преувеличиваю — но и не скрываю, что меня не утешает больше ни его любовь, ни его преданность. Я привыкла (я такая «привычливая», в хорошем смысле), но я его не люблю и не жалею, у меня нет ничего беско-

рыстного к нему. В любви он меня не оскорбляет, ни жестами, ни словами (ни одного «ты»), но он весь меня оскорбляет, собою. Даже умом — не странно ли? — а ведь он умнее меня. Я даже ссориться с ним не могу. Иногда мне кажется, что обман наш обоюден, что он и не любит меня, хотя уверен, что любит. Ему точно лавры Минского не дают спать. И он решил «перелюбить» Минского.

— За что вы меня любите? — спрашиваю я его.

Он отвечает неизменно и твердо:

— За крррасоту.

А когда я со спокойствием уверенности начинаю ему объяснять, что ведь я, в сущности, не красива, даже некрасива (в одно слово) — я вижу, как он теряется, путается, смотрит на меня тревожно, полусоглашается, что, конечно, я, для обыкновенного взора, некрасивая женщина, но что в сущности... что это неопределимо, что это слишком тонко и т. д. И мне тогда ясно, что он никакой «красоты» во мне не видит, и даже если и любит (если), то уж никак не за «красоту». Во всяком случае цена этого шампанского (ежели это не был говоровский квас) для меня давно растаяла. Конец должен быть. Какой? Мне скучно думать. Или я несправедлива, и сердце мое к Флексеру лучше, чем здесь вышло? Ох, мне скучно, мне тягостно жить дальше, нет сил поднять отяжелевшие веки. Будь, что будет.

Живет ли тот, кого я могла бы хотеть любить? Нет, я думаю. И меня нельзя любить. Все обман.

15 октября 1895 г.

Летом я иногда скучала о Флексере, когда он уезжал. С водворением в городе — стена перед глазами. Резюмируем причины.

Я вижу, что больше того, что я с ним достигла, — я не достигну. «Чудесной» любви он не вместит, власти особенной, яркой — я не имею; не в моем характере действовать из-за

каждой мелочи, как упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем — но тогда, когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая, а с ним нужна хитрость. Затем: он человек антихудожественный, не тонкий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоты и моему Богу. (Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу Христу. Я для него — «гойка». И меня оскорбляет, когда он говорит о Христе. Ведь во мне «зеленая лампадка», «житие святых», бабушка, заутреня, ведь это все было в темноте прошлого, это — *мое*):

Я привычливая, но я холодно думаю о разрыве. Чужой, и теперь часто противный человек...

Не хочу никакой любви больше. Это валанданье мне надоело и утомительно.

Я — виновата. Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев. Аминь.

24 ноября 1895 г.

Вот какие факты. Я написала стихи «Иди за мной», где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой, т. е. Минским.

Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку.

Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что «чужие люди нас разлучают», что я «умираю среди них», а он «единственно близкий мне человек, умирает вдали»...

Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ: «Николай Максимович, наше

знакомство прекратилось потому, что оно мне не нужно...» Ведь действительно он мне не нужен.

Но интереснее всего то, что я, через два дня, послала Минскому букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо было это сделать, слишком невозможно...

Мне жалко Флексера... И всегда я с ним оставалась чистой, холодной (о, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности — не хочу определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю). Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья.

12 ноября 1896 г.

Батюшки! Целый год прошел. Тягота и мука. О чем же писать! Тягота, мука, никакой любви, моя слабость. Но безнадежно все ухудшается... Эту тетрадь ненавижу. Узость ее, намеренная, мне претит. И сейчас едва пишу. Взять ее — кажется, что я только и жива любвями, любовными психологиями да своими мерзостями. Здесь одна сторона моей жизни, немаловажная, но все-таки одна. Я из этих рамок не выйду, нет смысла. Но претит. Скучища! Я там, размазывая с Червинским, все-таки выходила, вылезали кончики мыслей. Это стыдно. Как положено, так и надо. А теперь ничего не надо, ибо ничего нет в «любви», а только обжог от сознания своей слабости. Ничего.

О, если б конец скорей!

30 декабря 1897 г.

Опять больше года прошло... Мне надо продолжать мою казнь, эту тетрадь, «сказки любви»... то, с чем жить не могу и без чего тоже, кажется, не могу. Даже не понимаю, зачем мне эта правда, узкая, черная по белому. Утоление боли в правде.

Сегодня скользну по прошлому и остановлюсь на... настоящем.

Разрыв с Флексером совершился, наконец, этой весною.

Тянулась ужасная зима (96–97 гг.), ужасная по уродливым и грубым ссорам, глупо грубым и уродливым примирениям. (Не от меня шли примирения...)

Весной появился доктор. Не знаю, зачем он пришел. Кажется, чтоб друга своего со мною познакомить, безразличного какого-то юриста в летах. Это, вместе со страшными литературными недоразумениями (я отказалась печататься в «Северном вестнике» из-за уродства Флексеровых статей) — послужило толчком к разрыву. Еще совсем весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные враги.

Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое после-обеда. Обманывала, видаясь с Венгеровой в женском обществе и потом переписываясь с нею, обманывала, говоря ему, и почти не слыша их, нежные слова (мало слов!) и принимая доктора, который мне совершенно не нужен.

Однажды Флексер, проведя несколько часов, в белый вечер, у моего подъезда, — «выследил» доктора! Это меня взорвало. Думаю, и сам Флексер уж тяготился нашими отношениями, тут на сцене история с его поездкой в Берлин по делам, причем он говорил, что, если я не хочу — но тоже неуверенно, с боязнью, что он останется.

Светлая ночь 17-го мая. Еленинский сад. На душе — пыль и великое томление. Мы говорили грубо и гадко.

— Так вы рвете со мною? Это бесповоротно?

— Я — не рву иначе, я вам говорила.

— Вы... вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не будет в тени.

— Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого про себя.

Мы встали и пошли. Я должна была быть в 10½ у Шершевского на Сергиевской. Ночь была теплая, мутно-светлая, пыльная и чуждая. Безмолвно лежали черные воды каналов. Крупинки пыли со свистом скрипели под моей усталой ногой на плитах тротуара. Я убедилась в разрыве и была, как всегда, спокойна перед его психопатией.

У двери Шершевского он сказал:

— Так мы расстаемся?

— Так мы расстаемся? — повторила я.

— Да... не знаю... Ничего не знаю...

— Но ведь я же вас очень люблю...

И, верно, не особенно много было любви в моем лице и голосе, потому что весь он съежился, точно ссохся сразу, и посмотрел на меня почти ненавистническими, растерянными глазами. Я почему-то подумала:

— Боже мой! Сколько раз эти выпуклые глаза с красными веками плакали передо мной от злобы и жалкого себялюбия жалкими слезами! И он считал их за слезы любви!

Я повернулась и вошла в подъезд. С тех пор я его больше не видала.

Оказывается — он ждал меня на другой день! Недурно! Через день было письмо. Потом еще и еще. Одно было хорошее — а следующее! «Пишите мне в Берлин, поймите вопль моей души, и я — я вернусь к вам!»

Это он — мне! Я плакала злыми, подлыми слезами от отвращения к себе за то, что я могу этим так оскорбиться.

На другой день после этих слез — неистовая радость охватила меня. Нет боли, которой я боялась! Никакой боли — и я свободна! Радость была постоянная, легкая, светлая, почти счастье, как в детстве на Пасхе.

Я уехала в деревню.

Тишина и ароматы обняли меня...

Продолжение завтра, я слишком устала, а то, что нужно написать, — еще слишком живо...

17 октября 1898 г. Спб.

И отлично, что тогда не писала. Вышло бы сентиментальное идиотство. Я поняла, что нельзя здесь писать о настоящем. Вот сколько размазала о Червинском, — и все глупости, и совершенно непонятно. Себя не так понимаешь. И скука-то, скука — Боже мой! Этакой скуки почти выдержать нельзя. Едва могла перечитать сначала, и то не сразу... Чего моей душеньке угодно?..

Я рада поцелуям. В поцелуе — оба равны. Ну, а потом? Ведь этого, пожалуй, и мало...

Явно, что надо выбрать одно: или убить в себе, победить это «целомудрие» перед актом, смех и отвращение, перед всем, что к нему приводит, — или же убить в себе способность влюбления, силу, ясность, обжог и остроту... Это так; но — т-с-с! Потом! Потом! Нельзя теперь.

Я уехала после разрыва с Флексером — без боли, только с оттенком сентиментальной грусти, и без «шатиментов».

В деревне было очень хорошо. Быструю езду, верхом или в легком экипаже, я люблю безразумно, как-то нутром люблю. Теплые, душистые поля, ветер в лицо, и кажется, что ты только часть всего, и все говорит с тобою понятным языком. Вот оно — стихийное начало.

И так я жила, с этими запахами и светами, радуясь не думать, только — свободная.

Там был сын помещицы, купчик, не кончивший военного училища, примитивный, но обожающий свои поля и леса, и эту быструю езду: он ездил каждый день со мною, вместе мы видели разные светы неба, и туман полей, и далекие полосы дождя. Какой он был? Кажется, красивый, но толстый, большой, хотя и не грузный, да я не видела

лица — лицо природы. Я не судила его, он был часть всего, как и я — равный мне в этом...

Господи! Это все неловкие слова, по ним нельзя понять, что такое для меня, после всей жизни, значили слова: признать себя обыкновенной женщиной, сделать себя навсегда в любви, как все. Около этой мысли — какой сонм страхов, презрений, привычек...

Нет, в поцелуе, даже без любви души, есть искра Божеская. Равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в это мгновение существует один, соединенный из двух, — два тоже существуют. То есть этого всего нет, но есть какие-то мысли об этом. Тут, конечно, не было; мое тело — не я (куда же душа тогда?) — но я представляю себе поцелуй двух «я»... и все-таки даже не только поцелуй. Но что же?

Улыбаюсь от мысли того, кто читал бы это? Нет, нет, для меня «это» — уже не вопрос. Нет...

16 августа 1899 г. Спб.

Приехала на два дня из Орлина. Давно не видала этой тетради. В походной моей чернильнице мало чернил, а хочется написать. Роман! Мало что роман! «Все про неправду писано», а здесь — другое. Скучно, как сама жизнь. Зато и нужно короче.

Перечитала последние страницы. Нахожу, что я была все-таки в безумии, решаясь подчиниться желанию тела. И ничего не узнала. Как это отделять так тело от души? А если тело — без души не пожелало? Вот и опять все неизвестно.

У меня такие страшные мысли... Но о свободе — но через прошлую свободу, конечно. Но о них здесь не место. Да я в них теперь, кажется, не одинока. Поговорим о том, что было — в любви. О том, что было давно — да есть и теперь.

О, Таормина, Таормина, белый и голубой город самой смешной из всех любвей — педерастии! Говорю, конечно, о внешней форме. Всякому человеку одинаково хорошо и естественно любить всякого человека. Любовь между мужчинами может быть бесконечно прекрасна, божественна, как всякая другая. Меня равно влечет ко всем Божьим существам — когда влечет. Я говорю о специализации и об акте, который имеет форму звериную и кончается очень быстрым и обычным удовлетворением, только извращенным слегка. И при чем тут любовь? Так, занятие. Манерный, жеманный v. Glolden с чуть располневшими бедрами, для которого женщины не существует — разве это не то же самое, только сортом ниже, — что какой-нибудь молодой, уже лысеющий от излишеств, офицер, для которого мужчины не существуют? Какая узость! Я почти понять этого не могу, для меня может ожить в сладострастии равно всякое разумное существо. Нет, извращение, специализация — примитивнее даже брака. Извращение смешно даже для зверей... И педерастия, как акт, должна быть ужасно смешна. Ведь тут то, что оскорбительно между мужчиной и женщиной, — неравенство, — тут оно все налицо, да еще созданное насильственно! Из двух равных, которые могли бы искать...

Впрочем, разве кто-нибудь чего-нибудь хочет? Педерасты очень довольны своей зачерствелой коркой и думают, что они ужасно утонченны и новы! Бедные! Жаль, что они здоровье портят, а то бы им дать женщину, авось бы увидали, что физически это шаг вперед. Но к чему рассуждения! Да я и не осуждаю. Надо все пережить. Только надо помнить, что переживаешь, и перейти через это.

Таормина... Удушливый запах цветов, жгущий ночной воздух, странное небо с перевернутым месяцем, шелковое шелестенье невидимого моря...

В громадной пустой зале Рейф (люблю такие комнаты, большие, пустые) — тонкая, высокая фигура Briquet с невероятно голубыми глазами и нежным лицом. Очень, очень красив. Года 24, не больше. Безукоризненно изящен, разве что-то, чуть-чуть, есть... другая бы сказала — приторное, но для меня — нет, — женственное. Мне это нравится, и с внешней стороны я люблю иногда педерастов (Glolden стар и комично-изломан). Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко. То есть то, что кажется. Ведь, в сущности, кончается это...

Так вот. Я почувствовала, что, пожалуй, могла бы очень приятно влюбиться в Briquet. Он совсем не глуп, очень тонок, очень образован (все это — французисто) — но очень многое понимает, с ним интересно говорить и — с ним я умна. (Есть люди, с которыми я превращаюсь в дуру, это ужасно тягостно, но никто не виноват. И не от сравнения с ним — дура, а скорее от него — дура.)

Ужасно все взволновало: и дешевая красивость обстановки, и белые ирисы, и его удивленное, несколько опасливое, и искреннее внимание ко мне. Даже не французистое, а детское какое-то, очень льстящее мне.

А душа, в самом деле, не без тонкости. (Удивительно, как, в большинстве случаев, тело по форме напоминает душу! Как женщины мясисты! И насколько они грубее мужчин! Говорю о большинстве, конечно. И не думаю о себе, искренно.)

После одного вечера я сошла к себе, на свою нижнюю террасу, черной-черной ночью, — стала рассуждать: стоит ли? Влюбиться могу ли сильно и хорошо? Ничего дурного не предвидится, ибо он, кажется, все-таки специальный педераст и пути ему все заказаны. Но, во-первых, эта полная безнадежность всякой возможности хотя бы скрытого огня в нем к моему огню, — что-то отнимает у моей влюбленности.

Не знать — хорошо, но знать, что нет — уже нехорошо. Во-вторых — он через неделю уедет, а если уж я влюблюсь, то мне это мало. Наконец третье соображенье, почти что единственно и важное: пожалуй, все-таки не влюблюсь хорошо, потому что он — внешне и внутренне — только близкая карикатура на существо, которое, если б жило, могло бы мне до конца нравиться. Да, не стоит. Хочу любви, хотя бы около меня, не в нем — к нему.

Madame Reif — карикатура тоже, на меня (не близкая). Вот ее описание, в словах, судите.

Довольно высокая блондинка, продолговатое лицо, худенькая — очень, светлые, ничего не видящие, глаза, лорнет на ленте, изменчивое выражение, быстрота движений, говорит о красоте, о Боге (только ей было 25 лет, а мне 28 тогда).

Это — наши сходства. Наши различия: цвет волос у меня — красноватый, у нее зеленоватый. Она ширококостна и четырехугольна. Цвет лица — землистый. Глаза не близорукие, а со снятым в детстве... катарактом. Говорит восторженно, вся — порыв, экзальтация, истеричность. Это слепое обожание меня — одна истерика. Но все-таки искренна и жалка, переимчивость удивительная, почти чудесная.

Вот что хорошо, и художественно, и волнующе! Пусть эти две карикатуры... не любят друг друга, ибо если б он мог любить женщину — он любил бы меня, вероятно, — а пусть она любит его!

(Кто «обвинит меня сурово»? Тем более, что и почва была совсем подготовленная.)

И вот я — конфидентка, и потому ужасно ко всему близка. С ним я — как будто с ним, а к ней мы будто снисходим, — а с ней я — будто с ней и преклоняюсь, восхищаюсь красотой ее любви. Жестокая забава? Нет, кому она повредила? Правда, это все было потом серьезнее (она

до сих пор, не видя его, живет им, эти истерические мечты о «ребенке от него», а он не соглашался, не согласился, эти ее просьбы уговорить его, а я его уговаривала с насмешечкой, незаметной — но это все было потом, письменно. И кончилось мирно).

А Madame Reif поумнела, сколько могла (до сих пор обожает меня), и глубоко мне благодарна за эту неразделенную любовь. Все-таки жизнь, особенно для истерички.

А я ужасно волновалась, точно сама его любила, а «ухаживания» его за мною отстраняла взглядом, ничего не обещающим, — но очень красноречивым: «Malheureusenent, cette pauvre femme... ne soyons pas cruels». — «Vous ne me comprenez pas?»[9] И его взор, и ответ: «Si, je vous comprends...»[10] Ну, и так далее. Очень тоже мило у педерастов, что у них не фатовство, а кокетство. Ужасно мне нравится, трогательно.

Цинизм у меня какой-то вышел в рассказе. И самолюбование. И пошлость. И суета. Неловкие, неловкие слова! Но это кончилось, а теперь черед за другой историей... Очень, очень для меня во всех смыслах важной. И не конченной. Но и чернила иссякают (у Дмитрия Сергеевича взять?) и устала. А завтра уеду. Ну, вечером попозже допишу. (Эту тетрадь никуда не вожу с собой.)

Вечером

И у Дмитрия Сергеевича какие-то гадкие, сухие. Все равно. Хочу кончить до отъезда.

Он, Briquet, так и уехал через неделю. Месяц чужой любовной атмосферы. Но я сама уже очень отдалилась и радовалась, что не пошла на эту «карикатурную» влюбленность.

---

[9] К несчастью, эта бедная женщина... не будем жестоки. — Вы меня не понимаете? (*Фр.*)

[10] Да, я вас понимаю (*фр.*).

Маленький домик на скале, где живет знакомая Reif, смехотворная какая-то баронесса, старая, полусумасшедшая художница, к которой я и chère Marthe отправились с визитом.

Яркий солнечный день. Крошечный балкон с широкими перилами из камня. Стол с чашками и глупости баронессы. Одна чашка лишняя. Вот и гостья. Маленькая старообразная англичаночка в парусинном платье, в прямой соломенной шляпе. Она села на перила. Баронесса тотчас же затараторила: «Mademoiselle est russe... Mais elle ne parle pas russe... La mère adoptive...»[11] и так далее. (Мы говорили, конечно, по-французски.) Мне девочка не нравилась, показалась незначительной. «Mademoiselle est musicienne...»[12] и опять так далее.

Мы спустились в сад, на крутой скале, и сели на камни. У англичанки были такие жалкие ножки в белых башмаках и лиловых чулочках. Баронесса скрипела:

— Qu'est-ce que c'est qu'un symbole?[13]

— Mais je ne sais pas, Madame[14], — отвечала я холодно.

Марта заговорила с баронессой. У англичаночки была странная, красивая палка в руках, с перламутровыми инкрустациями.

— Покажите мне вашу палку, — сказала я.

И когда она мне ее протянула, у меня было непреодолимое чувство, без слов: ведь я с этим существом все могу сделать, что захочу, оно — мое. Слова потом пришли, очень вдолге.

На другой день — вечер у Glolden'a...

---

[11] Мадмуазель русская... Но она не говорит по-русски... Приемная мать... (*фр.*)

[12] Мадмуазель — музыкантша... (*фр.*)

[13] Что это за символ? (*Фр.*)

[14] Но я не знаю, мадам (*фр.*).

Там, на вечере Glolden'а — музыка и опять то же бессловесное чувство. Вдвоем — только раз, на каменной лестнице. Девочка мне показалась не такой банальной, умнее Марты, во всяком случае.

Знакомство с mère adoptive. Громадная, зрелая, молодящаяся женщина.

Не понимаю, не видала таких.

Потом я заболела, они уехали. Письмо из Неаполя: «Chère Madame, serez-vous bientôt a Rome?..»[15] Я ответила, что не знаю, что очень рада была бы еще встретиться и путешествовать вместе немного. Телеграмма: «Could join you Rome, for some week, mother goes England»[16].

Удивило меня, но я обрадовалась.

И вот — Рим, весною, тихий отель против сада, темный балкон, особенные римские запахи. Мне было хорошо и весело...

Как я верю в любовь и в чистоту! Верю, как в Бога. Не принимаю флирта...

Мыслям — не изменю, никогда. Пусть я и все рушится, а они — Правда. Я пойду в них, пока не упаду.

Но теперь молчание! Молчание!

По-моему — никому. Они не готовы, жалкие, голенькие. Я жалею, что я... Теперь хочу еще бороться за возможность грядущей любви. Теперь пойду к ней и к мыслям в одиночестве.

Нежность моя безмерна. Сила страдания во мне — неограниченна, но ничего не боюсь. Только одного: если я не с стой буду бороться, а с слабостью. Ведь тогда — у меня нет желаний. И любовь, и сладострастие, теперешнее, — я принимаю и могу принимать только во имя

---

[15] Дорогая мадам, скоро ли вы будете в Риме? (*Фр.*)

[16] Могла бы присоединиться к вам в Риме, на несколько недель, мать уезжает в Англию (*англ.*).

возможности — изменения их в другую, новую любовь, новое, безгранное сладострастие: огонь его в моей крови.

14 сентября 1900. Спб.

Сегодня я вернулась из-за границы, где прожила почти год.

И, конечно, первое движение — к моим бумагам, к этой тетради, которую столько времени не видала. Хотя особенной потребности в ней не чувствую в данный момент.

Перечитала последние страницы. (Все — не могу; от скуки. Дневник не роман. Читать его — мучительная работа. В особенности — любовный, узкий, специальный. Но как документ — имеет значение.)

Ужасно я трагична в этих последних страницах. Самолюбование, психология, надрыв и — все еще ребячество. Нет, я стала спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью — какой надрыв — мой «подвиг»! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была нужна.

Raison d'être[17] этой тетради требует, чтобы рассказать — моя честность. Но так не могу. Пока это будет лишь бесцельное самоучительство. Да и трудно. Без мыслей, без моих страшных, говорить о «подвиге» нельзя, а им здесь не место...

Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желанье силы в другом — остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя слабость. Но смею ли?

Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то — доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих

[17] Смысл существования (*фр.*).

сил и сама упасть в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренция. И как все различно! Иногда я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою неумирающую нежность — без веры...

Жестокость — не крепость, а полуслабость. Жестокой легче быть, чем твердой и мудрой. Неужели я с... кончу жестокостью — а не трудной и тихой мудростью — если решу?

19 декабря 1900

...Но нельзя так писать, как я начала страницу. Ложь. Вовсе лучше не писать. Да и зачем пишу? Если для других — зачем? Все слова, «бывалые» слова. Да и чернила густые и мерзкие. А решить ничего нельзя. А действовать — нужно. А нельзя — не решив. Переломить душу надвое? Так больно. Еще помрешь раньше времени от излома. Я не смею теперь умирать. Боль так боль, черт с ней. Мне кажется от боли, что я ни так, ни сяк не могу, вот что и сделаю. А теперь — успокоимся, если вы желаете писать, сударыня. Без нельзя. Есть веревка, последняя, истинная — ну и держись за нее, и уж верьте, она вас не выдаст. И в себя верьте.

Поговорим отвлеченно, за calme[18]. Я ведь так отвлеченна. Я «вся воздушна без предела», я — «душа» (или морской сухарь?). Не то возвышенно, не то невкусно.

А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для страсти, т. е. для возвращения в жизнь — да (дети). А сладострастие — одно идет до конца...

Весь смысл моего поцелуя — то, что он не ступень к той форме любви... Намек на возможность. Это — мысль, или чувство, для которого еще нет слов. Не то! Не то!

---

[18] Спокойно (*фр.*).

Но знаю: можно углубить пропасть. Я не могу — пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.

Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой «яме»... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности — для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.

Принцип тетради, кажется, изменен. Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества — но не в том их вижу. Идеал Мадонны — для меня не полный идеал. Да, но тогда еще труднее писать. Я теряюсь, как человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном, единственном, углу моей комнаты — светло. И это — мое, и это последнее, но хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.

Любить меня — нельзя...

Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь и ест мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю — но всех жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной теме, жалко бедных людей, которые приходят, надеясь, — и ничего не получают, ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко (меньше всех Гиппиуса) — чем Философова. Они как-то больше ждать могут; а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не любит и опасается.

Именно опасение у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль для него. А может, я к нему несправедлива? Может, у меня раздражение? Не хочу раздражительности, не знаю ничего, наверное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно. Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли — да что я о Философове?

Ни мысли, ни эти планы не для тетради «амура». Впрочем, ведь принцип ее изменен. Я еще не привыкла. И пока — ничего не надо. И сегодня — такое голове, такое слишком личное во мне страдание.

Переживем, решим — в безмолвии.

7 февраля 1901

Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю, что должна бы. Хорошо *ли*, что пишу это? Не математика *ли*? Не рассудочность *ли*? Не сухость *ли*? Или — (совсем в другую сторону) — фанатизм? Не стоит заниматься мною. Какова есть. Так вот как надо... бы...

Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого, упорного душения. Но так надо. А потом, когда приготовлю почву, — совсем не буду писать. Но очень надо приготовить. Очень знать. Это все, когда решу. Но ведь вот, чувствую, надо решить скорее. Потому что я должна действовать, а это меня держит, силы во мне нет... Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного. Это вопрос — быть *ли* Главному, и вопрос мой, потому что — быть «ему» или не быть — в моих руках, это знаю.

Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают, не идти — а только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня! Пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не будет, что бы я ни делала. При чем — я? Моя воля?

Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, — я не могу им помочь, а они — мне. Что же я напрасно ломаю себя — или ломаюсь? Ведь это смешно...

Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.

Это я в яму захотела.

Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать... В браке все-таки сильнейший духом ведет за собою слабейшего, а там, где брачное извращение — дух обмирает у сильнейшего и над ним властвует слабый и пошлый. На это обмирание и безволие духа жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над этим подумать.

Я думаю, что никогда не решу чувством, да это и невозможно!

Но надо поступать так, как будто решила. Потому что ведь я шага не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет — ну и силы не будет.

А теперь довольно. Опять безмолвие. Время бежит, все равно недолго.

Все равно что-нибудь будет.

Поговорим о другом. Об общем.

Все-таки мне кажется порою, что даже и помимо... я ничего не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне другие желания. На примере пола будет яснее. То есть любви. Да и к тетради больше подходит. Принцип, вернее — взгляд мой на нее изменен, но узости ее не изменю, из рамок не выйду, да будет она специальна, как была.

Но «слов» в ней не убоюсь.

Так вот: люди хотят Бога для оправдания существующего, а я хочу Бога для искания еще несуществующего (вероятно). Людям совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовницами и любовниками; да только беспокойно — не грех ли? Они зовут Бога, чтобы Он пришел к ним, где они, и сказал: «Нет, не грех; а коли и грех — прощу, за то, что вспомнили Меня и позвали. Не беспокойтесь». А мне некуда звать Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела бы вечно жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть,

верю, лучшие дома — их хочу. И оправдания мне ни для чего не нужно. И это абсурд — оправдание. Оправдания настоящему хочешь, только когда намерен длить его, неизменно; значит — оправдания стоянию? Его не может быть. А оправдания прошлому — уже есть, если есть хотенье движения к изменности. Но это — как бы «прощение». Значит, оправдания вообще никакого нет, и слова этого нет. Гиппиус все толкует о «любви» к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну конечно, мы любим жизнь. Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать любишь. Не русский Гиппиус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это же исходная точка, — но ведь это именно исходная точка!

Как хорошо так писать, для себя, не заботясь о том, что слова совсем непонятны!

Д. С. тоже как бы в путешествии, и хочет идти, но ведь он ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в «специальном» своем смысле — совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То так верю — то иначе. То есть словам всем верю, а его существа иногда не угадываю. Закрыто оно — и для него. Но сила ли это? Не слабость ли — мои психологии? А уж Философов-то, наверно, хочет для «оправдания»! Вся его неудовлетворенность только из этой точки. Впрочем, всякий человек — тайна. Может и так быть: желание оправдания лежит сверху и закрывает другие желания. Если исполнить это верхнее желание, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почудилось, что оно исполнилось) — то оно и растает, и откроются другие желания — ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть.) О Философове — то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть, поэтому я так хотела бы зажечь свечку около этого верхнего желания: пусть растет. Пусть ему будет «оправдание». А там посмотрим. Лицо Божье — все-таки Лицо Божье, даже если мы Его к себе зовем. Все-таки возможность спасения — для нас и для него. Да и люблю его.

Остальные мне дальше, непонятнее, неприятнее. Потому пойду прежде всего к Философову, если... да я все забыла! Если? Никуда не пойду и сама упаду, нет решения — нет ни свободы у меня, ни силы. Ora basta[19].

6 марта 1901

Главное — не ныть. Не размазывать своих «страданий». Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например. И у других, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на... кашель.

Здесь я все-таки перепускала и перепустила лишнего. В узкоспециальном, кажется, кое-что недоговариваю (или нет?) и расподробилась о мыслях о Боге. Беда в том (или не беда?), что все во мне, как и в мире, так связано и спутано, что поневоле переходишь несуществующие границы, и с... порвать — вовсе уж не так больно; не правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю больше, — да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить — никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по своему желанию! Ну так о чем же? Моя Нежность — скажите пожалуйста! Ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанию? И силы даже тут никакой не требуется...

13 марта 1901

Хотела бы я знать, что влечет меня к этой тетради — теперь? Ведь нет никакой conte d'amour, никакой определенной влюбленности... О чем же писать? А хочется, именно здесь. Значит — есть во мне какая-то влюбленность или что-нибудь похожее на это.

Похожее... да, и такое другое! Это хорошо, что похожее, и хорошо, что «другое».

---

[19] Но хватит (*ит.*).

Несмотря на совершенно бесстыдную, личную боль моей старочеловеческой части души (говорю это спокойно) — во мне есть много ясных сил, действенных, и много хорошей, старой влюбленности в «другое». Теперь много сил, но не хочу скрывать от себя, что есть для меня опасность. И почти неизбежная.

Мне отныне предстоит путь совершенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что путь этот — неправда. Глубокое знание, что идешь неправедным путем — несомненно, тихо, но верно — обессилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух — непременно — и дух разлетится, как легкий пар. О, я не за себя страдаю! Мне себя не жаль. Мне жаль То, чему я плохо послужу.

Выбрала бы и другой путь — да нет другого. Даже и говорить не стоит, и так видно, что нет.

Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, похожие на меня, не удовлетворенные формами страсти, ни формами жизни, желающие идти, хотящие Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб «в гроб сходя благословить». Ведь через несколько лет я буду старухой (обозленной прошлым, слабой старухой). И буду знать, что неверно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу — разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать, от страха, что «не тот», и он, если похож на меня — так же будет молчать. Впрочем, нет. Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что он мне скажет — я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я рассуждаю, опасаюсь, жалуюсь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь.

Для чего-нибудь, кому-нибудь она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И с силами, которые дал мне. Я только буду правдива. Аскетизм <вырезана страница> сильнее, чем они о себе думают. Грех только один — самоумаление. Вижу, как гибнут от него те, кто могли бы не только себя спасти, но и других. И вянут, вянут бедные цветы... Как им сказать? Как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.

1 апреля 1901

ХРИСТОС — ВОСКРЕС?

3 апреля 1901

Как хочется писать что-то — именно здесь, — и вот именно здесь — ничего не могу. Потому что все во мне перевернулось?..

11 апреля 1901

Оттуда — все еще письма. Но ничего.

Что «это»? Радость или уныние? Падение или полет? Отчаяние или надежда? И что мне теперь делать?

Только тише. Тише. Тверже. Покойнее.

Очень у меня много силы. А могу и вся даром сгореть, и разлечусь, как жженая бумага.

Моя — и не моя воля.

16 февраля 1904

Три года тетрадь эта лежала в запечатанном конверте. Сегодня я разорвала конверт, но тетради не перечитаю, нарочно, до тех пор, пока не сделаю того, для чего разорвала конверт, — не впишу нужного. Боюсь бессознательно «подхватить» тон, а, помнится, в конце он был неправильный. Во всяком случае я опять хочу быть точной, фактичной, — и узкой, как последнее ни трудно. У меня

нити жизни слишком связались и спутались... нет, именно связались, — и потому, желая быть узкой, я буду неясной... Ничего, надо примириться, тетради осталось немного. И я буду говорить о прошлом. Кратко — и узко.

Я думала, что «узких» фактов мне уже не придется пережить, и потому думала, что и тетрадь никогда не распечатаю, эту... Не «узкое» должно быть в этой. И я ошиблась. Мое дело — факты. А кроме новой узости — ведь оставались еще «концы», принадлежащие сюда... Я пойду далее в строго хронологическом порядке. Значит, весной — здесь ничего, кроме моей боли. И летом ничего. Я очень много пережила, о чем говорить не буду, но что мою боль для меня оправдывало.

Зима. В самом начале 1902 года в моей жизни (во всей) случилось нечто — внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, — что меня в одно и то же время и опустило, и подтянуло, — но и выбросило куда-то к людям, в толпу (вот как трудно говорить, когда надо быть узкой!). А еще раньше этого я очутилась среди людей новой среды, к которым присматривалась все время с моей новой точки зрения (до чего далекой от «любвей»! И очень близкой к... любви; ну просто нет, я вижу, слов). Короче, реальнее, же. К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, и между ними два, молодые, чаще других.

Из всех заметнее был Карташов, умный, странноватый, говорливый на Собраниях: сразу как будто из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли. «Мысли»! Вот чего я не хочу здесь, а не обежишь, потому что если у меня было в это время что-нибудь в душе — то лишь они одни. И не выдернешь из последующего. Но буду их часть показывать, прилегающую к «узости».

Д. С. читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе и когда говорил о мертвом, узком, остром лице

Гоголя — я вдруг увидела Карташова. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко, на пуфе. Какое странное, некрасивое лицо, — но даже не лицо — лик. Вскоре после того секретарь Собраний сказал мне: «Я сегодня просил Карташова заехать за вами (деньги нужно было собирать), но он отказался, говорит — еще ни с одной женщиной на улице никогда не был. Заеду я за вами». Смеется. У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди — ведь они девственники! Они сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое — быть может, ожидая нового святого? Быть может, среди них есть... Ну и т. д. Вечером присмотрелась к нему и ближе коснулась — вообще — «мыслей». Что-то есть... Чего-то нет... Или не знаю? Осторожность... Но тут наступил январь, и моя выброшенность во мне, жажда сейчас всех людей во всем. Другой профессор, Успенский моложе и весь не то теленок, не то ребенок — и «кутейник» с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, «второй». Карташов бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать ему что-то внешнее, ему недостающее (как мне казалось), чтобы он мог понимать мою, «декадентски» — отливающуюся, речь. Он — дикарь, скорее дать готовым весь наш путь, — искусство, литературу, форму жизни, мелочи жизни... Скорее, чтобы отсутствие не мешало нам сговориться о важном, — в нем, я думала, он там же, перед тем же (в его существе), перед чем я. Был в нем налет истерики — чуть-чуть. Он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества, а теперь у него многое меняется. Я ему скорее хотела передать то мое осязанье «красоты», которое часть меня и моего, и всего, но ведь это — не окружающее меня реально-безобразное, ведь не старые, пыльные ковры, не рыноч-

ная, бедная мебель без ножек, даже не стихи Бальмонта, которые я ему (им) читала — но все-таки они и во всем, мгновеньями; в том, чтобы видеть собор утренней ночью, в одной из двух лилий на моем столе, в случайно купленной или подаренной Сологубом банке духов, в старом рисунке между бумагами, порою, может быть, в одной-единственной, на мгновенье упавшей, складке моего платья... Но, увы! А его (их) прельстили равно: и дырявые ковры — и стихи из красной книжки, и чайный ликер — и мои мысли, вся моя внешняя «дешевизна», которой так много — и мое заветное, что я люблю в мире. Но это все было новое и казалось одинаково «прекрасным», без различия, уродство и красота. В одну кучу. И даже (теперь вижу) ковер закрывал цветок, и одни дырявые ковры и были, потому что они виднее. Меня они видели «прекрасной», но, если бы я сама увидела свое отражение в их душах... Впрочем, это так понятно. (Началась близость с того, что я у Розанова спросила Карташова, писал ли он когда-нибудь стихи, и он на другой день прислал мне ужасающие стихи десятилетнего лавочника, которые я послала назад, обстоятельно разбранив. Вскоре он стал писать прилично, но со страшными срывами в безграмотность и уродство!) Я думала, конечно, что «а вдруг он в меня влюбится?». И отвечала себе, что это и хорошо для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему. Это, в связи с его «девственностью» (он мне сказал о ней как-то у камина, после обеда), и с девственностью, теперь, по его словам, не аскетическою, а примиряющею плоть и красу мира, — это все заставило меня, конечно, «кокетничать» с ним, давало какую-то возбужденную радость и стремительность, жажду убедиться, что возможности мои и во мне. Что оно есть вообще. Это было главным образом, но так как душа сложнее, — то, конечно, и тени другого всего были, и тщеславия доля,

самого примитивного, старинного, и всего... но это уж из добросовестности прибавляю. Еще меня трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать (не сумела бы тогда увидеть), что это что-то — старая, неподвижная точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и «рацио», старая любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось никак с непривычным, т. е. со мною, с моим.

Мы виделись и говорили. Когда бывали оба — я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташова. Я баловала их, я пыталась показать им настоящее красивое и заботливо создавала для них массу подлинных внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташову такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для... всего будущего, моего.

Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала — себя! Э, все равно. К делу. Что он «влюблен» — это как-то сказалось, или узналось, само собою. В письмах, должно быть. О «взаимностях» не было речи. Вообще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже. И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви думала — наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот где моя мысль об «огненной чистоте»! Значит, «есть на свете», значит, мое мечтанье не только мое, одной меня! Вперед, вперед в этом!

Письма у него были очень хорошие, со срывами — но лишь противу-эстетическими, внешне. Я это прощала, ввиду его эстетической молодости. Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в этой двойной истории.

Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую увидев полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта — нет.) И устала я «существовать». История, которую рассказываю, занимала едва ли одну пятую моей внутренней жизни тогда, несмотря на ее связанность со всем (для моего сознания).

Д. С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед каникулами, в Крым, но с радостью обещали приехать на три дня перед Крымом. И пятого июня приехали, а восьмого утром уехали.

До них в Заклинье жила с неделю. Какие бледные, весенние дни, какие яркие, душистые, волнующе грустные ночи! Я их проводила у окон моей круглой «светлицы», над самым озером. В камышах скрипит коростель, у старых мостков, где черные деревья, что-то шуршит, шевелится и точно вдруг засмеется тонко, тихо. Запахи земные и водяные отовсюду. И между ними всех ярче — сирень, целый лиловый лес вокруг дома, с трех сторон. Мне из окна видны сплошные цветы, лиловые и белые. В запахах, в тенях, в ночной воде, в моей печали, в моем волнении, в том, чего я хотела, — вот подлинное, вот не оскорбительное, вот откуда надо... Впрочем, довольно. Все так ясно.

Они приехали. Успенского я опять не заметила, да он и вел себя как отпущенный гимназист; бегал по лесу, резал палки и пел романсы и песни. А в К<арташове> было что-то робкое, значительное и таинственное. Он был почти красив иногда, в белой войлочной шляпе, на широком крыльце, у кустов сирени. Или вечером — ночью, над водой, там, на старых мостках. И тонкий, немного надтреснутый тенор мне нравился, когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немузыкальный голос Успенского.

Все, что страдает,
Ночь, ты успокой...

Но не тогда, а вечер на восьмое (утром рано они уезжали) хорошо пели. И не песни. Была бледная, ясная ночь. Мы сидели на крыльце в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху на кресле, перед ступенями, закрытая длинным белым вуалем (мы все носили, от комаров). Везде сирень, у всех сирень, в руках, на коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером взошла розовая-розовая луна. Они пели «да исправится молитва моя». И так хорошо спели (т. е. так хорошо это было), что после «исправится» никто уже не хотел ничего. Хотелось тишины.

Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери — дверь в коридор, который мы называли «монастырским». Там было три «кельи», именно кельи, сводчатые, белые, с глубокими острыми окнами. В дальнюю я поместила Успенского, в ближнюю Карташова. Вечерами я их туда провожала.

И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с ним простилась. Потом зашла в келью Карташова. Он сел на стул, я на широкий подоконник.

Занавеси не было, и в белой келье было чуть-чуть лишь сумерки.

— Как хорошо, — сказала я, обертываясь к белому, свежему небу. — Вы завтра уезжаете... Я думаю о том, что подарю вам на память.

— Мне не надо ничего, — проговорил он, не понимая. — Зачем дарить? Разве вы думаете, что я забуду...

Странно, что я так... робка во всех движениях. Точно внешние путы на мне всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я считаю нужным, праведным и чего сама хочу. Это даже не робость. Это — какая-то тяжесть, узы тела, на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими — внутри возникает непосредственное движение, естественное — и внутри же

замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем. Волны от столпничества.

Отвлеклась. Продолжаю.

— Ничего не надо? — сказала я, встав с подоконника. — Вы не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.

Взяв его за голову, я поцеловала дрожащие, детские — и, может быть, недетские — губы. Он испугался, вскочил, потом упал вниз и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразившие меня, которых я не ждала и которые были удивительны в тот момент по красоте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым. Он сказал:

— Помолитесь за меня...

И повторял:

— Помолитесь, помолитесь... я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь, когда счастье такое большое.

Я наклонилась, и еще раз поцеловала его, и потом еще.

А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых не помню, но в них не было теней.

Не помню ясно и что я думала. Моя громадная комната была полна серым, жемчужным светом ночи, в душе — туманность и правота! Правота! Вот это помню. Устала. Кончу.

17 февраля

И правота моя, конечно, была не правотой. Я опять забыла: цветок не может расти в безвоздушном пространстве. Этому цветку необходим его воздух. И в воздухе — уже цветок. А я думала его взрастить сначала. И уж потом, как бы через... Вечная ошибка! Но несколько мгновений цветок может жить без воздуха. Несколько мгновений он и жил, подлинный... почти.

Я написала «почти» как-то невольно; думая — понимаю, почему «почти». Да потому что тут еще одного условия не было: равенства. У меня было сверху вниз, а у него снизу вверх. (Не странно ли, что и реально оно так было, фактически.) Он был влюблен — а я нет. Я волновалась, я была растрогана, он даже нравился мне, но я по совести не могу сказать, что была влюблена (как я умею). Спешу оговориться: я думаю, что в настоящей «влюбленности» (не внеатмосферной) есть еще тот плюс, что она вполне возможна невзаимной, просто только тот, кто не любит — ничего не получает, беднее; кто любит — получает много. Конечно, лучше, чтобы оба получали много, это ясно; и еще лучше, чтобы два «много» сливались, образуя одну «громадность» (при взаимности); я говорю только, что возможна и прекрасна и невзаимность. Ревность в пространстве атмосферы вряд ли мыслима; грусть о «громадном»), тихая печаль — да; но ведь все-таки остается «много». Вот ревность заатмосферная — но она уже вырастает во всеобъемлющую, она...

Куда я? Спустимся на землю. Так вот тогда мне было как-то обидно, что даже если у него «много» (хоть на мгновенье) — то ведь я — бедна. Я — для себя тут ничего не получаю, кроме радости за него. Прикосновенье его дрожащих губ было мне радостью и волнующе — но для него, за него! Это была не только духовная радость, и тело в ней участвовало, — но не кровь. (Не умею сказать! Досада какая! Забуду сама потом!)

Он уехал. Я долго не получала писем, потому что сама тотчас уехала на Волгу. (Нет, впрочем, одно письмо из вагона я получила в Петербурге. Очень хорошее, все так подтверждающее, все, как я думала.) Вернувшись в Заклинье — я нашла еще два-три, восторженных — и с курьезной постепенностью спадающих с тона. Налет мертвенности. Он сделался совсем явным в письмах из дома, а сам он

писал, что дома впадает в какое-то небытие. Скоро совсем почти перестал писать, — но зато Успенский засыпал меня письмами, очень почтительно и детски-нежными (о любви не было)...

Однако я заметила, хотя и сказала; «разрываю конверт» — обошла, почему тетрадь лежала в конверте. Обходить тут не имеет смысла. Забыла просто сказать. Дело в том, что тогда весною, вскоре после последних записей, мне понадобилось, было для меня нужно (почему — на этой странице нельзя объяснять) дать прочесть эту нечитанную, нераскрываемую тетрадь Философову. Я с этим всегда была одна и уже не могла доверять себе, где правда. Сначала моя тетрадь была моим проклятьем, потом, незаметно, мой взгляд на нее изменился, иные мысли... Многое связалось, выплыло, выявилось. Я должна была и эту «меня» как-то принять — и боялась. Мне нужно было подтверждение моих мыслей от другого, самого близкого к моему «я». И когда такое «я» около меня родилось (или я думала) — то я не могла к нему не пойти (объясняю Главную часть «необходимости» этого поступка). Когда же я увидела, как посмотрел на мою тетрадь Философов, — я внезапно и смертельно испугалась себя и тетради и прокляла ее более, чем проклинала в юности. Значит, я ничего не понимала на последних страницах! Если он отвратился от нее и ужаснулся (или что? говорю теперь) — то, значит, и я так же отвратилась бы, если б она была не моя! Ведь если ложь то, что я думала, последние мысли тут, если они только выдуманы бессознательно для самооправдания и самолюбования, — если ложь — то и кощунство, и ужас темный, и грех к смерти, которого нельзя замолить. Вот если есть покаяние, то я его в себе перешла. Я ничего даже не думала, никак ничего не решала по-иному, просто мне было страшно до физической боли, страшно за себя. Ей-Богу, даже не думала — «так в чем же тут — правда?» — а просто

холодела от ужаса и отворачивалась от всего. До тетради дотронуться боялась и не сожгла ее только от смирения. Пусть была — есть. Но если б забыть!

Потом мало-помалу пришли те же мысли, о том же. Тетрадь мерзка, потому что я несовершенна, а мысли — сами по себе. Они как бы не от меня, не мне их судить и осуждать. Я — ничего не знаю. Мое дело только выявить, что во мне есть. К этому есть внутреннее стремление, выявить «ни для кого», но выявить.

Значит — правда, и сделаю. Тем более, что нужны же здесь «концы» старого.

Дам *ли* еще эту тетрадь Философову? Не было *ли* у меня затаенной мысли непременно дать, чтобы опять искать, что *ли*, подтверждений и самооправдываться, что *ли*, «концами»? Подумай, будем искренни. Нет. Чувствую, что так бы не писала, если б бессознательно это думала, а иначе. Этого не было, но дам *ли* (теперь об этом думаю) — вот — не знаю. Это будет зависеть от того, станем *ли* мы с ним дальше говорить о К<арташове> и У<спенском> или «условия света» и его «корректность» помешают этому. (Мы как-то говорили, и я кое-что сказала ему.) Если будем — дам, мне физически стыдно об этом говорить ему не все, а сплетнически и точно «хвастаясь победами». А нет — не дам. У меня все-таки больное место осталось от того раза, и хотя насколько я теперь тверже и крепче, но рисковать ровно ничем не хочу. И без «участия» его могу обойтись совершенно легко. Мы в субботу с ним — впрочем, я отвлекаюсь. Это не к делу. Все нужное сказано. Где я остановилась?

Осень. Мы еще на даче (конец августа). К<арташов> и У<спенский> вернулись в Спб., мы пригласили их к нам на 29, 30 и 31. Круглая белая зала так располагала к «празднику». И я решила сделать «раут». Я написала шутливую мистерию с прологом «Белый черт», которую

мы все должны были разыграть. Шутливая, домашняя, — но мысль была моя, за нее держусь (напишу поэму). Мы приехали в Спб. (я и Д. С.) на несколько дней. (Ужасное перо!) К<арташо>ву я написала, чтобы он пришел вечером сговориться точно. Пришел и Тернавцев. К<арташов> был робок, странен, мертвен. Не поняла его. Мертвен — явно; и влюблен — тоже явно. Накануне отъезда мы встретились на Литейной с Д. С., и я, узнав, что он идет в «Мир искусства», — пошла с ним. (Вот забавный случай в скобках!) В «Мире искусства» — никого, кроме живущего там Бакста, принадлежности туалета которого были раскиданы по запыленным комнатам. Неприфранченный Бакст был очень сконфужен нашим визитом. Однако дал нам чаю (была ли нянюшка?), потом мы вместе говорили по телефону с Пирожковым, к которому Д. С. и поехал, а я осталась, было едва 6 часов. Так, от лени сдвинуться со стула.

Менее всего ожидала, что неодетый Бакст вдруг станет говорить мне о своей «неистребимой нежности» и любви! Как странно! Теперь, опять...

— Разве вы не видели, что сейчас со мной было у телефона? (Ничего я не видела и т. д.)

«Нежность» перешла в бурность, оставаясь «нежностью». Вижу, надо уходить. Опять объяснения, оборот в прошлое... Не надо! Мне все равно, — но не надо этого оборота.

Пытаюсь уходить. Длинное круговое путешествие из столовой в переднюю. «Вы не забудете?» — «Нет, обещаю вам, что забуду, и это хорошо. Право, ничего и не было».

Вечером он был у нас, грустный и нежный, как больной кот. Интересно последующее (весьма короткое): письма в Заклинье, на которые я отвечала; очень «пластические» письма, ничего в своем роде; кончающиеся: «Ходить к вам не по улице, а по земле (и т. д.), но — я вас люблю, а вы меня не любите!» Интересно это тем, что я, искренно

желая все сделать, чтоб не дать ему ни малейшей боли, настолько с ним нечутка и вне его, что, думая написать «нежное» письмо, — написала до того оскорбившее его, одно (первое), что он мне его возвратил!

Идя тогда домой из редакции, я думала: вот человек, с которым я обречена на вечные gaffes[20], потому что если у него и было что-нибудь ко мне — то... он только лежал у моих «ног». Выше моих ног его нежность не подымалась. Голова моя ему не нужна, сердце — непонятно, а ноги казались достойными восхищения. C'est tout[21].

Зачем, в сущности, я это написала? Не имеет смысла так... Но когда-нибудь... Или никогда? Что это, слабость? Или нет? Не теперь. Надо о Карташове.

Ну вот, они приехали. Дождливые, темные дни. Зала в гроздьях рябины. Желтые восковые свечи. Мистерия. Огни над черным озером. (А какие были рыжие грозы!) Потом тихое, долгое сиденье за столом, только я и самые близкие (самые, не могу иных слов не иметь), даже Ася ушла спать. Свечи опять все зажгли, и тихо говорили все. И на прощанье вдруг все поцеловались. Это было хорошо.

Днем мы с Карташовым гуляли и как-то объяснялись, но ничего не выходило, и что-то было в нем странное. Ничего не понимала.

Вскоре мы остались в громадном доме одни. Письма Карташова все странные — и опять влюбленные. Написала ему, чтобы приехал на один вечер в субботу.

Неожиданно в этот же вечер приехал Блок. Ничего. Я после чаю, когда Д. С. ушел спать (и Блок), увела Карташова наверх в круглую, к себе, и мы долго разговаривали, шепотом, чтобы не разбудить Д. С. Не помню точно разговора, но мне в К<арташове> чудилось что-то темное, а он

---

20 Промахи, оплошности (*фр.*).

21 Вот и все (*фр.*).

не говорил — что, и я старалась сказать себе, что ничего нет. Но почти волнения уже не было, а какая-то «обязанность» перед собою и перед ним. Ведь и мысли у меня были другие! Прощаясь, на темном пороге, я его поцеловала... Но, Боже, как странно! Холодные, еще более дрожащие — и вдруг жадные губы. Бессильно жадные... Мне было не противно, а страшно. Что, когда случилось? Знает ли он сам, когда и что с ним случилось? Что же было? И было ли?

Я боялась сказать себе словами: так целовал бы страстножадный и бессильный мертвец. Тогда не сказала. Удержалась.

Осень. Несколько мучительных писем. Да чего же ему надо? Ошеломлена признанием, что он давно мучается злобной ревностью к Успенскому! Что это? Глупость? Наивность? А Успенский что? В самом деле влюблен? И так опасен? Надо присмотреться к Успенскому. Держала я всегда с ними себя — внешне — особенно ровно, даже щеголяла этим. А потом эта ровность сделалась моей целью, каким-то самоограждающим от себя, моим для меня как бы оправданием. Не двое только пусть нас будет, а трое. И двое — и трое... Сюда центр тяжести, одно осталось...

Я не могу проводить вечера в разуверениях К<арташо>ва, что не люблю Успенского. И, пожалуй, он хочет, чтобы я его продолжала целовать? Да разве это «занятие»? Или «доказательство»? Да это и не-воз-мож-но более! (О, поцелуй! Я напишу о нем когда-нибудь.) Так длилось...

В одно утро, — Д. С. гулял, я была в ванне, — звонок. Дашин взволнованный голос...

Я одеваюсь. Сердце мое бьется сильно и ровно. Знаю, что ничего не могу иначе, кроме того, что сделаю... Никто не помешает мне и не сорвет в сторону, потому что в грехе для меня давно нет никакого соблазна, в теле нет желаний,

противостоящих душе, а в сердце нет жалости... Нету? Совсем? Вот последний соблазн, в который я, пожалуй, еще могу впадать. Или не могу? Не знаю. Тут осторожнее — но очень все-таки не боюсь...

Ни от чего не отказываюсь, ничего не предрешаю, не угадываю. И так, как будто все (мое самое главное все) не только сбыточно, но есть. Только так. Да иначе и не могу.

Но устала ужасно. Кончу «концы», все три, завтра. И о том, что было вчера, надо сказать. Неуловимо нехорошо. Страшно. Или ничего не было? И об Успенском доскажу, о последнем лете. Все.

<На этом дневник обрывается>

О бывшем

(1899–1914)

1901

Запишу историю начиная с нашего, как оно родилось и шло до нынешнего часа.

А нынешний час: полночь, суббота, двадцать восьмое октября тысяча девятьсот первого года.

Последовательно, если возможность будет, стану записывать до конца, или Дела, или (события в) моей жизни.

1899

В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал: «Нет, нужна новая Церковь».

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени.

После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить с другими.

Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу: поговори. Потому что мы собирались уехать на целый год.

Он написал два письма: одно Дмитрию Владимировичу Философову, а другое Василию Васильевичу Розанову без определенных объяснений, а лишь с намеками.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Владимировичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа.

Философов ничего не имел, искал и хотел бы принять Христа.

На том уехали мы из России, не возвращаясь год и ни с кем больше во весь год не говоря, потому что нам еще смутна была наша мысль, страшна и очень дорога.

1900

Четырнадцатого сентября девятисотого года приехали мы, я и Дмитрий Сергеевич, в Петербург, где нашли дела людей, ищущих веры и недовольных, в прежнем положении, а сочувствие единомышленников — ослабленным и охолодившимся.

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами.

А Философов отдалился от этой мысли, потому что отвык от нее без нас.

Одному же, утопая, нельзя выбраться на берег.

Мы двое, я и Дмитрий Сергеевич, хотя и двое, но во многом как бы один человек; и поскольку нас было двое — мы были сильны, а поскольку стали один — слабы.

И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами — разделил нас.

Потому я сказала: сговоримся с кем-нибудь одним вперед.

Дмитрий Сергеевич думал сам, как я, и, придя ко мне однажды, сказал, что уже имел разговор с Философовым, который из всех стоял ближе к нам и нашим мыслям.

Но были мы нетерпеливы и самонадеянны и лишь немного выяснившуюся нам мысль сочли ясной совершенно.

И тайна была уже нарушена, а потому решили мы сказать многим, которых считали одних с нами исканий, чтобы вместе прийти к последнему уяснению мысли и ее осуществлению.

Было нас людей, о том сообща говоривших в самом начале, семеро: мы двое, Философов, Розанов, Перцов, Бенуа и Гиппиус (Владимир).

Но вскоре пришли, через тех, еще Нувель, да Баксту было сказано, да раз Дягилев пришел, когда уже все всем по-своему стали говорить и рассказывать.

А Розанов не всегда ходил. И многие уже с трудом приходили, и никто не понимал друг друга, и приходили не для одного общего дела, а ради различных побуждений.

И так случилось, что мы двое как бы с одной стороны стояли, а те все — против нас, и никто уже о деле не помнил.

Сойтись мы однажды у Перцова, в этот раз были: мы двое, Перцов, Розанов, Дягилев, Философов и Гиппиус.

Говорили о символах, о Евангелии, и было нехорошо, потому что никто никого не понимал и все боялись. Дмитрий Сергеевич говорил искренно, но не надо было тогда так говорить, и всем было нехорошо.

После того долго не собирались. А потом мало-помалу стали собираться у нас опять, но уже боялись говорить о действиях, и даже Евангелия вместе не хотели читать, а так, разговаривали и отвлеченно спорили, и было нехорошо и неприятно, потому что спорили о подробностях, скрывая от себя, что мы в Главном не согласились, в том, о чем спорить нельзя.

Сходились тогда: мы двое, Бенуа, Нувель, Философов, Гиппиус и Перцов.

Розанов больше не приходил. Да в нем и словесно даже была другая вера.

И Философов чаще не приходил. А между тем с ним одним мы в Главном были согласны, и даже не в одном Главном.

Но было так: внутренне различные были внешне связаны: Философов, Нувель, Бенуа; а внутренне связанные: мы двое и Философов — были внешне разделены.

Внешняя связь жизни тяжело переступила для недавно проснувшейся души. Благо, когда нет сразу этого разлада. У нас не было, а Философову сразу это было дано. Я поняла, какие тут силы нужны даже не для полной победы.

Так и шло. А когда на споры приходил Философов, было еще хуже. У него — этот разрез, разлад, и у них — какая-то странная борьба, закрытая, с нами за него. Но о Деле никто как бы не помнил.

Сознания того, что происходит, ни у кого не было. Но боль была у всех. Главное, — нерешенное, — лежало между нами.

Перцов думал о себе.

Гиппиус — не знаю, только не о Деле.

Бенуа — о своих эстетических болях, о семье и о Философове.

Нувель — не о себе, но о своей влюбленности в Философова (но я тогда не знала).

Розанов — о семье, о поле, и Божескую боль хотел утолить кумиром.

И все были правы, искали Бога, были жалки и не могли найти.

И в нас двоих — лежала слабость, только о Деле мы больше помнили. Пусть хоть потому, что Оно было наше прежде всего. Наш путь был легче.

«Нерешенной» загадкой пола все были отравлены. И многие хотели Бога для оправданья пола.

И Философов хотел и для оправданья. Но сам не знал, что не только для этого.

Дмитрий Сергеевич не для оправданья, но тоже был отравлен этой входящей, — не главной — мыслью.

Я не знала, но чувствовала ее не главность; но знала, что они теперь не поймут.

Христос — решенная загадка пола. Через влюбленность в Него — свята и ясна влюбленность в человека, в мир, в людей.

Свою душу надо слушать.

Так шло — и мне стало нехорошо, точно мы умираем.

Сил мало — надо собрать их в одно.

Философов — первый, кто подошел к нам; единственный — который близок. Один — кто может помочь. И хотя страшно было подумать и почти дерзко надеяться, что у него хватит сил на то признание внутренней связи важнее внешней, через которое он должен был переступить, — я ему написала, что хочу говорить с ним.

А Дмитрию Сергеевичу я ничего не сказала, потому что все равно знаю его и недуманные еще мысли.

Когда я еще ничего не говорила, Философов сказал: «А было бы не то, если б мы сначала остались втроем».

То, что он это сам сказал, а не согласился со мною, когда я бы стала то же говорить, — было мне радостно — до счастья.

Мы хорошо говорили вместе — и почти стало явно, всем троим, что мы — в Главном согласны, все трое.

Но потом, когда первые шаги были уже как бы решены и собрания наши для нас перестали быть главными, случилось, что один из бывавших с нами заметил это и сказал, что ему больно. Это был Нувель, и, хотя я ничего не знала, но не чувствовала его мне близким; пусть, думала я, вина на мне, но я и для себя ищу, а с ним — не найду. А чтобы дать ему — ничего еще не имею.

Тогда он, Нувель, пришел ко мне и сказал: «А может быть, вы не Бога ищете, а Философова, потому что у вас к нему личное влечение».

Говорю об этом, потому что это важно, потому что он меня смутил, и я остановилась, и со мной в то время и Дмитрий Сергеевич остановился.

Испугавшись — я стала глядеть внутрь себя, но ничего не могла увидеть, потому что влюбленность в Христа, как большой свет, заслоняла все в душе и я не знала, что там. Но как раньше я никогда в себе этого не видела, то и осмелилась не бояться. Я же думаю, что пол — через Бога, а не Бог через пол.

Но оба они, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, еще думали, что без пола нельзя подходить к Богу, а потому я решила, что пусть они, если боятся бесполого Круга, — надеются, что есть пол хоть во мне, влечение к одному из Круга. Пусть не знают, но надеются.

Еще Нувель сказал мне: «Если бы Философов наверно узнал, что вы в него не влюблены, — он потерял бы всякий интерес и к вам, и ко всему делу».

Пусть вина на мне, что я поверила. Но смотрела вперед, прямо, — и только одного хотела, чтобы мы все трое соединились, связались Главным. А правду потом все не через меня, а через Него поймут.

И вот теперь я подхожу к бывшему между нами тремя, и очень трудно писать, потому что не знаю, как, и потому что не знаю еще, было ли это нам в оправдание, в исцеление — или в суд и осуждение. Но либо одно — либо другое. Потому что это великая тяжесть, только не знаем мы, на левой или на правой чашке весов она лежит. Каждый из нас отвечает за двух остальных, а потому еще страшнее.

Одно мне явно: если боимся, если не приложим к этой тяжести еще и еще — значит, не верим — а значит, и не

хотим, чтобы она оказалась лежащей на правой чашке; а если победим страх перед Сыном любовью — и с левой переложится на правую, ибо отдадим себя Ему вместе с грехом нашим, а в Нем — нет греха.

Было это в Великий Четверг, двадцать девятого марта тысяча девятьсот первого года — 1901.

1901

Пишу в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря тысяча девятьсот первого года.

О том, что было в Великий Четверг.

Постом Дмитрий Сергеевич заболел, но выздоровел. А после я заболела и не выздоровела, но стала выходить, хотя было очень трудно, и страшное что-то, потому что я и слова, и звуки слышала, как сквозь густой туман. Но зато внутреннее во мне все сосредоточилось.

И во вторник я пошла купить чашу церковную и прочее. И долго искала, говоря, что в дар и в сельскую церковь. Серебряной или золотой нельзя было купить, потому что дорого. И я купила позолоченную, и все прочее к ней позолоченное. Стоило семнадцать рублей.

И красного атласу, чтобы самой сшить покрывало, и золотой тесьмы для креста. А потом пошла купить свечей восковых для тресвешников, которые раньше были заказаны, и три свечки потоньше, для нас. И еще купила три прямых, острых, серебряных креста с цепочками, нательных, чтобы нам надеть.

Свечи я уж в среду купила, и дождь шел и снег, а я ничего не слышала от болезни, но все ходила. И была у меня мысль, чтобы в среду мы пошли в церковь, исповедались, приобщились утром в четверг в церкви, перед нашим.

Для тою, чтобы не начинать, как секту, отметением Церкви, а принять и Ее, ту, старую, в Новую, в Нашу. Чтобы не было в сердце: «У нас не так, иначе, а вы — не правы».

И теперь думаю, что так надо было. Именно тогда надо. Но силы у меня не хватило, хотя и как убеждать — я знала. В Дмитрии Сергеевиче я была уверена, что он поймет, если долго говорить, — и сделает. А к Философову, я знала, надо пойти в четыре, пять часов, взять его с собою, не говоря ничего, привести в ту церковь, где ждал бы Дмитрий Сергеевич и шла бы исповедь — и все трое мы тогда сделали бы, что нужно. Философов понял бы, потому что я сделала бы это как власть имеющая, если б сделала. Но я не сделала, потому что я не «власть имеющая», потому что не верила в себя. Сила одних мыслей — великая слабость в человеке.

А словами — об этом и совсем нельзя было тогда говорить.

В среду вечером я поехала к доктору, в первый раз, к незнакомому. Его не было дома, меня провели в кабинет. Я легла на диван — и вдруг сразу заснула, точно умерла. Это было в самом деле страшно, из меня будто дух был вынут на пять часов подряд. В два часа меня разбудили, едва-едва, горничная и жена доктора, которого я так и не видела, и совсем с тех пор не видела. Я странно приехала домой — все спали, а я была точно не я и села шить — и шила до утра, до света.

А утром пришел столяр, чтобы сделать угольник к образу, в столовой стояли цветы, которые прислал Философов для вечера, но их было мало, хотя и много.

Я уже не могла идти, и Дмитрий Сергеевич пошел купить просвиры и купил, а потом опять сел за стол, все писал и составлял порядок чтений и действий. Потом опять пошел купить еще цветов. И прислали большое Евангелие от Философова.

Но нельзя мне было не идти, и я пошла, и долго искала виноград, потому что он был не по времени, и нашла. И вино купила сладкое, красное, крепкое, какое в Церкви.

Потом, идя через площадь, встретила Минского, но не могла говорить с ним. А пойдя к маме, взяла сестер, и мы зашли в собор, и стали в притвор.

И ничего не было слышно, только дуло, и свечка колебалась, и солдаты вздыхали. Мы хотели хоть пение услыхать, но за дверью ничего не было слышно. Дождь накрапывал.

Мы совсем почти не обедали и молчали друг с другом. Потом вечер наступил и длинно так шел. Цветы отовсюду пахли.

Я думала, что это совершенно невозможно и что мы с глазу на глаз этого ожидания не выдержим. И вдруг приехал Чигаев, и это было хорошо. Он говорил о цветах, и Дмитрий Сергеевич с ним облегченно говорил, и так было будто ничего, только я молчала, сказав, что больна.

В одиннадцать часов мы опять были одни. Все шло по-своему, в двенадцать мне приготовили постель. И день кончился.

Я так длинно пишу, потому что не смею и не знаю, как начать. Лучше бы, может, вовсе не писать. Но пусть как умею, только пока, а то мелочи забудутся.

Когда было двенадцать часов и больше и я, посмотрев из-под двери, увидела огонь везде потушенным, мы заперли все свои двери. И, затворив занавеси на окнах в средней комнате, вынесли оттуда диван и всю мебель, какую было возможно, кроме стола большого, четырехугольного, и четырех стульев. Три я раньше принесла из столовой, а один был.

Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой, блестящей, новой, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И на столе три тресвешника, соль, хлеб и нож, длинный и тонкий, а на скатерти цветы и виноград, и цветы растущие. И виноград, и цветы на подсвечниках.

А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила в дальней третьей комнате. В первой комнате, на столе под лампадкой лежали наши свечи, с цветами и лентами, как венчальные, и три наших креста.

Когда мы все кончили, Дмитрий Сергеевич умылся и надел чистое белье, а я, вместо платья, надела белую сорочку, новую, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И мы думали, что уже поздно, но было только половина первого. Дмитрий Сергеевич пошел к себе и лег, и я легла, и все засыпала внезапными мгновеньями и тотчас же просыпалась.

Впрочем, душа была от ожидания холодна и недвижна. Просыпаясь, я думала, что Философов не придет. Да и невозможно ему прийти. Да и хорошо бы ему не прийти.

Но он пришел, как было условлено. Было двадцать минут второго. В первую комнату, где была я. Я погасила лампу и сказала Дмитрию Сергеевичу, который встал, надел сюртук и тоже пришел в первую комнату.

И все мы были растеряны, испуганы, холодны и стыдились себя, — думаю, что все. Но со всем этим было и что-то другое еще.

Но я и о себе не все знаю, лучше говорить только верное, то есть только действия — движения и слова.

Мы сели, и Дмитрий Сергеевич сказал: «Спросим себя в последний раз, может быть, лучше не надо». Но ведь уж все равно, если б и почувствовал кто, разве была бы сила уйти?

Кресты наши мы надели друг на друга, в самом начале, чтобы потом сменить их. Просили прощения друг у друга, кланяясь, и целовали руки — в ладонь. И, зажегши свечи, прочли молитву, а потом читали, наклонив свечи, Ветхий Завет.

И еще раз спросили себя и друг друга: «Идти ли нам туда?» И опять я хотела сказать: «Нет, я не могу». Но было поздно.

Оставив их — я пошла в третью комнату, согрела вино, приготовила его и, закрыв, вынесла в среднюю комнату на стол.

А когда была одна и грелось вино, не было у меня никаких мыслей и никаких чувств. Об этом я думала.

Вернувшись, сказала: «Пойдемте». Но сняла раньше все кольца, все обязательства прошлого, и все за мною сняли и положили.

А колец у меня семь и ни одного случайного, все же — символы моих кровных, плотских и духовных связей вне Бога.

Придя в комнату со свечами, мы зажгли каждый от своей по три. И сели так: к востоку, к окнам, стул был пустой. Против него сидел Философов. По левую руку от него сидела я, а по правую Дмитрий Сергеевич.

И прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу.

Первый раз читали Евангелие: было то место, где сказано: «Кто не возненавидит отца своего, и мать свою...» А я не могла тогда этого примирить в себе, потому что знала себя привязанной любовью извне, и очень сердце болело.

И сказала: «Я не могу этого понимать. Что мне делать? Как же явить ненависть? А если нету ее, как идти и думать о Сыне?»

Тогда Философов сказал: «А разве мы, сойдясь теперь, уже не явили ненависти?..»

И от этого, тогда сказанного, короткого слова я после много поняла, и в тот час мне было от него успокоение и надежды.

И для меня — действительно то слово было истиной; потому что от того дня я взяла последнюю силу над моей любовью, что была извне, и ненависть стала необходимой, как любовь; — от Любви.

И в первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложки. И каждый целовал чашу.

Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова говорили, после же другое место читали из Евангелия.

И во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши, и каждый целовал чашу.

Сев, снова молились, читая молитвы и читали откровение святого Иоанна, а потом Тайную Вечерю в Евангелии от Иоанна.

И в третий раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки, и последний выпил все, что было, и каждый целовал чашу.

После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно: в лоб, в уста и глаза.

И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, который чей на ком.

В то время рассвело, но не ясный был день, а мутный, серый, дождливый.

Но все-таки был свет.

А потому мы задули свечи, и прибрали, что могли, вместе, и спрятали. А потом вышли в первую комнату и простились. Философов кольца забыл и вернулся от дверей. А я свои не надела до утра.

Было тогда часов пять утра, ши около пяти. Когда он ушел и остались мы двое, я села на стул в первой комнате и сидела молча. Дмитрий Сергеевич тоже сел против меня и говорил слова, по которым я поняла, что он пережил это с той же и важностью, и печалью, как я.

А я сказала: Ничего не совершено, но почти сделан первый шаг на пути, возврата с которого нет, остановка на котором — гибель. И каждый теперь зависит от каждого. И это умножение Я, утроение Я — невыносимый ужас для слабого сердца и для ответственности будущего.

И Дмитрий Сергеевич, посмотрев на меня, испугался, и я подумала, что он часто будет стараться не сознавать этого, пока не сознает окончательно. И я буду стараться не сознавать иногда, чтобы вырваться. Но нельзя, — как нельзя и останавливаться.

Все это я думаю — еще крепче — и теперь.

1901

Пишу на другую ночь, двадцать пятого декабря, того же года.

Они оба счастливее меня и смелее меня, как дети смелы, ибо не знают скорби, пока она не наступила.

Они думали, что уже совершилось нечто для того времени; а это был как первый слог необходимого слова, и еще хуже жажда знать его, ибо когда произнесешь первый слог — знаешь, что оно есть, и не знаешь его. И если медлить со вторым — забудется первый, и опять нет Слова.

Есть радости, начало которых, одно начало, — как скорбь. «Женщина, когда рождает младенца, терпит скорбь; но, когда родит — не помнит уже скорби от радости, потому что родился человек в мир». Я не говорю, что должна быть скорбь до последнего совершения; но и совершение первого шага — как бы рождение. А у нас не было рождения, потому что не было всего первого шага. А в половине — скорбь и ужас. А если остановка — конец.

Таков был мой страх и моя скорбь. И мое неверие, и неправда, и слабость. Но все равно. Вот как было у нас дальше.

Все, что я старалась сказать, у меня не сказывалось. И стала я молчать, как молчала о поле, оставив их думать, как им было нужно. И я была одна, а они двое вместе против меня.

Тут жизнь пришла, чтобы научить. Дмитрию Сергеевичу еще раньше писала одна женщина из Москвы.

Я отвечала за него, а когда она приехала — он пошел к ней, и она ему физически понравилась. После Пасхи она опять приехала, влюбленная в него. И вот он свое исключительно физическое, только плотское влечение стал оправдывать мыслями о святости пола и о святой плоти и стал говорить о том, что «она может войти через пол», — а она совсем чужая, простая, как Божья тварь, и неподвижная.

И все тут смешалось, стало смешным и ужасным, и нельзя уж было понять, где грех.

Мы собирались и говорили только о поле, и Дмитрий Сергеевич все говорил Философову, и только был занят и говорил об этом, думая, что говорит о Главном.

Философов сознанием был с Дмитрием Сергеевичем, а бессознательно как будто нет, но может быть, это «нет» шло у него от эстетики и от брезгливости.

Так и шло, и нельзя было из этого выйти, отойти от пола пока, как я хотела, как, думаю, нужно.

Если нельзя — нужно покориться. Если это теперь стоит между нами, если Дмитрий Сергеевич все-таки имеет силу говорить об этом о себе — пусть оно, хотя бы в прошлом, будет не темно между нами. Я дала Философову свою историю, которая записана.

Было при том два моих греха: первый — нельзя делать перед близким то, что он не имеет силы сделать. А я это знала.

Второй: нельзя делать, что делаешь, не до конца. А я сделала дело высокого доверия — с недоверием. Помня о Главном, и боясь за него — я вспомнила, как они оба, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, боятся бесполого Круга, не понимая, что иной родиться и не мог. Помня о Главном, и боясь за него, и не веря вполне совершению сознания, я вспомнила слова Нувеля: «Если бы Философов узнал наверно, что вы в него не влюблены — он потерял бы всякий интерес и к вам, и к вашему делу», — и я вырезала

полстранички из тетради, где как раз говорилось о нем и обо всем этом. Может быть, не так, слишком резко, зато было и о его силе, о том, что он сильнее нас, и это я хотела ему дать, но нельзя было иначе вырезать.

Я предвидела, что это вырезанье может быть понято обратно. Но это нужно Главному (если) — пусть. А условное личное унижение — что за пустяк. Поскольку это мне неприятно — постольку унижение мне нужно и полезно.

Но если это не нужно, а вредно Главному? А как я знаю? Я не умею и думать об этом. Кажется, вернее, что нужно.

Так я думала. Но тот, кто не доверяет, не дает вперед своему Я, — уже не прав. Это мой грех.

И теперь не смогу думать обо всем этом изнутри и решить, почему оно было. Скажу только, что было.

От этих моих двух грехов, после, в Философове родилась ко мне враждебность. Неопределенная, как все нехорошее. А мы уехали в Москву. Там Дмитрий Сергеевич сошелся с этой бедной, влюбленной в него женщиной и чувствовал себя и самодовольно, и трусливо. Я молчала.

Когда мы вернулись, я думала, что все-таки нельзя мне пользоваться тем, что близкие уснули. Лето подходило, когда мы, по условиям жизни, должны были разъехаться на полгода. Позор стоял у дверей, а они не слышали и не жалели ни себя, ни меня.

Тогда я позвала Философова и говорила с ним. А он говорил о своей слабости, не замечая, что эта слабость — вольная и в зависимости от слабости Дмитрия Сергеевича, с которым он сочувственно соединился. Я хотела схватить его за плечи и крикнуть: «Позор! Вы сильнее нас!» — но зачем? Разве он поверит? Быть слабым соблазнительнее. Бросить Философова, Дмитрия Сергеевича, уйти? Этого нельзя мне сделать физически, ибо тогда все обратится в Грех и задавит меня же. Обманывать себя можно, а сделать нельзя. Никогда.

Однако тогда я его во многом убедила. Он на другой день пошел к Дмитрию Сергеевичу и сказал, что мы должны еще сойтись для молитвы два раза. Дмитрий Сергеевич согласился, и боялся, и стыдился Философова. Друг друга они и боялись, и стыдились.

Но тут случилось вот что: Дмитрий Сергеевич захотел опять ехать в Москву, на один день, без меня, чтобы проститься с Образцовой, которая уезжала в Крым.

И при этом требовал, чтобы я сказала, что ему нужно ехать, что это хорошо для Главного (!!!), чтобы сама его отправила.

Я потерялась. Это очень было трудно. Я спросила у Философова, что мне делать. Но ему это, кажется, просто надоело и стало скучно.

А Дмитрий Сергеевич говорил: «Если ты меня отправишь, как я за то буду потом молиться!» Я чувствовала, что бледнею от страха. Но он ребенок иногда.

Он и уехал, а я осталась и прожила три дня в молчании, одиночестве и ужасе близкой смерти.

Философов в это время заболел, а когда выздоровел, то стал относиться ко мне с враждебностью, похожей на ненависть. Это было непонятно, но я не могла на этом останавливаться. Надо было еще раз сойтись хотя бы в оправданье прошлого.

К этому я шла, уже почти ничего не думая, просто, тупо спасая себя от немедленного самосъедения.

Когда я опоминалась и взглядывала вокруг — видела странные вещи: Дмитрия Сергеевича, углубленного в нетонкую психологию пола, и Философова, говорящего мне: «У меня нет любви к вам, лично к вам, и даже нет желания любви», и мысленно: «Напрасно ты в меня влюблена».

Но мне было не до того, я молчала, да и что бы я могла говорить? И думать нельзя было, ни глядеть пристально,

а то стал бы думать, что это «ужас смехотворности маленьких людей, задумавших большое дело».

И накануне нашего отъезда, пятого июня, мы, в час ночи, пришли в квартиру Философова, в Соляном переулке. Он жил один.

Весь день была гроза. У меня волосы точно живые на мне, это всегда очень страшно. Мысли уходят.

Я написала странную молитву, которую принесла и хотела прочесть им раньше. Но Философов не понял, что я хочу, и сказал «не надо». Да я бы и не могла, увидев его недобрые глаза, за которыми я не видела его мыслей.

Я принесла большие красные цветы без запаха. В комнате за столовой стоял в углу столик с белой скатертью, образ и лампадка. Мы сели за стол посередине, где стояли мои цветы.

Сидели мы, как и тогда, в четверг. Я чувствовала ужас и стыд, почти отчаяние оттого, что они делают это не для себя, а для меня. И что если бы не я, то этого бы не было. И что если это так, то нельзя.

Ненависть Философова ко мне заметил Дмитрий Сергеевич и сказал: «Да за что вы на нее сердитесь? Помиритесь, поцелуйтесь».

А я уже ничего не замечала; только думала, к чему мы пришли.

Поцелуй — глубокий символ. А не целую никого. Поцелуй женский в щеку, в воздух, нечестный поцелуй, он кажется мне грехом.

Мы читали Евангелие, а потом встали к образу и прочли заранее написанные молитвы, из молитвослова и наши, всего пять.

И тогда стало лучше немного, и простились мы лучше, чем встретились.

И с Дмитрием Сергеевичем я поцеловалась с миром (мгновенным) в душе, с честным желанием веры ему и в то, что Бог его отпустит.

Философов сказал: «Все-таки ведь вы уходите лучшие, чем пришли?» И это была правда.

И если, с такими душами придя, мы уходим лучшие — какою силой мы пренебрегаем!

Наступило лето. Я жила с одинокими мыслями, потому что Дмитрий Сергеевич был все еще в поле, мы совсем ни о чем с ним не говорили, точно по молчаливому соглашению. О Философове я не хотела ничего думать, а он, как я и предполагала, нам не писал.

Я, впрочем, думала, что враждебность его, как вряд ли понятная ему, уляжется от времени. Это меня нисколько не радовало, а было неприятно. В Главном (везде, где оно) — не Время повелевает мною, а Я — Временем. Времени нет роли.

Теперь должна еще сказать о Нувеле.

Во время весеннего моего метанья я все старалась обманывать, поддерживать себя мыслью, что в крайнем случае я уйду от них обоих, от Дмитрия Сергеевича и Философова. (Знала, что обманываю!) Но надо было жить как-нибудь дальше.

И в эти дни я говорила со всеми, искала огня у всех. Говорила с Минским о нем. Говорила с Нувелем, возвращаясь в белую ночь от Розанова. Нувель мне показался страдающим, и что-то искреннее мелькнуло в нем.

Накануне отъезда моего, днем, Нувель был у меня — но тут он мне показался только любопытствующим. Я его никогда не любила. Но знала ли я его?

Он сказал: «Пишите мне, прошу вас. Мы должны узнать друг друга. Вы оттолкнули меня, когда я шел к вам.

Вы виноваты». Я сказала: «Да, может быть. Хорошо, я напишу, как вы просите, первая».

В переписке стало все настойчивее выясняться, что у нас Главное — не общее; потому что мы писали мимо друг друга.

А особенно ужасны были наши свидания. Их было несколько. Первое в конце июня, потом еще два-три.

Пока можно было скрывать от себя и друг от друга, что мы говорили мимо друг друга, не соединенные ничем, — я скрывала, в слабости.

Я виделась с ним, говоря себе, что для того вижусь, чтоб любить себя и его. А выходило, что я, во время этих свиданий, презираю и себя, и его и ничего сделать нельзя.

Он говорил, а я ничего не говорила, только слушала. И это был мой позор и падение, потому что я уже знала, что для нас Главное — разное; а я слишком слаба для этого человека, я сама нуждаюсь, чтобы мне давали.

Не надо подробностей. Я и сама себя не хочу обличать. А другого прямо не смею.

А кончилось так: на третье, кажется, свиданье у меня не стало сил, и я сказала: «Боюсь, чтобы нам не ошибиться. Не в разное ли мы верим? Не различного ли хотим? И направления у нас одинаковые ли?»

И сказала ему тут в первый раз, — какое у меня отношение к его Главному, т. е. к Философову.

А говорили мы сначала так: он говорил, что его «призвание» — «спасти» Философова, а я говорила, что у меня другое призвание, и вообще все во мне совсем иначе.

А потом мы уже стали говорить прямее, и тогда выяснилось, и для него, что между нами нет ничего общего.

Последнего слова, однако, с прямотой, словами, не было сказано, т. е. что «нет ничего общего», а сделалось так, что прекратилась переписка после нескольких его злых писем; злость под разными предлогами.

Что мне делать? Я слишком слаба для него. А он не дает мне силы.

О бывшем у нас я не говорила ничего даже тогда, когда он говорил «мне все известно», любопытствуя. Заслуги моей нет, ибо я просто не смогла бы сказать. И так я говорила мало, но я слушала о Нувеле, не противореча от себя, а стараясь стать на его точку зрения, поддакивала на все о нем, и так больше, чем нужно.

Говоря, в тот единственный раз, о себе и о Философове мою правду — я сказала и мои мысли о поле, как опять не Главном, непременно не первом.

Конечно, он не согласился, или не понял, а сказал: «Розанов — наш учитель. Его одного можем мы слушать — и вы должны бы. Берегитесь (если все-таки хотите сохранить Философова для ваших дел) сказать ему то, что мне сказали о себе — к нему. Я его знаю лучше вас».

Но я тогда же подумала, что этого больше не будет. Дмитрий Сергеевич, как ни ужасен иногда, — равен мне; я, как ни бездарна иногда, — равна ему; Философов, как ни тоньше, ни благороднее, ни сильнее меня, — равен мне; я, как ни живее и ни стремительнее Философова, — равна ему.

Уничтожив этот принцип — мы уничтожим и себя, и друг друга, и бывшее между нами.

Потому не буду ни снисходить, ни прощать, ни лгать хотя бы для «благих» целей, а только относиться как к равным, вернее — как к себе.

Нувель считает себя выше меня, а я — себя выше него. И ничего не будет между нами, так же, как если бы я считала себя ниже его, и он себя — ниже меня.

Он почти страшен отсутствием понятия о Любви. Жалость ему заменяет любовь. Говорил «я готов полюбить вас» — когда готов был пожалеть. А не находя, за что

жалеть, — ушел со злобою. Я все-таки не знала вполне, а то оставила бы по слабости, пусть жалеет — «любить» за «несчастную любовь».

Я говорила ему об этом. Он даже согласился. Потом забыл. Ему все легко и все все равно.

Влюбленность не связана, вне Бога, с любовью.

Так мы разошлись — и даже не очень честно, — до времени.

А у Дмитрия Сергеевича свершала свое течение жизненная комедия пола, безбожная, а потому идущая помимо его воли.

Очень жалко было эту женщину, милую Божью тварь. И она спасется, только каждому свои пути.

Когда уже осень пришла и Дмитрий Сергеевич, я видела, был по-прежнему, по-старому, свободен от внешнего налета подвременной жизни (хотя мы упорно о Главном с ним не говорили), — я подумала, что пора заговорить.

И первого сентября 1901 г., возвращаясь из лесу, при закате, на широкой песочной горе, сказала:

«Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать наши собрания?»

Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал: «Да, я думаю — продолжать. Собрать их всех и предложить, хотят или не хотят молиться вместе? Там и посмотрим. Да, я думаю...»

Хотела я спросить: «Кому, чему молиться вместе?» Но не спросила, и вообще в тот день ничего не сказала.

А второго, сойдя вниз к завтраку, сказала ему:

«Последняя мечта наша — не создание Храма, а созданье Церкви. Совместная молитва соединяет, а жизнь разъединяет. Символы — не действия. Мы сделали полшага к нашему Храму, но не сделали в то же время ни одного движения к нашей Церкви, — потому у нас почти

и не вышло ничего. Разве не стоял между нами тремя все время страшный и нерешенный вопрос: «А какое отношение все это имеет к моей жизни?»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Да».

А я опять сказала: «Мы теперь не должны и говорить о далеком, очень уж мы беспомощны и ничего почти не сделали. А не думаешь ли ты, что нужно начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, пошире, и чтобы оно было в условиях жизни, чтоб были деньги, чиновники и дамы, явное, — и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходятся, и чтобы...»

Тут Дмитрий Сергеевич вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Я была очень счастлива, но мне хотелось договорить:

«...И чтобы мы трое, ты, я и Философов, были в этом, соединенные нашей связью, которая нерушима, и чтобы мы всех знали, а нас, о нас, никто не знал до времени. И внутреннее будет давать движение и силу внешнему, а внешнее — внутреннему».

Договаривать этого и не нужно было, ибо Дмитрий Сергеевич уже сам все понял.

Мы в тот день ходили в осенний лес и все только об этом одном говорили.

Но и эта мысль, даже эта, была слишком далекой, и хотя много из нее начало осуществляться, но не совсем так и не все. Впрочем, жизнь научит, если не покоряться ей, как щепка покоряется ручью.

Приехав в Петербург восьмого октября, — мы принялись за дело. Сначала говорили со Щербовым. Потом стали другие собираться около — Тернавцев, Розанов, другие.

И определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, официальное (условия жизни, как входящее)

общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры.

Не буду писать подробно, как это созидалось, с какими суетами, с какой внешней политикой.

Философов был болен, мы его не видели, но у нас была твердая вера в него, уважение к неизбытному прошлому и надежда на скорое пополнение сил, которые, однако, приходили к концу.

Когда Дмитрий Сергеевич пошел в первый раз к Философову, я не знала, говорить ли ему? Если он болен — сразу ли поймет все?

А мы однажды видели Философова в сентябре, на полчаса, приехав из Луги.

Мы не позволили себе иметь никакого впечатления от этого свиданья. Что было — то было, а если было — то есть, и так нужно. А что будет — то будет лишь потому, что было бывшее.

От Него и с Ним.

Однако повсюду уже говорили об обществе, а потому надо было сказать Философову изнутри, потому что и общество, и мы от него зависели.

Перед открытием учредители были у Победоносцева, утром, а в тот же день были, вечером, у митрополита Антония. Философов у митрополита не был, потому что еще болен, и были: Розанов, Тернавцев, Мережковский и Миролюбов.

Победоносцев принял их весьма официально. А митрополит Дмитрию Сергеевичу очень понравился и все кругом, и чай, который он разливал, и тихие речи, которые он говорил.

Устроено все было с немалой помощью Скворцова, чиновника при Победоносцеве, имеющего репутацию миссионера-гонителя и жаждущего оправдаться перед

«интеллигенцией», а потому чрезвычайно деятельного в деле «сближения Церкви с интеллигенцией».

29 ноября было первое Религиозно-Философское собрание в зале Географического общества.

Это внешнее дело, может быть еще слишком отвлеченное, недостаточно жизненное, ушло вперед от нашего внутреннего дела, а потому, несмотря на внешний успех, оно нетвердо и хаотично.

Внутреннее же дело остановилось из-за болезни Философова. Уже чувствуется влияние присутствия дела внешнего на возможности, перспективы внутреннего, — и наоборот. Но стрелка весов должна стоять прямо, а теперь она колеблется.

Внутреннему делу предстоят такие трудности, что страшно и думать, но они вот, при дверях. И каждый день времени — тут как год.

Писать о них нельзя, ибо я пишу только о Бывшем.

28 января 1902

«Мне отмщение, и Аз воздам»

Пишу двадцать восьмого января тысяча девятьсот второго года о том, что было с нами после этой записи.

Осенью (1901) Философов, все больной, написал, что хочет видеть нас еженедельно без посторонних, и таким днем была назначена среда, и в среду вечером он к нам приходил.

Говорили мы о внутреннем деле, о его необходимости, и во всем были согласны. Я стала работать над молитвами, беря их из церковного чина и вводя наше.

И потом все вместе читали и обсуждали, и остановились на службе вечерней, которую составили и обсудили.

Каждый раз многое изменяли и дополняли, и не нравилось мне, что я делаю больше них, а они лишь принимают и вставляют.

Но многое и сообща было найдено и создано.

На первом Собрании Религиозно-Философского Общества Философов был, но очень удивил меня. Собрание было таково, как и могло, и следовало ему быть, а он точно остался недоволен.

Я написала письмо, анонимное, Скворцову, о котором знал Философов, и даже сам приписал post-scriptum, и письмо это было нужно, и Скворцов его на заседании прочел, что тоже было и нужно, и хорошо, а Философов сказал мне: «Никогда не испытывал такой муки». Смешно?

Потом мы долго не видались, а я написала ему: «Вы должны прочитать на следующем заседании реферат, который мы вместе напишем».

Он ответил: «Я безусловно против чтения рефератов, не буду писать. Приду тогда-то».

Пришел он днем, а вечером мы уезжали в Москву. И был между нами разговор.

То есть Философов стал вдруг говорить, что у него свои дела и огорчения, что в «Мире искусства» все против него, а что он считает себя с ними больше связанным, а нам он не равен, а только игрушка в наших руках, и все такое.

Я молчала, потому что слов не находила. А Дмитрий Сергеевич говорил с ним, напомнил ему бывшее и то, как мы в нем нуждаемся теперь, и что можем все трое от него погибнуть.

Где кровь заметалась, то куда ни двинься прочь, кто ни двинься — через кровь переступишь.

И так мы говорили, пока Философов вдруг не встал и, со словами: «Кончим, пожалуйста, этот тяжелый разговор», — не подошел к Дмитрию Сергеевичу и не поцеловал его, прибавив: «Простите меня».

Потом подошел ко мне с тем же словом, я молча наклонила голову.

Но он взял за руку и сказал: «Нет, встаньте, посмотрите на меня, поцелуйте меня и в самом деле простите».

Всем нам сразу после того стало легче, а была раньше мука до слез.

Дмитрий Сергеевич ушел гулять, а мы с Философовым сидели еще до обеда и говорили обо всем.

Было это пятого декабря 1901, накануне Николина дня, соборный колокол гудел, и Даша зажгла мою лампадку.

А вечером мы уехали в Москву.

На прощанье я опять говорила Философову о реферате.

Из Москвы мы писали ему письмо — о том месте Евангелия: «Кто любит отца, или мать, или жену более Меня — недостоин Меня». И еще: «Если рука твоя соблазняет тебя...»

Великие эти слова — о ненависти. И страшные.

Когда мы приехали из Москвы — в тот же день я получила от Философова написанный реферат и записку, где он писал, что опять болен и рад, что мы вернулись.

Через несколько дней мы были у него, и я читала ему его переписанный мною реферат.

Он сказал: «А у меня к вам просьба; вот корректура статьи Бенуа, ответ мне. Я хотел бы возразить, один я не сумею, помогите мне».

Дмитрий Сергеевич сказал: «Конечно, мы все вместе это сделаем».

На вопрос о моем московском письме Философов сказал, без всякого раздражения: «Бог с ним... я его боюсь».

С рефератом были у нас кое-какие письменные недоразумения, он изменял, чуть-чуть, переписанное мною, я восстановляла, но это пустяки.

Реферат прочел Тернавцев на заседании, потому что Философов совсем опять разболелся, жил у Дягилева и не выходил.

1902

Пишу вечером четвертого марта того же года, продолжение предыдущего.

После второго заседания Философов был у нас однажды днем, и на среду, второго января, назначена была у нас общая молитва, вечерняя служба, которую Философов с нашей переписал в свою тетрадь.

Мы решили сшить одежды не белые, а красные, потому что белых еще не были достойны (сказано: «Побеждающему дам белые одежды»), форма их — эпитрахиль до полу.

Философов настаивал на белом бархатном кресте спереди, что и было принято.

Числа двадцать третьего я начала шить эти одежды, из красного шелка, все, как было условлено.

К первому января они были готовы. За день не хватило белого шнура для обшивки третьей одежды, и я ездила за шнуром.

1902

Первого января 1902 днем пришел Философов, и сидел в комнате Дмитрия Сергеевича, и списывал в свою книжку поправки Дмитрия Сергеевича и разные изменения.

Потом мы пошли в другую комнату, пили чай и говорили. Философов был немного молчалив, но он был болен.

И Философов спросил, готовы ли одежды, и просил меня их показать. Я встала, но в эту минуту позвонили.

И пришел Скворцов, во фраке, и стали говорить о реферате Дмитрия Сергеевича, на Собрании 3-го января. Он должен был читать о «Святой Плоти», но я не советовала, ему тоже не хотелось.

Об этом рано было говорить.

И Скворцов предложил читать другую часть, а именно «Об отлучении Толстого», на что мы все сейчас же согласились.

Потом Скворцов ушел, и Философов опять сказал: «Покажите одежды».

Я вынула его эпитрахиль. Через голову нельзя было надевать, если сшить — отверстие слишком широко, а потому там была белая петля и красная, горящая пуговица.

Эти горящие пуговицы очень нравились Дмитрию Сергеевичу, и он сказал, что хорошо их надеть на голову, на узкой красной ленте, и накануне примерял, и радовался.

Философов встал и надел на себя свою эпитрахиль, стоял прямо, а я стала на колени, на ковер, чтобы видеть, до полу ли одежда.

Она ему была длинна, но он сказал: «Ничего, это лучше, будешь помнить, чтобы не запнуться».

Дмитрий Сергеевич сказал ему о пуговице, и я взяла ленту с нею, и повязала ему на лоб.

Так мы на этом решили, и должен он был прийти завтра в половине одиннадцатого, на том ушел.

Я купила большой плоский бокал, стеклянную чашу для вина, а вино у нас было приготовлено, белое, и еще другое, игристое, — шампанское.

2 января 1902 г.

Дмитрий Сергеевич второго числа целый день ходил, купил цветов, и масла душистого, и кисточку с крестом, и пять хлебов.

Ритуал был у нас с Дмитрием Сергеевичем переписан у каждого в одинаковую красную тетрадку.

Сначала Дмитрий Сергеевич купил хлебы слишком маленькие, потом пошел опять и купил пять больших, круглых.

В десять часов я сказала, что так как «может быть, придет Дмитрий Владимирович, то чай надо подать ко мне».

Мы хотели чай и самовар прикрыть, и тогда к нам бы не вошли. А что Философов у нас будет — лучше было сказать.

И когда все было принесено и ушли, Дмитрий Сергеевич вынул и развязал наши тресвешники, они были мутные, потускневшие, и чем-то закапанные, я стала чистить, и что-то отлетело и попало в глаз.

Свечи вынули и вставили, потом вынули свечи поменьше, три, с цветами и лентами.

Цветы с весны засохли, и я стала развязывать ленты, сидя у огня, и к каждой свече привязала по три свежих цветка, два красных и один белый.

Дмитрий Сергеевич ходил и все прибирал и устраивал, вынул ту скатерть, весеннюю, ни разу не употребленную с тех пор, положил ее вдвое на круглый стол, а на стол поставил свечи.

Когда я уже последний цветок привязывала, Дмитрий Сергеевич сказал:

«Вот, он пришел».

Звонка я не слыхала.

И Дмитрий Сергеевич быстро пошел в переднюю, а я осталась.

Он тотчас же воротился и сказал: «Возьми, возьми, вот письмо от него. Не придет».

Надорвал конверт — и отдал мне. «Читай, я не могу».

Я прочитала письмо вслух.

Письмо было такое: «Благодарю вас, друзья мои, что вы мне указали пути. К вам сегодня не приду. Не кляните меня и верьте, что я все-таки вас душевно люблю».

Мы молчали, а потом я сказала: «Пойди к нему».

Дмитрий Сергеевич сказал: «Постой... постой. Надо понять. Надо подумать. Что-нибудь случилось».

Я встала и стала переносить чайный прибор в столовую, одну вещь за другою.

Дмитрий Сергеевич ходил за мной, взад и вперед. Потом сказал: «Я пойду».

Оделся и пошел, а я все переносила чашки и самовар, а когда все перенесла, вынула свечи и связала, спрятала скатерть, но подсвечников не могла одна увязать.

Дмитрий Сергеевич тотчас же воротился и сказал: «Меня не приняли. Он спит. Это неправда. Он сам принес письмо. Что нам делать?»

Я сказала: «Вот, давай увяжем подсвечники». И мы их с трудом увязали и спрятали.

Потом я отвязала цветы от свечей и бросила в огонь. Они тотчас же почернели и сгорели.

Дмитрий Сергеевич сказал: «А хлебы? Их надо тоже сжечь. Будут ли гореть?»

Он принес хлебы, и я, сидя у камина, ломала их на куски и бросала в огонь.

Хлеб был мягкий, свежий. Но не чернел, горя, а весь кусок занимался тихим, синим пламенем и распадался в пепел.

Но горел долго, и когда все пять сгорели, было уже поздно.

Дмитрий Сергеевич говорил: «Это я виноват, не бойся. Я мало сил тратил на это дело, не все сделал, что мог. Мы мало дали, — и вот, все у нас отнялось. Не бойся».

Мы тихо, шепотом, говорили с ним, а потом он ушел к себе.

Я долго была одна, а потом опять он пришел, уже раздетый, и принес Новый Завет, и сказал:

«Вот, я открыл, посмотри, какие слова».

Было это из посланий Павла: «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать...»

Потом опять говорили мы тихо, и он ушел.

Утром третьего января Дмитрий Сергеевич пошел к Философову в библиотеку. И вернувшись, сказал мне:

«Он обещал прийти сегодня днем и поговорить с нами. Я сказал, что почему он сразу не скажет, что же случилось,

и что об этом нельзя писем писать, и что не уверен, точно ли он придет, лучше подожду его, но он ответил, что ждать нельзя, что он придет наверно, а сказать, говорит, он должен перед нами двумя».

В пять часов от него пришла записка, из редакции Дягилева:

«Дмитрий Сергеевич, я все еще нахожусь в состоянии колебания, и пока я в этом состоянии — прошу вас оставить меня в полном покое».

Мы помолчали, а потом Дмитрий Сергеевич сказал: «Я пойду к дверям редакции и буду его там сторожить. Я не понимаю. Я не верю».

И пошел. Перед обедом вернулся, ничего не сказал, лег.

У него очень голова болела, а вечером надо было, читать.

Если бы не его реферат был, — мы б в Собрание не поехали. Нельзя было ехать.

Он вперед ехал, а я после поехала.

Расписываясь в книге — я вдруг увидела, рядом с Дягилевской, подпись: Д. Философов.

Мы никак не могли думать, что он поедет в Собрание. Все было непонятно, темно до корня.

Войдя, я села у дверей и не двигалась. Дмитрий Сергеевич читал вяло, насилуя голос. Было много народу.

В перерыве кто-то мне сказал: «Какое лицо у Философова! Краше в гроб кладут».

Соловьева прибавила: «Точно из "Песни торжествующей любви" — Тургенева».

В перерыве же я столкнулась с ним во второй комнате. Мы молча подали друг другу руки, и я отошла.

С ним был Дягилев и другие из «Мира искусства».

Я, отойдя, сказала Дмитрию Сергеевичу: «Он здесь, ты можешь поговорить с ним, если захочешь».

Дмитрий Сергеевич ответил: «Я не сказал тебе, я видел его в редакции, и он сказал, что дня через три-четыре сам придет, непременно, и тогда поговорим».

Я ответила: «Ну, этого не будет. Он не придет. И уедет за границу».

А были раньше слухи, что он поедет за границу лечиться, но он отрицал.

Дмитрий Сергеевич на слова мои возразил: «Я спрашивал его, и он сказал: «Я не уезжаю».

В этот вечер в Собрании я потеряла из кольца большой бриллиант.

Пятница прошла, и ничего, — в ожидании нам (известного заранее) приговора.

Дмитрий Сергеевич писал письмо за письмом и рвал. Я ничего не писала.

В субботу утром привезли из корпуса к нам племянника Дмитрия Сергеевича, маленького кадетика (отец Дмитрия Сергеевича просил взять на 1 день).

Он был хороший мальчик и все бегал да играл в солдатики. И мы с ним должны были играть в солдатики.

Вечером у нас был народ, молодые профессора Академии, Розанов, Минский.

Розанов сказал: «Бедный Философов! Сегодня узнал, что он сильно болен и его увозят за границу».

Потом вечер прошел, и все ушли.

Дмитрий Сергеевич сказал: «Я не пошлю ему этого письма. Он, действительно, болен. И это у него тоже от болезни, иначе нельзя объяснить. Он не сознает, что он делает».

Я взяла письмо и спрятала. И сказала: «А завтра еще надо будет последнее от него перенести. Какое унижение — не нас, а...»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Молчи, не надо. Тут была кровь — и будет кровь. Ведь ему от этого можно уйти — только в смерть».

Я ответила: «Свое можно простить, а не наше — не нам прощать».

На другой день, в воскресенье, я опять играла с Борей целый день в солдатики. А к обеду должны были прийти отец и брат.

Мы играли с Борей в столовой. Ему было ужасно весело. Когда позвонили, я прошла к себе.

Это был Дмитрий Сергеевич. Он протянул мне распечатанное письмо: «Посмотри. Это невероятно. Ты была права».

В письме стояло: «По зрелым рассуждениям я должен написать следующее. Я выхожу из нашего союза не потому, что не верю в дело, а потому, что я лично не могу в этом союзе участвовать».

Далее еще несколько таких слов с повторением и подчеркиванием, что он верит в общее «дело», но все-таки, благодаря каким-то литым соображениям, принужден его разрушить.

Боря поселился со своими солдатиками ко мне, а потом сейчас же пришел отец и, кажется, брат (или не брат?), и было шумно.

Потом, после обеда (это было шестого, в Крещение) Борю увезли в корпус. И я не очень хорошо помню, что было потом.

Только вечером поздно Дмитрий Сергеевич сказал мне: «Знаешь, это что-то столь невероятное, что мне кажется, будто я сошел с ума. Я пойду к Дягилеву».

Я удивилась: «К Дягилеву?»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Ну да, я по крайней мере буду знать, Дягилев ли тут причиной или нет. Что бы он мне ни говорил — по тому, как он будет говорить, — я это узнаю».

И утром он пошел, и вернулся, когда я еще лежала в постели.

Дягилев, по словам Дмитрия Сергеевича, — очень удивился и как будто ничего не знал, и даже обиделся, что не знал. Конечно, Дмитрий Сергеевич ничего ему не объяснил, а только сказал, что Философов без причины с нами поссорился, не на личной почве, и уклоняется даже от разговора.

Дягилев будто бы сказал, что, по его мнению, это все от болезни. «Он безумно испугался своей болезни».

Я вспомнила, что Философов несколько дней тому назад — ну, может быть, недели полторы — писал: «Я не боюсь болезни, я тут не мнителен...».

Испугался болезни? Как? Богооскорбление, Богоубийство — как лекарство от болезни? Мы не очень поняли.

Затем Дягилев сказал, что он в ужасном «настроении» и что лучше его теперь не тревожить, что через три дня он уезжает, а что он, Дягилев, ему ничего не скажет даже об этом разговоре.

На том и разошлись они.

Дмитрий Сергеевич сказал: «Я уже столько унижений вытерпел, что могу терпеть и дальше. Я виноват, виновата и ты. Я до такой степени ничего не понимаю, что готов предположить и то, что виновата тетрадь, которую ты дала читать ему вслух. Не понимаю, как виновата — но все возможно в этой слепоте».

Может быть, и тетрадь. Может быть, и болезнь. Может быть, и он. Может быть, мы. Как мы не знали, так и до сих пор не знаем. Глухая петля.

Личное оскорбление — лучше; там можно простить. А здесь нет права простить. И жалость — человеческая — к оскорбляющему. Того, Кого нельзя оскорблять.

Может быть, первые, те, оставшиеся ученики Его — сквозь боль, ужас и негодование — жалели Иуду.

Дмитрий Сергеевич сказал: «В первый раз в жизни я так ясно и близко увидел — Зло. И такое именно, какого боялся: тупое, слепое, грубое и грузное. Страшное не ужасом, а отвратительностью и глухим бессмыслием».

И прибавил: «Я неверно сказал о личном унижении. Какие тут нам могут быть унижения! И пускай будут».

Я согласилась с ним, так думала и раньше. Унижений и для меня нет.

Но пока он болен — оставим его. Подождем. А потом... Простить ведь нет права.

Дмитрий Сергеевич все-таки решил еще написать ему, и было написано два письма, одно Дмитрием Сергеевичем (переписано мною), другое нами обоими.

Первое, в понедельник, — довольно сдержанно говорило о том, что мы не верим ничему личному, способному разрушить общее, и был вопрос: «Неужели уедете, не простившись с нами?»

Во вторник на это письмо была строчка ответа: «Не зайдете ли ко мне днем в пятницу?»

Мы знали, что он выходит, Дмитрий Сергеевич видел его на извозчике, знали, что в пятницу вечером он уезжает. Днем в пятницу он звал нас, чтобы избежать свидания — по крайней мере наедине.

Так мы ему и написали, опять сдержанно и сердечно.

Ответ через два дня: «В пятницу я уезжаю. Еду лечиться и ни на какие разговоры не способен. Шлю вам мой привет, надеюсь встретиться с вами окрепшим. Преданный вам...»

Ему отмщение — и Он воздаст. И если Он захочет, и укажет, — мы будем орудием.

29 марта 1902

Пишу двадцать девятого марта, в годовщину Бывшего.

Тьма внешняя с нами. На небе сегодня встанет заря ясная, ибо небо чисто, но на земле, где мы, темно.

Его воля во всем.

29 марта 1903

Пишу двадцать девятого марта тысячу девятьсот третьего года, во вторую годовщину Бывшего.

С тех пор случилось вот что.

Философов приехал из-за границы прошлой (02) весной на шестой или пятой неделе поста.

За время его отсутствия мы часто бывали у его матери, которая сама все время нас приглашала, и писала письма, и была в Собраниях.

Философову это не нравилось. Но это неважно.

Дмитрий Сергеевич по приезде пошел к нему в библиотеку. Он сказал: «Теперь я здоров. Теперь я могу говорить». И пришел днем.

Пополневший, тщательно одетый, в ярком свете весеннего дня, и очень холодный, и грубый.

Повторял все то же, с прибавлением: «Мне скучно. Это неинтересно».

Позвонили. Случайно приехала его мать. Она — добрая, экспансивная, немножко глупая, либерально-суетливая старая женщина, слезливая. Мне ее всегда нежно-жалко. А Философов с ней неуловимо нехорош.

Так это вышло. Она посидела и уехала. А он остался и опять говорил мертвенно и безнадежно страшно.

Так и расстались. «Знакомство» как будто сохранилось.

В четверг на Страстной, было это тринадцатого апреля, я написала с вечера Дмитрию Сергеевичу письмо (со среды), что надо нам двоим молиться, как будто еще нас трое, а так этого дня пропустить нельзя.

Он понял. Было тепло и ясно. Я приготовила немного цветов, просвиру и белого шипучего вина. Мы хотели только молиться вместе и читать Евангелие.

Вечером нас неожиданно позвала мать Философова. Он и не знал.

Пошли. Я отнесла одну из трех приготовленных красных лилий — ей, в его, третьего, дом.

У Философова было темное, злое лицо. А Дягилев был грубоват. Около часу мы ушли.

А в два часа мы приготовились, как могли, я оделась, мы постлали скатерть (ту) в средней комнате, поставили чашу (ту) пустую, прикрытую.

Вино же пилось из стеклянной чаши, простой, ели хлеб, и вино было не красное.

Стул Философова был оставлен, пустой.

Мы молились по вечерне и читали, и были минуты незабываемой радости, чистой, как светлое вино.

Радости — и надежды.

Мы молились, как умели, и о нашем третьем, который ушел.

Заутреню мы были в Академической церкви, на хорах.

И не хватало света и радости даже в это радостное богослужение, в светлый праздник.

Но страшна и прекрасна была церковь потом, опустевшая, запертая, — из верхних окон.

Клубы неподвижного сизого дыма, красный отсвет костров, бледные очи весенней зари.

Так это кончилось. А Философов совсем не пошел к заутрене. Оделся — и вдруг остался дома, один. Мать его говорила потом.

Мы виделись изредка. Собрания наши шли живо, интересно, и уже из них стала возникать новая идея — идея журнала.

Но мне было ясно, что Собрания — внутренно кончены, потому что нет внутреннего круга.

Мы узнали много новых людей, узнавали все больше, из кого состоит Церковь Православная, которая, как тогда еще казалось нам, нуждается в движении, в приятии нового, в изменениях, ибо в ней не отвечающая нашей душе косность.

Постом Дмитрий Сергеевич читал у митрополита Антония последнюю часть Гоголя, где это говорится. Читал против моего совета, ибо уже ясно было, что учащая Церковь не поймет нас, только обидим ее.

Так и случилось. Я тоже была на чтении у Антония.

Священник Альбов представил свой реферат о преобразовании Церкви (очень скромный и наивный). Антоний запретил его даже и читать в Собрании.

Вот из кого состоит ныне православная учащая Церковь: из верующих слепо, по-древнему, по-детскому, с детской, подлинной святостью: отец Иоанн Кронштадтский. Ему мы, наши запросы, наша жизнь, наша вера — непонятны, не нужны и кажутся проклятыми. Из равнодушных и тупых иерархов-чиновников. Из полулиберальных индифферентистов, милых: Антоний. Из добрых и тихих полубуддистов: отец Сергий. Из диких и злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых и грубых: отец Соллертинский. Из позитивистов-нравственников с честолюбием жестких: отец Гр. Петров. Попадаются такие блестящие, интересные схоластики умом и нутром — как архиерей Антонин, притом, конечно, совершенные еретики, не верующие в подлинность исторического бытия Христа.

Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно), летом даже сходил с ума. Теперь поправился.

Профессора Духовной Академии — почти сплошь позитивисты, иногда карьеристы, а есть и с молодыми, студенческими душами; но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны.

Так вот из кого состоит в данный момент истории Православная Церковь.

Говорю теперь зная, имея опыт. И веруя в ее подлинность, истинность невидимой Церкви.

Но не веруя, что она есть последняя, окончательная, все уже в себя включившая Церковь.

Ибо ведь недаром она, видимая, из людей состоящая, такова. Отстранив всех, лишь по внешности в ней находящихся, — получила одного отца Иоанна и к нему приближающихся.

Все ли человеческое разумение, все ли ответы на нашу боль и муки, всего ли Христа уже включает в себя святость отца Иоанна?

Увы, увы! Как отсечь нам наше разумение любви, нашу жажду святости разуменной молитвы — о жизни, о мысли, о всем человеке, во всем его теперешнем существе.

«Буду молиться сердцем — буду молиться и умом...» — сказал апостол. А отец Иоанн, вся Церковь — не учат нас молиться и умом.

Но возвращаюсь. Мы видались изредка с Философовым. Когда мы уезжали — за Волгу — он даже провожал нас. Когда вернулись (в июле), он пришел первый.

Мы говорили о внешнем. В последний день я неожиданно встретила его с Дмитрием Сергеевичем на Караванной. Мы проводили его до библиотеки. И тогда вдруг заговорили и рассказали ему о нашей молитве вдвоем, в четверг. Он молчал. Потом сказал: «Вы все-таки не покидайте меня».

Летом стал осуществляться журнал. Странно, какое безумие! Точно не мы сами делали. Без денег, безо всего...

Осенью опять мы иногда видались с Философовым. Он бывал у нас, говорили о журнале, внешнем, — а когда о внутреннем, он молчал.

Какое у него страшное, мертвенное, покойницкое, молчание.

Осенью, в одну тяжелую минуту, я написала ему: «Вернитесь к нам!»

Какие сухие слова в ответ! Потом пришел. Я была одна. Мы кое-как говорили. Уходя, сказал: «...но если бы я вернулся — то уже навсегда».

Еще был разговор с Юрьевским священником, Егоровым. Этот священник сам предлагал новую Церковь, Иоанновскую.

Но Дмитрий Сергеевич и не верил ему, и Карташов (профессор Духовной Академии, странный, юный культурностью, полуживой человек, полупонимающий, задерганный воспитанием, тянущийся к культуре, ее не постигающий и — до конца не верующий) был против него.

Говорили мы пятеро. Философову тоже не понравился священник.

Уходя, Философов сказал мне в дверях: «А вы верите в Карташова?» Я сказала: «Не знаю; ведь он...» Философов сказал: «Да, может быть, он все это принимает только из полубессознательного желания быть во всем с вами. Ведь он влюблен». Я: «Он очень чистый человек». Философов: «Да, знаю. Но тут все смешано в сознании. Вот и я многое... потому что дорожу дружбой вас обоих. А насколько у него сильнее, если он влюблен. Я — и то все боюсь, что вы меня бросите...»

Я сказала, что это надо выяснить.

Пошли журнальные дела. Собрания очень выродились, да ведь для нас они больше не нужны. И журнал — последний толчок, по инерции, все от того же Бывшего.

Со всеми друзьями Философова, благодаря журналу и их отношению к нему (не хотели соединиться, обиде-

лись), — мы разошлись. Они отошли. И там пошли нелады. С Дягилевым многие поссорились. Философов приник к Дягилеву. И был с нами все мертвее. Все страшнее. В молчании.

Последний раз я видела его в самом начале марта, на большом вечере «Нового пути». Он сидел в другой комнате. Дмитрий Сергеевич был болен. И ни разу с тех пор не зашел к нам, и не написал, и не приходил туда, где мы. И все это глухо, страшно.

Двадцать шестого марта Дмитрий Сергеевич был в редакции «Мира искусства». Говорил с Дягилевым, а Философов почти не говорил с ним.

А сегодня вечером, 29 марта, он уехал с Дягилевым на два месяца в Италию. Видел его еще Минский, и с ним, когда он говорил о нас, о Собрании, Философов был груб.

Двадцать шестого я получила письмо от Карташова, где он говорит, что не может более причащаться в Церкви, и умоляет меня и Дмитрия Сергеевича совершить с ним в Великий Четверг вечерю любви, не Евхаристию, а лишь помолиться вместе, т. е. то, что мы делали вдвоем прошлый год.

Карташов ни о чем Бывшем не знает.

Мы послали это письмо Философову с приписками, что он убил нашего действенного Бога, сделал нас слабыми и жалкими. Что он в последнее время преступил даже человеческие пределы с нами, но связь не порвана, тщетно. Просила письмо вернуть.

Сегодня получила его назад.

Некоторые слова моей приписки подчеркнуты, синим, и вся моя отчеркнута с замечанием «Декадентство!». Приписка Дмитрия Сергеевича оставлена без внимания.

До этого, до такой грубой ненависти у него еще не доходило. В отношениях последнего времени — мы еще никогда не были.

Вот что осталось от Бывшего. Вот куда привело. Боже мой, дай нам сознание греха!

Неужели так и останемся мы во тьме? О, я виновата! Философов слаб, а когда Дмитрий Сергеевич сказал: «Я буду с вами, как со слабым, буду вам приказывать, это мой крест...», я воспротивилась... Я хотела опять равного... Вижу, виновата... Господи, прости меня! Дай мне опять света... Так тяжело.

Пишу в Великий Четверг того же года, третьего апреля.

1903

Я что-то глубокое поняла. Поняла правду и милость Божью. И почему Философов должен был уйти. Так — хорошо.

Господи, призри на любовь мою! Дай света, чтобы видеть волю Твою! Склоняю голову. Отдаюсь Твоей любви. Аминь.

1903

Страстная суббота, 5 апреля, того же года.

Сегодня светская (синодальная) власть запретила Религиозно-Философские собрания, вопреки доброй воле митрополита Антония. Повод — донос Меньшикова и мелкая пресса.

1906-го года пишу, 10-го февраля, почти через 5 лет после 29 марта 1901 года.

И через 3 года после последней записи.

Три года эти для Главного — были для нас самыми важными.

Господи, Твоя воля и сила, а во мне — любовь, вера, свет и радость. Чудесно все Твое.

Хочется подробно писать, но нельзя. Да и не упомнишь всего. Главное, страшное, светлое и великое.

Мама моя скончалась 10 октября, в пятницу, 1903 года.

У нее с осени, еще на даче, сердце болело, и все хуже было, и все видели, только мы, четыре сестры, ничего не видели. Точно глаза были удержаны.

Утром за мной прибежали, я пошла, а она лежит мертвая, на полу. Рука еще теплая, без пульса. Сразу, во сне.

Потом пришел доктор и сказал, что кончено.

Я лежала в комнатке под пледом и не плакала, а все спрашивала, где же любовь, ее любовь, если кончено. Ведь была, — и кончилась? Как же это может быть? Ведь моя не кончилась?

За сестрами Татой и Натой, я послала. Записку. Они пришли. Окаменели сразу.

А я вот что забыла написать раньше, важное: в 1901 году 29 марта, т. е. после 29 марта, на другой день, Тата и Ната днем пришли, а я им почему-то в столовой попробовать из рюмочки оставшегося в бутылке красного вина дала, того. Тата сказала: «Какое, точно причастие». А я налила еще в рюмочку, к ней ландыш привязала и сказала: «Отнеси мамочке, пусть выпьет. Так и несите осторожно в рюмке», и отнесли, и она выпила.

Так вот и умерла наша мамочка. И тут все, что затаилось в нас, вдруг наружу вышло. Дмитрию надо было нас поддержать, и он свое со всей силой отдал. Умел раскрыть правду. Помог мне. И нам, сестрам.

Тут ясна стала и Тата. И Ната. И даже Ася тогда, на то время вышла, только потом закрылась опять.

А Философов с первого дня, тотчас же, пришел к нам и так сразу подошел, и почти все время около был, я все время его видела — оглянусь, тут, рядом, близкий, понимающий до дна, вместе страдающий.

Но у гроба в первый день вечером мы одни молились, и Апокалипсис ей читали. «Отрет всякую слезу...»

На похоронах, когда могилу засыпали, мы вдруг все поцеловались, светло, друг другу «Христос Воскрес!» сказали.

И опять Философов тут близко где-то, помню.

Потом у нас все переменилось вскоре, Ася уехала, Тата и Ната стали жить у нас, спали в столовой, а для вещей и работы рядом наняли крошечную, в две комнатки, квартирку, куда днем часто и уходили.

А вечером мы все молились вместе, «Отче наш» читали, «Дух Святой», «Матерь Божия», и еще сложилась сама молитва, чтоб мамочка за нас молилась.

А Философов все приходил, часто, и все ближе был. Мы с Татой и Натой понемногу говорили...

Началась тут еще мука с «Новым путем». Перцов отказывался; и продолжать можно было только, если Дмитрий Сергеевич роман Петра отдаст и будет новый редактор.

И уж видно было, что Философов любит нас и любил, любит наше и любил, и даже не как наше оно все, а как его же собственное, и это всегда было.

«Новый путь» — мое детище дорогое было, ему я много сил отдала. Оно, маленькое дело, родилось ведь из большого же, единого, Главного.

И Философов согласился быть редактором, Дмитрий Сергеевич отдал роман. И этим реальным делом выявилось наше единение, наша некоторая связь жизни.

Философов с Татой и Натой тоже сблизился. И несколько раз был, когда мы все вместе молились.

Я с Татой говорила все больше. И выяснилось, что она не только понимает, а у нее все точно и было, только не определенно так.

И у Наты, по-своему, по-особому.

Дмитрий Сергеевич на масленице был болен. Я много тут пережила.

На Иматру ездили вчетвером. Философов оставался, но я его уже начала тогда особенно, по-новому, ощущать, знать о нем. Знать, когда ему хорошо, когда плохо. И чувствовала, что и у него что-то свое, но тяжкое, свое — но и наше.

Все время непрерывная началась внутренняя нужда в нем для всех нас. И вот Страстная неделя уже близка стала.

Пишу в Париже, 9–23 февраля 1908 года, почти через семь лет после Бывшего.

Пишу ночью. Так случилось.

Вот уже скоро два года, как мы уехали из Петербурга за границу, мы трое, я, Дмитрий и Дима Философов. Два года мы живем вместе, втроем.

Так много было с тех пор, как кончилась запись, что я не могу писать подробно, не упомню, да и невозможно.

Вот как было вкратце.

После смерти мамы моей стала явной близость наша с Димой. Наша любовь. Тата тоже подошла к нам в Главном, и Ната, хотя меньше.

Наши первые четверги были вместе, в маленькой квартирке. Тихие «вечери любви», молитвы и белое вино, виноград, хлеб.

Весной мы уезжали с Дмитрием за границу. Приехали в августе, жили в Гатчине. И Дима приехал из деревни к нам недели на три. 1904 г.

И Тата, и Ната приехали. Тут и Карташев стал подходить. Но только он тогда влюблен в меня был.

Зимой я больна была. Потом 9 января случилось. Перевернуло нас. 1905 г.

Но собирались все время, молились.

В феврале ездили втроем с Димой на Иматру. Хорошо было.

Тут Бердяев стал подходить — издали пока.

С Димой все сближались, — ссорясь, т. е. борясь в чем-то. Он захотел быть на «ты» со мной и с Дмитрием.

Весной втроем поехали в Крым. Светло и благостно.

Были облака и там, но хорошо.

Оттуда Дима уехал в Спб., а мы с Дмитрием в Константинополь и на Принцевы острова.

Помню, там о Цусиме узнали. Тяжело было.

Вернулись. Дима нам дачу нанял. Тата и Ната уехали на Кавказ в то время. Дача на карташевской платформе, около Сиверской, — Кобрино.

Дима жил с нами. Дача милая, хорошая. Уже в Крыму мы решили, что то, что думали сделать «когда-нибудь», — надо сделать сейчас, скорее: уехать втроем на время за границу, в Париж, для внутреннего приготовления к Делу.

К 15 июля Дима уехал на некоторое время к себе в деревню.

Перед самым его отъездом между мной и Димой вышло *личное* (отчасти *личное*) недоразумение. Тяжелое. Но не роковое, об этом уж не могло быть речи. Расстаться мы уже не могли.

Дима кое в чем мне не доверял. И прав был. Разве я-то сама могла себе доверять?

Ну, не в том дело. А тут вот что важно: я все думала об одной мысли, которую стала подкожно понимать: что все в том, что 1, 2 и 3. Все в этом и везде.

Так же и: *Личность*, Пол и Общественность.

На этом я все вертелась, и только это в меня проникало.

С Бердяевым на этом сближались, разговаривали.

Дима вернулся в Кобрино. А после вскорости мы переехали в Петербург. Он матери уже сказал, что уезжает.

Этим летом и весной, думая об 1, 2, 3, я поняла впервые (и более конкретно) роль общественности. 1905 г.

Тут Дима мне помог. Я была бессильна против идеи самодержавия, как все-таки более религиозной, чем

другая общественная. Я не могла найти против нее метаморфических аргументов.

Но стала чувствовать, что должна найти, ибо она — неправда.

Дима отрицал ее — не обосновывая. Пользуясь его чувством — я пошла дальше. И вместе мы поняли, что сама идея личности и теократии в нашем понимании — ее отрицают.

Дмитрий еще не понимал. Помню споры в сумерках, в березовой аллее.

Потом вечером раз — вдруг понял окончательно и бесповоротно. 21 июля. Я записала на шоколадной коробке: «Да самодержавие — от Антихриста!»

В Диме я все-таки отрицала его «отдавание», стихийное, стихии революции.

Когда вернулись — пережили октябрьскую забастовку, манифест, московское восстание. Много было страшного, тяжкого и важного.

Уезжать, казалось, нельзя. Мы ждали. За это время часто собирались на четверги.

Бывали с нами Тата, Ната, бывал и Карташов, и еще Серафима Павловна.

Но она напрасно. Она — для меня, как потом оказалось, стала «обожать» меня. Она хорошая, прямая, измученная жизнью... И какая-то в ней психопатия.

Бердяев в мыслях очень сходился, слушал. А только не «верил». 1905.

Качался, как маятник, между «идеалом мадонны и идеалом содомским».

В самом начале января (06) ездили дней на 10 втроем на Иматру. Там хорошо было — ледяное солнце, снега. Дима на день раньше уехал, по делу. 1905–1906 — много разговоров с Бердяевым.

Потом много было чего — и не упомнишь. Стали твердо готовиться уезжать.

Дима уехал с матерью (она ехала в Швейцарию, к дочерям), а мы еще остались недели на полторы.

Накануне Диминого отъезда был у нас Четверг.

После уж не было, так молились. И Кузнецов Натин бывал.

Провожали на вокзал Тата, Ната, Боря Бугаев (он нам тоже был близок, у нас и жил, приезжая из Москвы, и на четвергах бывал. Мы любили его, и он удивительный, только легкий), Карташев, Серафима Павловна, Кузнецов, и потом Бердяев приехал — один.

Тата, Ната, Карташев и Кузнецов переселились в нашу квартиру, т. е. последние к нам. Мне так было легче.

Они были — точно «стадо» оставшихся, на перроне. А мы уехали. Надо было.

Пишу в седьмую годовщину Бывшего, 29 марта 1908 г. в Париже.

Кратко попытаюсь о дальнейшем, потому что иначе не успею, пожалуй. Мы должны уезжать из Парижа.

Приежали мы сюда с Дмитрием 1 марта 1906 г. Дима встретил нас, ждал, приготовил помещение около Etoile.

Прожили неделю. Наняли квартиру, большую, хорошую, новую, 15 bis, rue Théophile Gautier, в Auteuil.

Потом уехали в Канн. Т. е. сначала в St. Raphaël, где ночью на горе встречали Пасху, солнце из моря (Estérel), а после еще переехали в Канн.

Наши личные с Димой (двойные) отношения тут очень ломались, и если б Дмитрий нам не помогал и тройственность наша, и любовь, то было бы очень тяжело.

Но все благо, все было хорошо.

Мы вернулись в Париж в мае. Жили до конца июля. Сживались — подчас с трудом, с мукой, — но хорошо все.

В день разгона первой Думы — мы уехали в Бретань.

И там многое переживалось.

Осень мы провели в Компьенских лесах, на вилле в Pierrefond. Там писали статьи для французского сборника нашего. Четверги были все время. Один раз был в лесу. Свечи на солнце. Дмитрий смутился. Нам еще хочется лампадного света. Осень 1906 г.

Приехали домой. Жизнь шла все ровно и тихо, с усилиями и падениями.

Приехал Боря Бугаев, поселился недалеко. Несчастный, тоскующий (личная любовь), но близкий нам. Иногда молился с нами. Я его люблю с нежностью. 1906–1907 гг.

Отношения с людьми неровно слагались. Я тянула к русским революционерам (чуялась нужда в их общественности, что-то чуялось в людях тут) — с французами — трудно. Узнавали их — но они чуждые.

Боря после Рождества был болен, потом уехал.

Дмитрий читал первую лекцию, — мою статью о «насилии». 1907 г.

Потом Дима свою — о Горьком.

После Дмитрия — мою «Что такое самодержавие», о которой сначала мы много спорили. 1907 г.

У нас уже были и друзья, — но внешние.

Пасху мы встретили дома, хорошо очень. Отдельная служба.

В Петербурге не очень ладилось. Тата одна родная.

В июле уехали в Германию. В горы, потом в Баден, потом в Гамбург. 1907 г.

И вот вторая зима парижская наступила. На митинге, куда поехали случайно почти, мы встретили милого Фондаминского. 1907–1908 гг.

Сошлись с ним, с его друзьями.

Осенью 1907 г. Дмитрий пережил любовь (голубая). Нежно полюбил Марусю, милую юную русскую барышню.

И она им «увлеклась». Мать — ужасная баба. Увезла ее. А весной привезла невестой чьей-то. Дмитрий не захотел ее видеть.

У меня с Димой выработались удивительные отношения. Последнее время мы только все раздражены. А то все мы очень изменились и сраслись.

Последнее время нас мучил Бердяев... в Париже.

1908

Пишу в Великий Четверг 10 апреля. Как бы седьмая годовщина...

Я не много могу написать. Это трудные и страшные дни для нас. Всю прошлую зиму и лето мы работали над литургией. И древние все изучили.

В эту зиму составили из них... не свою, но общую. Собственных молитв даже и нет, одна только из Четверга, — «от всех».

И вот теперь наступают последние дни. Все готово, все переписано, нужное (скромное) куплено, покровы сшиты.

Готовы ли мы?

Два вопроса есть: первый — о Церкви, второй — о нас.

О Церкви для меня второй, ибо мы внутренно не отходим от Нее, и наша литургия — вся церковна, кроме священства. У нас трое — равны. И я Церковь больше полюблю, имея Таинство, — я знаю.

Но мы... Это для меня страшнее. Мы эти два года были нерадивы, так часто, по отношению к Главному. Не дали наших сил. Я хуже всех. Лжива, тупа и слаба. Я знаю! Знаю! И самый ужас мой — ужасен, ибо он страх не вечной гибели, а божеских несчастий.

Но я не для того пишу, чтобы себя обличать. А чтобы помнить, помнить эти дни! Дмитрий и Дима глубже меня их чувствуют.

Мы отложили возможность до Страстной субботы вечером. Чтобы соединить с Пасхальной службой.

Всю Страстную мы молимся. Отдалились от людей. И в этом мука, потому что нелюбовь. Бердяев в Вербное воскресенье в первый раз молился с нами. А теперь и его не видим.

Господи! Надо ли отказаться? Это сейчас легче. Но как без помощи вернуться в Россию? И что ж, что мы недостойны? Праведников ли Он пришел призвать к покаянью?

Но тут чувство: к покаянью, да. А мы что хотим сделать? Позвать Христа сами на нашу вечерю.

Я боюсь и «знаков». Я боюсь и мыслей. Я хочу, чтоб все мы сделали по воле не нашей. Отдаться в Его волю.

Не могу писать больше. Не знаем, что будет. И ужаса моего боюсь. Любви, должно быть, мало.

Завтра вечером, в пятницу, пойдем в церковь. Господи, отпусти, прости нам все.

Пишу 14 марта 1911 года, через десять лет после начала, почти в годовщину десятую.

В Париже, 11 bis Avenue Mercédès, в нашей маленькой новой квартире.

Эта тетрадь лежала здесь, в Париже, с апреля 1908 года. Почти три года я ее не видала.

Вот что было за три года. Со дня последней записи, в великий четверг.

В субботу вечером была у нас литургия. По составленной из многих старых.

Все трое — разнослужащие, равнодействующие.

Одни — все относящееся к хлебу, другой — к вину, третий — к соединению их.

Так было составлено и переписано в наших книжечках.

Причащение так: каждый причащается сначала сам, под двумя видами, хлеб — вино, затем причащает рядом

стоящего, из чаши, с ложечки, в соединении. Частицы разрезаны так. Идет в круг.

Я была третьим, соединяющим. Причащала Диму, а Дмитрий — меня. А Дима — Дмитрия.

После этого мы служили пасхальную службу.

Так было. Боюсь говорить, — не знаю, — что было и как в душе окончательно отозвалось.

Помню одно: что было очень страшно. И еще: ничего, что страшно. Сомнения главные: не утарапливаем ли, не подчиняем ли это — нужде и желанию ехать в Россию?

Убеждение: что все равно недостойны будем всегда. И что сделан опять один крошечный шаг вперед. Только одна искра. Надо дальше...

Однако почему-то мы после об этом друг с другом совсем не говорили. Было тяжело, непонятно, — но невозможно говорить.

Поехали через две недели в St. Jean, около Биарица. Жили там. Потом поехали в Гамбург. Я там была больна. (Нарыв в горле.) 1908.

И июля 1908 г. мы приехали в Петербург, после почти трехлетнего отсутствия.

Ранее скажу еще вот что, важное, о Париже.

Мы там поняли душу старой русской революции и полюбили ее. Понялась ее правда и неправда. Я внутренно почувствовала темную связь ее со Христом. Возможность просветления и тогда — силы.

Среди всех — ближе стали к нам Савинков, член боевой организации, человек с тяжелой биографией. С кровью многих на душе, и Фондаминский — Илюша.

Оба они чудом спаслись от петли.

Оба — наиболее видные члены с.-р. Оба — такие разные.

Борис Савинков — необыкновенно даровитый во всех отношениях человек. Поразительно умный и до испуга чуткий. Русский.

Илья Фондаминский — еврей, абсолютно не похожий на еврея. Нежный, кроткий, христианнейший — весь любовь. Смутно верующий и веры своей боящийся.

Мы много с ним были, много разговаривали. И близко. В то время революцию прихлопнули. Происходила везде переборка, пересмотр старого.

И на новые возможности открывались души.

Мы тогда оставили их на перекрестке. Я не знаю, что мы могли еще сделать. Но было чувство, что оставили их на полдороге.

Железный занавес упал между нами, когда мы вернулись в Россию. Я увозила с собой только роман Савинкова «Конь бледный», написанный, конечно, от совместных наших разговоров.

Еще: в конце парижского житья — разрыв с Бердяевым. То, что мы поняли, — он перестал понимать. Отсюда его упреки в «самоволии», его, еще тогда не явный, наклон к Церкви, в 1908 г. Бердяев перешел в православие.

Обо всем — мы ему не говорили, но все-таки — он молился с нами, я помню его еще не верующего, я так много сил и мыслей отдала ему, любила его всегда. Был тяжел разрыв.

Ну, так вот мы приехали в Петербург.

Тата, Ната и Карташев.

Тата в Париж писала нам самые длинные письма, поддерживая близость — их с нами.

Тата цельная, изумительная, верная. Не отступала, хранила, несла. Боролась за нас с Карташевым и с нами — за него. Сцепляла свою тройку.

На даче стали мы жить, в сырой Суйде, в двух домах. 1908 г.

Как ни близка Тата, — но ведь она не одна. И мы им не сказали тогда, что у нас была литургия.

Да и как сказать? Мы и друг с другом молчали.

Но мы с открытым сердцем пошли им навстречу. Вся Суйда для меня — холодный закрытый балкон и резкие, неожиданно резкие и далекие выкрики Карташева при молчащей Тате.

Он все о Церкви и — против нас. Главное — мы этого не ждали. Смутились очень. У меня затаилось недоброе чувство против Карташева. Какой же он спутник? Что же это?

Все наши переживания, все важное о революции — все им чуждо. А как расскажешь?

Их унылые молитвы, отошедшие от наших, тоже были нам чужды.

Осенью, в Петербурге, мы поселились на нашей старой квартире, а они втроем взяли маленькую в Саперном переулке, в доме, где был когда-то «Новый путь».

Жизнь пошла у нас странно, суетливо, «литературно». Темно. Давило кругом в общественности. Многое разрушалось. Мы присматривались. Не понимали еще.

Тут недолговечное наше редактированье «Русской мысли». Поездка в Москву. (Булгаков и прочие — расхожденье.)

Религиозно-Философское Общество, без нас, давно, затеянное Бердяевым и брошенное им. Едва прозябало. (Было затеяно по примеру моих старых Религиозно-Философских собраний.)

Мы его взяли на себя. Сильно подняли и оживили. Неонародничество и споры с марксистами. «Богоискатели и богостроители».

Но все же прежние Религиозно-Философские собрания были не то. Там была Церковь. Здесь — интеллигентские споры.

Среди зимы — история Азефа. В вечер раскрытия была у меня Верочка Глебова, бывшая жена Савинкова. Отлично его знала. Мы — не видели Азефа в Париже — случайно.

Религиозная жизнь наша была довольно слаба. С Карташевым мало соединения. Тата — верная.

Пасху, однако, после долгих совещаний, мы встретили вместе, вшестером, нашей пасхальной заутреней.

К весне 1909 мы как-то окончательно отупели и развалились. Решили поехать на лето в Германию и Швейцарию. К тому же всю зиму преследовали нас инфлуэнцы, после одной из которых у Дмитрия были сердечные перебои. 1909.

Поехали в Фрейбург. Холод. Оттуда в Лугано. Я изредка переписывалась с Савинковым, — насчет «Бледного Коня» (он был напечатан в «Русской мысли», когда мы редакторствовали, я его цензурила и заглавие выдумала). Потом издал в «Шиповнике». Общее негодование вызвал.

В Лугано Савинков написал, в июле, вызывая нас в Париж. Будто бы очень нужно видеться.

После долгих споров — поехали. Там — Савинков и Фондаминский. Оказалось, что после Азефа они сочли своим долгом возродить боевую организацию. Оправдать бывшее. Старую революцию, смешанную ныне с провокаторской грязью.

Неделю говорили каждый день (1909). Савинков говорил только: «Я чувствую — так хорошо. Так — надо». Очень было страшно и мучительно. Не чаяли больше встретиться.

Уехали растревоженные. Ссорились. Жили в Гамбурге (1909) опять. Там — приезжала к нам на два дня Амалия Фондаминская, прелестная, милая, маленькая женщина, тихая, которую все мы любим. Она — вне «партии», но нелегальная.

Вернулись, не отдохнув. Вторая зима. В России — крепкий сон, мороз реакции и торжество виселиц (1909–1910).

Мариэтта — умная, религиозная и... легкомысленная девушка, привязанная ко мне. Все понимающая. Свидания с епископом Михаилом. Начало «голгофцев». Устройство, помимо «христианской», Вячеслав-Ивановской, секции — еще другой, нашей, с Мейером во главе, в Народном Университете.

Бесплодные приемы мужиков.

Дмитрий все время как-то болен. Жалуется на сердце. Перед Рождеством я позвала Чигаева (1909–1910).

И Чигаев вдруг сказал, что у Дмитрия органические в сердце изменения, начинающийся склероз.

Сказал так неосторожно, что совершенно подкосил Дмитрия и пришиб меня.

С этих пор в доме у нас все изменилось. И в каждом из нас.

Дмитрий был поглощен мыслью о своей болезни, я ею тоже. Малодушно я несчастна. Дима сбился с пути, со всего. Я ждала от него помощи, а у него, благодаря нашему с Дмитрием отношению к его болезни, — нарастал какой-то хаос в душе. Я думала только о Дмитрии — больше ни о чем.

Мы стали чаще молиться, и втроем, и вшестером. И все-таки была невыразимая тяжесть, последняя.

В конце февраля (1910) Чигаев нашел, что у меня что-то неладно в легких, и мы решили ехать на Ривьеру.

Но что же? Что же? А наше дело? Где же оно? Почувствовалось тем более, что нельзя забывать о нем, медлить, нельзя так встречать и эту Пасху. («Как ты заторопилась», — сказал Дмитрий. Однако — не успела!!! 1913.)

Мы сказали Тате о бывшем в Париже. Карташов от нас держался вдали, часто шум к Церкви. Но Тата верная и наша. Она связана с Карташовым, и любит его, и, главное, верит ему.

Мы просили Тату приехать к нам на Ривьеру и там вместе с нами причаститься. Сказали ей все.

За час до отъезда были все у нас и вышло объяснение. Карташов говорил, что если Тата поедет, то этим она окончательно разорвет их тройственность и отдалит его от нас. Предлагал так: что они совершат здесь то же, что мы — там.

Осталось нерешенным.

После некоторых мытарств наняли виллу в Булурисе, около St. Raphaё'я, villa Paulette, у самого моря (1910).

Оба мы (1910) больные, я — мучащаяся за Дмитрия, Дима — за меня (за мою физику) и уже с начинающимся эмпирическим озлоблением против Дмитрия.

Жили тихо. Огорчались Татой. Писали. Не знали, как быть.

И вдруг телеграмма: приедем все трое.

Это было неожиданно и так хорошо, такая радость большая, и надежда.

Они приехали. В весенних (1910) цветах встретили Пасху.

Служили литургию по нашей. Так как она вся — тройная, то было двое 1-х, двое 2-х и 2-е — 3-х. Я была с Натой милой, тихой, глубокой — третьими.

Все мы тут соединились. Оставалось жизнью связь оправдывать.

Они уехали к Фоминой, а мы еще остались. Потом поехали в Париж, уже в конце мая (1910).

В Париже были у моего доктора. Мне — он не велел зиму жить в Сп-бурге, Дмитрию назначил, посоветовал, лечение одно и послал еще к сердечному специалисту, Vaquez'у. Тот написал, что склероза не находит, сердечное лечение всякое отменил, специфическое.

Нервное состояние Дмитрия было ужасное. С трудами переехали на 2 недели в St. Germain. Ему нигде не нравилось (1910).

Только что переехали — внезапно явился на автомобиле Савинков. Мы потряслись. Оказывается, уже 3 раза был в России и — возвращался цел! Чудо!

Настроение ужасное. Даже в той маленькой организации, тесной, — оказался провокатор. Вполне не был доказан еще, но намечался.

Приезжали Илья Фондаминский с Амалией тоже. Потом Амалия заболела. Мы с Димой поехали к ней, в Neuilly у ее постели опять встретились с Савинковым.

Мне казалось; надо теперь это сознательно оставить. Устремиться на медленную работу искания людей. *Люди* должны быть.

Много спорили.

Потом еще раз приехал Савинков в Saint-Gennain. Ночевал в нашем пансионе. Уехал от нас... куда?

Вот мы опять в Петербурге — перед дачей, которую наняла Тата. Большой дом, в Новгородской губернии — Сменцево. (1910)

Помню это время как во сне. Мало молились. И с Карташовым уже не встретились, он уехал к себе.

В Сменцеве помню какое-то уныние. Приехала Оля Флоренская с Сережей — мужем-братом, Троицким. Дима в это время уехал к себе в Богдановское.

Дмитрий —

Пишу в Париже, 19 марта 1912 в Страстной понедельник. Пишу, может быть, в последний раз. Очень тяжело.

Тяжело и страшно.

Обо всем бывшем напишу.

Кончила я летом в Сменцеве.

Осень (и зима) (1910–1911) была тревожная. Епископ Михаил, Мариэтта... Между нами — нехорошо как-то.

Собирались уезжать на юг. Вдруг телеграмма от Оли Флоренской: «Сережа убит».

Его нежданно и неповинно зарезал ученик в гимназии.

Тяжело и страшно было. Она звала помочь, помолиться с ней. Я не поехала. Ведь могла же — не поехала. Она любит меня, нас. А мы недостаточно. Она верит сильнее и пламеннее.

И вот мы (осенью 1911) в Париже, в Hôtel Jéna. У меня ларингит. Прожили неделю. Виделись с Илюшей, Амалией. Савинков Борис, говорят, на Ривьере.

Поехали в St. Raphaël — были там 1 декабря. После мук искания остановились в Адау. (Зима 1911–1912.) Жили там нехорошо. (Погода все время солнечная.)

Дима тяготился жизнью нашей — отельной, внутренно пустой, ничем мы были не связаны. Странно уже менялись наши отношения... Стал говорить, что хочет съездить в Россию, один...

Как я противилась!

В Адау (1912 зимой) к нам приезжал Борис. И кое-кто из товарищей его. Наняли они виллу (очень холодную) в Теуле, близ Канн. А мы скоро переехали в Канн, в тот же (первый наш) отель Estérel, даже в тех же комнатах. (Но уже в 1912.)

Надо вот что сказать раньше: с осени уже, в Спб. еще, мне стало думаться, что надо как-то закрепить наше, составить и написать хоть главные положения нашей profession de foi[22], что ли, не знаю, как назвать. И чтоб было там и наше отношение к общественности. К данному моменту тоже, к действию, к самодержавию, к революции и т. д.

Тата отнеслась положительно. Но представляла, скорее, как общую сводку идей.

Дима же — сразу отрицательно. Он провидел тут некую конкретизацию. А давно уже перестал верить: 1) в Дмитриеву способность к какой-либо реальности, глядя на него, как на ригориста, 2) вообще в нашу способность реализовать идеи.

Дима вообще уже тяготился жизнью нашей, ибо ни общего быта создать мы не сумели, ни общего дела.

---

[22] Символ веры (*фр.*).

Приобретенное понемногу утеривали. Дмитрий был житейски равнодушен, молча занят болезнью своей, а то поглощен совсем романом Александр I, который писал (1912, начал раньше).

И на почве «программы», как мы называли, у нас начались с Димой вечные споры — серьезные несогласия.

Совместная жизнь, особенно за границей, когда у Димы не было постоянных «малых» дел журнальных, не было близких — матери, родных, — становилась тягостна.

Ну вот. Так мы живем в Канн. Часто приезжает Борис. Он все еще «в деле», т. е. налаживает свое «дело» (царское), но все хуже и безнадежнее, людей мало, время вдет.

Разговариваем. Он сказал, что за эти два года дело так взяло его, целиком, что он сам никуда не двинулся, не мог ничего думать. Старое дело. Но сознательно старое, как таковое взятое.

С Димой внутренняя тяжесть. Его желание уехать.

В эту минуту получилась весть от сестры его Зины, что Ратькова запутали в какое-то серьезное дело (служебное), и спрашивала, когда Дима приедет.

Я, конечно, виновата. Но мне казалось, что этот отъезд Димы будет обрывом какой-то натянувшейся внутренней нити. Тяжело очень его отпустила.

Дело с Ратьковым кончилось ничем. Думаю искренно, что, если б Дима раньше не хотел уехать, я бы иначе его отпустила.

Вернулся через три недели. Совсем чужой. Так почувствовалось. Тут опять моя вина. Я ему за это время не писала. С числа (когда он сам просил) посылала телеграммы. Но не хорошие.

Все равно. Так вышло. Внутренняя нитка, та, — порвалась.

За время его отсутствия у нас гостила (в Диминой комнате, рядом жила) милая, нежная Амалия. Неделю. Вместе

бывали у Бориса, в Теуле. Там было мрачно. Товарищи мрачные. Приехала больная М. А. — невеста Сазонова, который только что принужден был отправиться на каторгу.

За Амалией (и к Борису) приехал Илюша. С первого слова объявил: «Боевая организация ликвидируется. Нельзя убивать два года».

Амалия и Илюша уехали. Потом и Дима приехал. С Борисом продолжали видеться. Он еще как-то не опомнился от ликвидации.

Но потом говорили много. За идею «программы» Борис уцепился. Говорил, что, в самом деле, толком ничего не знает, — да и как, собственно, это узнается? «Полное собрание Мережковского, что ли, читать?»

Тут еще, рядом: пылкая и безумная Мариэтта без нас связалась с «голгофцами» (епископ Михаил) — и принялась писать нам самые неосторожные письма о революции, рабочих, шпионах и т. д.

Дима все резче стоял против всего: против всякой «программы», против всяких тяготений к действиям, к выявлению, к близости с революцией и революционерами.

В печальном состоянии мы вернулись в Париж (1912). А надо было решать: уезжаем *ли* через неделю или берем pied-à-terre [23] квартирку и живем еще месяц, — чтобы вернуться только к Страстной.

В Jéna тяжкие дни, горькие ссоры. Дмитрий — точно отсутствовал: он соглашался со мной, но как бы вполглаза, не отдавая себе полного отчета. Занят был романом (Александр I).

Один момент я поняла, что напрасно, что судорожные мои усилия, глупые, может быть, — не приведут все равно

---

[23] Временное жилище (*фр.*).

ни к чему. Но потом опять показалось мне, что надо еще держать то, что можешь, пока можешь.

И мы наняли эту квартирку (1912). Новую, маленькую, неудобную для трех, неприятную Диме, который только и думал теперь о том, как бы «не мешать» Дмитрию, не сталкиваться с ним в быту.

Я взяла квартиру на себя — платила деньгами романа, который написала.

Мы остались в Париже. Мелочи, мелочи, Димина тоска и ожесточенная покорность. Борис остался на Ривьере. Были Амалия и Илюша.

Амалия милая, женская, любящая. Илюша — я уже писала о нем. Странно: такой христианнейший, и что-то мешает ему подойти ближе. Какая-то высшая честность: «Я не могу. Я людей люблю больше, чем Бога. Все, что вы говорите — верно. Но я не имею права...»

Борис — другой. Он тоже честный, но он прежде всего — умница. Конечно, от реальной веры он еще дальше Илюши. А может быть — ближе... Не знаю...

С Илюшей говорили часто, долго, иногда хорошо.

Перед отъездом — тревога. Тата с оказией написала, чтоб мы не возвращались, что нас могут арестовать за сношения со здешними, что какого-то Макарова уже арестовали за то, что он был у Бориса.

Поехали все-таки. Трусили на границе. Дмитрий больше всех выражал трусость (хотя он настоял ехать), а Дима наматывал на ус. Он следит за Дмитрием, ничего ему не прощает, все замечает, все преувеличения, и все складывает в сердце.

Обошлось (1912). На вокзале, с другими, встретила нас и Оля Флоренская, которая стала жить у нас.

Пасху мы встретили плохо. Между нами было нехорошо, это чувствовалось, а тут без нас у них (у Карташева)

произошел какой-то уклон к Церкви. И начало дружбы в Вячеславом Ивановым.

В субботу мы разделились. Карташев и Ната пошли к заутрене, мы, Оля и Тата — дома. Кончили свое и долго дожидались тех, кто был в церкви. Долго, смутно.

Пришли. Потом пришел и Мейер.

(Мейер — он к нам давно подходил. Отвлеченный, умный и какой-то «странник». Любви у нас к нему особенной — ни у кого. Хорош и с Татой, и с Карташевым. Особенно уважает Дмитрия. Чисто русский. Бывший социал-демократ, потом был и «мистический анархист». Подходил искренно и тяжело. Он женат, имеет семью, но все это вдали.)

Вот так встретили Пасху (12 г.).

После начались у нас частые разговоры. Присутствовал и Вячеслав Иванов. Выяснилось ложное соглашение с Карташевым.

Карташов, главное, против «революции». И нас он очень не любит. Подозревает всегда и враждебен. Бывало даже, он истерически бранился и убегал домой.

Говорили о «программе», Мейер очень стоял за. Но как-то все спуталось и замутнело.

Дима все время был против.

Оля тихая, молчаливая, верующая — по-нашему. Страдающая. Любит нас больше, чем мы достойны. А мы — опять и опять верно то же — нет любви.

Мейер весной еще ближе подошел. Молился с нами.

Уехали мы на дачу — в Подгорное. Дима остался в городе — «отдохнуть» от нас. Уехали мы с Дмитрием, потом приехали Тата и Ната. Вскоре и Ася, но через несколько дней отправилась в Швейцарию.

В это лето, я уж не помню как, но дольше всех жил Мейер. Он приехал раньше Димы. Карташев с сестрой был за границей. С Мейером они так и не съехались.

С Мейером мы пробовали писать эту несчастную «программу». Тата участвовала, Дмитрий приходил послушать, не увлекаясь, был и Дима, — протестующий. Написали кратко, кое-как, сами не зная, для кого и что это такое — исповедание веры, воззвание или «вообще». Все принципы смешались, каждый забыл, чего хотел.

Остановились на положениях отрицательных. Ну, это долго писать, все равно. Не эта программа — другая по ней — полнее, и такая же несовершенная и никому не нужная, — не пригодившаяся, будет лежать в этой тетради. (Ее нет, потому что весной 12 г. я отдала ее до свидания Б. Н. Моисеенко, а осенью он уехал в Россию освобождать Брешковскую, был арестован и ныне находится в Иркутской тюрьме. Бумаги его в Париже у Амалии, а Амалия в Ментоне.) (14 апреля 1913 г.)

Все-таки это было начало какого-то действия, или обязательство, уклон к нему; а Дима для «нас» отрицал всякое действие.

Да, у нас ничего не было: ни способностей, ни личной святости, ни мужества, ни нужных людей. Но мы должны хотеть, чтобы это все было. Дима же стремился поставить крест на нас и на хотении.

Или — Господи, Господи, — я не права, я одна что-то «хотела», одна, — значит, надрыв, упрямство, значит, нельзя, не то, не то...

Несчастие наших личных отношений разрасталось. Диме тяжка жизнь с нами, быт Дмитрия. Думали мы вдвоем, говорили. Что же — «развестись»? Так уж подошло, что не стало и страшно это страшное слово.

Осенью Дима опять уехал. В сентябре Дмитрий хотел ехать со мной в Малороссию (все для романа) — не поехали сначала из-за торжеств (1913), а потом из-за катастрофы убийства Столыпина шпионом.

В Петербурге жили все день за днем. Я не знала, чего хотеть: ехать в Париж?

К тем? Но как, когда так плохо у нас внутри, так ничего, ничего — и только холод и уныние?

Тут к нам стала Половцова подходить. Через Мейера. Очень с огоньком. Карташев у себя, от себя «собрания» предложил — говорить о Церкви. Было нудно.

Несчастная легкомысленная Мариэтта опять явилась из Москвы. С ней тоже много было тяжести.

Ничего я не могу толком написать. Так же у меня здесь туман выходит, как и на жизнь, и на Дело, и на душу наплыл у нас туман.

Протянули декабрь (1911 г.) в сборах в Париж. Дима очень не хотел ехать. «Я не выдержу, будет безобразие». Но как же мне было с этим помириться? Зачем же тогда Париж, и все они, милые, и это сохранение связи, и эти надежды, зачем?

Нет, или хранить — или кончить. Не надо обмана. Но серьезно, серьезно! Признать, что было — и ушло. Нету. Не вернется.

Страх обступил меня со всех сторон. Со всех! Я не хочу судить себя, я не могу, но я всем отдаю себя на суд и согласна с самым суровым осуждением. Но я все перестала понимать, я ничего не могу, я только боюсь.

Дима «покорился» — поехал. И пошло тяжелое безобразие. Вечное раздражение, тяжелое уныние, безделье и молчание. Из «своей» жизни он меня давно выкинул. Ничего не рассказывал мне, и в минуты непередаваемо тяжких разговоров было одно: «Я разлагаюсь. Я потерял желания — всякие. У меня маленькая личность — но я за нее отвечаю. Это какой-то последний позор».

Да, позор. И ведь я верю, я вижу, — при всем этом — он меня *любит*! Любит. И в правду, все ту же, верит. В Бога

верит. Как же это все случилось с нами? И что я, безумная, хотела «хранить» еще?

Среда Страстная, тогда же 12 г.

(Надо кончать. Завтра едем в Россию. В Великий Четверг, в 11 годовщину Бывшего. Встретим Пасху в берлинском вагоне.)

В Париж приехали 28-го (1911 г.) декабря, встретив Рождество в Спб., — с Мейером, ими тремя, Ксенией Половцовой и Мариэттой. Было как-то... не для себя — для них. А что им можно дать, не имея?

В Париже Бориса не было. Живет в Сан-Ремо — с больной М. А. и кое-кем из товарищей. Был здесь, ожидая нас, но уехал.

Илюша и Амалия.

Амалия по-прежнему мила, но этот Моисеенко, — при ней, — делает ее как-то хуже. Он — бывший товарищ Бориса, но с ним разошелся.

Вообще — в партии нелады, и, главное, какие-то мелкие, нудные. Плохо. И между Борисом и Илюшей какие-то' недоразумения, отчасти из-за нового романа Бориса. Мы его читали, прислал. Но нет большого шага вперед после Коня. Чувствовалось, что надо видеть Бориса.

С Илюшей мы говорили много. Приходил к нам, как Никодим. Со всем согласен, но что-то есть в нем удерживающее.

Читали ему программу. Говорил, что он этому может отдаться только вполне, до конца. А так — сейчас не может. И вместе с тем — мечтает о каком-то «уходе». Не ближе ли он к православию?

В смысле «революции» — у них какое-то «правенье». Хотят «культурной работы»...

Дима, который иногда молчал, иногда говорил (он против ведь программ), — однажды предложил хорошо:

издать здесь общий сборник по этим вопросам. Но партийный, т. е. под редакцией Фондаминского и Савинкова.

Казалось бы! Но и на это он, Фондаминский, не пошел. Боится ответственности... перед собой?

Впрочем, он обещал подумать обо всем. Это было уже когда уезжал в Давос. Заболела Амалия, легкими, — и они внезапно уехали в Давос.

Мы остались в Париже нелепо — одни.

Последние два раза мы читали с Илюшей Евангелие. Молиться он еще не мог. Но крестил нас сам.

Расстались грустно, но с тем, что еще непременно увидимся. Была речь о Пасхе. Илюша сказал, прощаясь: «Где бы вы ни были, я к вам приеду».

Дмитрий очень боялся ехать к Борису в San-Remo — да и действительно: они окружены сыщиками, письма все читаются. У нас в Спб. сыщик не отходил.

Хотели мы видеть его в Париже, на возвратном пути. Думали еще пожить здесь весной недели 3. А пока поехать в По.

Дни перед отъездом в По не хочется и поминать. Молила Диму: «Поезжай лучше теперь в Россию, к Пасхе, вернись в Париж».

Не поверил? «Поздно. И ты хочешь спасти Пасху? Это меня оскорбляет».

Уехали, в По — сплошной бред, с первого мгновенья. Отели, Дмитриево раздраженье, та его невыносимость, которая чужому в корне невыносима.

Сцепив зубы, Дима поехал в Cambo. Там нанял комнаты, хотя я была против. Но там Димитрий, хотя сам хотел, — сделался еще невыносимее. Решил ехать назад, в По.

Какая непрерывная, невероятная внутренняя мука. Дима сказал, что он хочет ехать в Россию. Хочет от Пасхи, хочет не с нами, хочет просто русской Пасхи в одиночестве.

Это уже было так серьезно, как никогда.

Тут сложно, сложно. И ответственность перед собою, и перед старухой матерью...

Он давно ждал ее смерти, хотя она была здорова. В неохоту уезжать и это вливалось. Всегда. Господи! Да я ли этого не понимала? Я ли?

Но годы не уезжать от нее — не значило ли это сидеть и ждать ее смерти? То же сказал Диме недавно и Ратьков.

Все равно. Вин столько на мне, что я не знаю, куда ниже склонить голову.

В Cambo я просила Диму: «Пойми, что это серьезно. Вот только пойми и делай серьезно, не как «тупой бунт раба» (его выражение). Надо расстаться, жить отдельно, — будем, но сознанием, достойно».

Приехали в По, в те же тяжкие, намученные комнаты Gassion'a. Весна кругом, радость, воскресенье, — а на душе тьма и мука.

О Дмитрии что скажу? Порою понимал и старался — порою опять уходил в себя.

Наш разрыв с Димой — дело не личное. Это — наш отказ от Дела. Распадение на личности. Идей — у нас никаких и нет. Наша идея — воля к воплощению идеи вечной, старой. Ниточка была, а рвется ниточка — для каждого из нас — более ничего. И говорить, вечно говорить о — нельзя, обман.

Да, но и так — больше нельзя. И так — ничего нет, ложь, безобразие.

Вот последнее, что я предложила Диме. Последнее для теперь, для Пасхи. Чтобы встретить и с Илюшей, вместе.

Поехать к нему, на Ривьеру (они хотели туда из Давоса).

Илюша нам отказал.

Написал, что не надо, что не может, что не хочет с нами видеться, обдумал все в одиночестве (я знала, что плохой это советчик) и ни к нам не приедет, и ничего не хочет.

Неумело написал и страшно. Амалия написала, что они едут во Флоренцию.

Больше мне было нечего предложить Диме. Опять сказала: «Уезжай». Ответ: «Поздно». Да, да, было «поздно»... и вышло поздно.

Не знаю, как, почти не помню, как, — мы собрались ехать все-таки на Ривьеру, в Канн хотя бы, чтобы с Борисом увидаться. Что говорить с ним, зачем — не знали. Но чувствовалось, что надо видеться.

В понедельник Дима уехал в Париж на два дня, чтобы там повидаться с Ратьковым. (Дима часто уезжал, любил — в Шартр, Лурд. Любил один.)

В четверг он вернулся в По. Взяли билеты на Тулузу — Марсель. Борис уже писал, что рад, ждет.

В пятницу днем ездили все вместе (как редко!) смотреть летающих. Дима был вначале очень мрачен.

Пообедав, мы прошли к себе (16 марта), а Дима, как всегда, остался пить кофе внизу.

Было пять минут десятого, когда он вошел, в смокинге, и протянул мне телеграмму: «Maman apopléxie, position grave»[24].

Вот и все. Все понятно.

Ехать он уже опоздал. Мог только в 6 часов утра, в Париж — и дальше.

Помню, что мы молились в этот вечер. Что Дима говорил: «Нет, я так не могу. Надо помолиться, одуматься», и потом: «Я всегда тебе говорил, что я вас возненавижу, если она без меня скончается. Но теперь этого нет, помни. Не знаю, что будет, но теперь нет».

Эту ночь мы с ним провели странно: в печали, во сне от печали.

---

[24] У мамы апоплексия, состояние тяжелое (*фр.*).

На рассвете голубом он уехал.

Я знала, что он ее не застанет.

Мы решили вместе, что поедем в По, в Париж, а в среду — к нему, в Россию. Поздно, поздно, но все поздно.

Дима из Парижа уехал с Ратьковым. Из Берлина я от него получила телеграмму: «Мама скончалась, не приходя в сознание. Очень мне трудно».

Он будет один в ту минуту, когда он — был со мной. Это незабвенно.

И вот мы в Париже. Уехать в среду нельзя — нет билетов. Нет и на субботу. Едем завтра с остановкой в Берлине. Пасху встретим в вагоне. И весь первый день в вагоне. Только 26-го утром в Спб.

Господи, Господи! Прости мне, прости нам. Что мне делать, проясни душу мою.

Кончаю, запираю книжку мою, здесь оставляю.

Господи, помоги нам. Помоги, научи, что мы можем?

1912

Апрель — май

Пишу скоро, очень скоро после последней записи. Опять в Париже! Мы, приехав в Спб. 26-го марта (как я и думала), уехали опять в Париж 4 апреля (в день затмения солнца). Пробыли, значит, в России всего десять дней. Напишу все кратко.

25-го марта, в день Благовещенья и в первый день Пасхи, мы были утром на русской границе, в Вержболове.

И там жандарм, по телеграмме из Спбурга, отнял у Дмитрия рукопись его романа *Александр I.* (К счастью — небрежно, не все, а какую-то часть.)

Дмитрий страшно взволновался. Думал — арест.

Приехали. Мороз. Дима на вокзале, среди сыщиков.

Пошли мучительные дни. Возня с этой рукописью, газетчики, Дмитрий ходил к директору департамента полиции. «Все это по закону». «А следят за вами — у вас знакомства».

А тут тяжелые разговоры с Димой. Он отчудился, я — излюбилась. Какие тяжкие вечера! Однажды Дима даже сказал, при Тате и Дмитрии: «...и я жалею, что вы с Дмитрием сюда приехали...»

На другой день внезапно объявили Дмитрию по телефону, что он привлекается к ответственности за «Павла I», он и Пирожков, и суд 16-го апреля. По 128-й статье («дерзостное неуважение» и т. д.) — minimum год крепости, оправданий не бывает.

Дмитрий думал, что уже 16-го суд и над ним, и первое его слово было уехать. Выяснилось, что 16-го суд только над Пирожковым, а Дмитриево дело выделено за «неразысканием».

Адвокаты, совещания, прокуроры, баронесса... ад.

Уехать все-таки было разумно, по многим причинам. Мы достали паспорт и уехали. <

Отсюда Дмитрий телеграфировал прокурору, что он не скрывается, явится к следователю по прибытии. Дело Пирожкова поэтому отложили. Расчет в том, чтобы затянуть производство до осени. А там еще затянуть как-нибудь.

Конечно, я уезжала, чтобы возвратиться. И конечно, я считаю, что Дмитрию нельзя и не надо садиться в крепость.

Мы могли бы уже давно вернуться, но намерены выехать лишь 16-го (29) мая.

Дело не в том. Дело опять в том, что эта история порвала, кажется, последние нити между нами и Димой.

Он отнесся крайне отрицательно к желанию Дмитрия уехать — «удрать от ответственности». Дима — лоялен

и неверен. Странно — и так. Он не отвечает за себя, перед собой *лично*, — и всегда готов «честно» отвечать перед всяким правительством. Его *лояльность* опять была оскорблена Дмитрием. И опять он, с презрением: «Не прав ли я был, куда же годны все эти риторики о революции, когда за слова свои не желают отвечать?»

Да, так было. Так осталось. И все ухудшается.

Последнее письмо Димы — предел.

Не могу писать о нем. Скажу кратко: подозрения ужасные, вернул Дмитрию те деньги, которые взял на дорогу из По, когда мать умирала. Упрекает меня — в чем? Господи.

Лучше кончу сейчас. Через три дня мы уезжаем. Я еду с мукой, тяжестью и отвращеньем. Димы прямо боюсь. Какое у него страшное, глупое и злое сердце.

И все ложь кругом. Задохнуться можно от лжи. Я перестала понимать. Если б пожить где-нибудь одной, далеко, — вот бы счастье.

А послезавтра — Троица. Не хочу и вспоминать ее. Все-таки хорошо, что хоть на Троицу мы не в Петербурге, не с Димой, не с Татой.

Вот до чего я дошла. Когда вернусь к этой тетради? Когда увижу ее? Да и что записывать?

Одно: нельзя сделать, чтобы не было бывшего. Этого никто не может сделать.

Тем хуже. Но я все-таки говорю: «Пусть было. Благословляю его. Люблю его. Живое оно для меня».

И люблю Диму, и всех, кто со мной был в одном.

Вот молиться только не могу. Давно уж не могу.

Мамочку вспоминаю. Она за меня молится, я так чувствую.

Поможет Господь.

Все тогда же, теперь же, несколько слов в последний здесь вечер.

Мы остались еще на неделю, — завтра 23 мая, — потому что я заболела.

Доктор нашел у меня 2 плеврита и процесс. Было похоже, но теперь я не верю, верно острая простуда — и прошла.

Дмитрий был вне себя — от отчаяния, что еще остается. Лечил меня всячески, мучил настроением, ужасно.

Дима же просто-напросто не поверил. Думал, что я нарочно, из «мстительности». Через долгое время писал — Дмитрию, очень, очень плохое письмо. Мучительно так все было. Но не про это я хотела.

За день до нашего отъезда, вчера, приехал Савинков. Со шпионами. И Дмитрий решил — его не видать. Нам завтра — граница.

Мне казалось, что этого — как-то нельзя. Но нельзя и насиловать чужую психологию. Дмитрий утомлен, измучен, ждет ареста.

Савинков должен был приехать вечером вчера. Днем я поехала к Амалии. (Я уже выезжаю.) И вдруг он пришел туда.

Был мучительный разговор. Какой мучительный. Я была взволнована до последних пределов. Не помню, чтобы когда-нибудь так.

Я Дмитрия защищала, но — чувствовала себя, нас, внутренне не правой в какой-то точке.

Все так, а все-таки нельзя почему-то было это сделать. Или нельзя говорить о многом.

Неужели Дима прав? Неужели мы «озирающиеся»?

Вот где было что-то вроде «спасанья животишек», по выражению Димы. А вместе с тем и Савинков во многом не прав, не на верном пути.

Не так бы я с ним говорила, если б не это чувство стыда и отчаяния — перед собой, не перед ним.

Амалия, любящая, нежная, стояла за Дмитрия. Но ведь все равно, остается все это. Остается, что после всяких слов, когда то и се — оказалось, что выгоднее бежать от человека — «помощника».

Я никого не осуждаю, слишком люблю Дмитрия, но Боже мой, Боже мой, как же быть нам?

В каких-то тисках внутренних моя душа.

Диме я верила, т. е. в него, как-то вопреки всему. И дым надежд моих разлетелся.

Здешних люблю сильно, глубоко. Амалию больную и Илюшу. Неужели все-таки, все-таки не поможет Господь?

Сколько отравленных воспоминаний.

Темна ограда,
И я живу, и нет конца.

Измочаленная душа моя, но ни мгновенья ропота на Бога. Напротив, благословенье, потому что все это не Его рука, это мы сами, мы виноваты.

Только о помощи слабая, робкая, вечная мольба.

1913

Страстная Суббота, Париж

Еще год прошел. Опять здесь, опять пишу перед отъездом в Россию.

С тех пор, с последней записи, было: мы вернулись в Спб. (12 г.) Кошмар предстоящего процесса. Тут же вынужденная перемена Сп-бургской квартиры — взяли первую попавшуюся. Дима сказал, что все-таки еще хочет жить с нами.

Лето в Верине, около Ямбурга. Хлопоты насчет процесса.

18 сентября он состоялся. Я была в суде. Уже ясно, что кончается ничем. Все были за Дмитрия. Щегловитов его вызывал на частное свидание.

Дмитрия оправдали (1912 г.).

До 12 января мы жили в Спб. Жили довольно плохо. С Димой глухие и острые притом — нелады. И он заболевал печенью.

За границу с нами не поехал. Остался один. Было нехорошо. Сказал, что потом приедет, но видно было, что не хочет приехать.

А зиму (12–13) Карташев очень усилился. Такой ясный. Стал председателем Религиозно-Философского Общества. Деятельный, понимающий. Мейер хуже, очень было с ним, подчас, подозрительно. Он все мечтал о Ксении Половцовой, уехавшей во Владивосток, ходил к Власовой, которую отстранил от Таты.

Вообще с Татой они очень воевали.

Рождество (новый 13 г.) встретили у Карташева и Таты, вместе с их «питомцами», не для себя.

Для себя собирались очень мало.

С 14-го января (1913 г.) я и Дмитрий вдвоем в Париже — недели три-четыре. Потом поехали в Ментону.

Оттуда мы вот только завтра, 14-го апреля (1913 г.) будет неделя, как уехали.

В Ментоне Амалия и Илюша, в Сан-Ремо — Борис Савинков.

Первое время в Ментоне — очень мучительно из-за Димы. Надо ему было приехать. Много я передумала, много с Дмитрием переговорили. Наконец я написала Диме письмо, настоящее, о приезде.

Он там заболел серьезно, припадками печени.

Перед самым отъездом опять припадок.

Через день после приезда в Ментону — опять припадок. Только после него стал поправляться.

Но очень хорошо, что он приехал. Во всех отношениях.

С Амалией и Илюшей, хотя фактически они на прежних позициях; мы сблизились внутренно, как никогда. Илюшу я поняла изнутри и полюбила еще больше. Надо терпение и любовь, тогда все будет.

С Борисом мы виделись раз пять. Почувствовалось, что он — гораздо более бессознательный человек, нежели мы думали. Индивидуалист. И все у него недодумано. Илюша его понимает. Любит, хотя Борис ссорится с ним. Борис и с нами глупо ссорился, при Плеханове.

Мы были у Бориса в Сан-Ремо 2 раза. Раз с Илюшей, другой раз с Димой.

Вилла Vera — удивительная вещь. Ребенок толстый — и умирающая, белая, воздушная, прекрасная М. А., среди цветов.

И озлобленный, несчастный, измученный Ропшин, часто городящий ахинею. О двух партиях — мирной общесоциалистической и другой, отдельной, террористической, на суровых «моральных» основах.

Лукавый эс-дечный обер-буржуа Плеханов — тут же, благосклонно готовый поглотить и Бориса, и Илюшу, если они к нему полезут.

После всего, от всего-всего, — одно у меня общее, трезвое, твердое понимание: надобно с безгранным терпением и с постоянно растущей (поливаемой) любовью относиться к явлению жизни и человеку — каждому.

В словах — это обыкновенность. А в деле — это сдвиг души. Длительное, мягкое усилие. Ясное принятие трудностей и печалей терпения.

Вижу все, вижу нас, равнодушных, косных, слабых, — и ничего, уныния нет. Держаться надо. И вот к этому просить помощи.

Тата бедная все больна. Уже месяца два. Уедет, едва мы приедем. Внешне все не сходится. Столько трудного, столько тяжкого. Но благословение пусть будет на том, что есть. Мы не стоим заботы, которая о нас.

Помню, помню нашу последнюю Пасху в Париже, ту, когда так же куличок стоял в углу и та же Clemence ездила за ним в русскую церковь...

Сегодня у нас ничего нет. А тогда казалось, так много было. И уныния, однако, не хочу я, и не место ему.

Сегодня заезжали с Димой в русскую церковь. Так трогательно, так тихо и темно. Стоит плащаница. Пусто. Я люблю церковь. Я не люблю российской маски ее.

Кончаю сейчас верой, благодарностью, тишиной, надеждой. Через час, через два скажем: «Христос Воскрес!»

Пишу здесь же, в Париже, в четверг 1 мая 1914 г.

В прошлом году: (1913 г.) вернулись в Спб. в апреле, сейчас после Пасхи.

Тата, перенеся болезнь, тотчас же после нашего приезда уехала за границу.

Май мы провели в городе, очень дурно, со всеми надо было говорить. О многом.

Видели Бердяева. Как далек! Видели Борю Бугаева. Еще дальше. Этот у Штейнера. И Бердяев к нему направлялся. Но еще не штейнерианец.

Лето (1913) провели не особенно удачно. И внешне — плохая дача. Оля Флоренская у нас; она — близкая-далекая, что хуже всего, и тяжелая. Внутренно же была мучительная история из-за Диминой поездки в Карлсбад.

Я обещала ехать с ним — и не смогла. То есть мучилась, что не могу Дмитрия покинуть.

И было тяжко, но оба они оказались лучше, чем сами думали. И сошлись как-то хорошо из-за этого. То есть самое отрадное для меня.

Дима поехал в Ессентуки, а мы с Дмитрием туда поехали к нему после. И жили в Кисловодске месяц все. Хорошо.

В Петербурге было все важно (1913–1914). Религиозно-Философское Общество — и «дело Бейлиса». Потом исключение Розанова. Карташев как-то вознесся и понял общественность.

Мы были за свое — против многих. Против старых друзей.

Тяжелая история с Дмитрием, на которого напало «Новое время» за статью о Суворине. Печатало его к нему старые письма, обличало в сношениях. Приходилось отвечать. И теперь еще эта тень не кончена.

В конце февраля (1914) только вырвались за границу. В Париж. Потом в Ментону.

В Ментоне наши милые Илюша и Амалия. Мариэтта Ал. умерла летом. Борис живет в Ницце.

С Илюшей и все как будто так же — и все лучше. Дмитрий устал от него, но нельзя уставать.

Попросил он (Илюша) Диму пойти с ним на Пасху в церковь, русскую. А мы все пошли с ним.

Потом к нам, Евангелие читали, он плакал.

И очень ему было хорошо. И нам с ним. Мы для него в церковь, к заутрене, — и это хорошо все было.

Борис стал лучше, вырос, смирился. Но мы так мало бывали с ним (сравнительно с Илюшей), и он... безграмотен в этих вопросах!

Чувствуется вина перед ним. Ведь ему очень нужно!

Послезавтра едем в Россию (на Сиверскую, в лето войны). Очень этот год был серьезный и важный для нашего. Если не в глубину, то в ширину. А ведь как важно и это.

Дима удивительно хороший, верный, сильный. Хорошо мы вместе.

И все люди — гораздо лучше, чем о них думают, чем они кажутся, чем даже надеяться можно, — лучше.

КОНЕЦ
все умерли,
я — духовно пока

Сочельник 1943 г.
Париж
Зинаида Гиппиус

Парижская ажанда

1908 г.

Январь

1(14) вторник

День Нового Года почему-то всегда грустный. Не помню иного.

Дима был у Кричевского, потом у Щукина. Дм<итрий> забыл, не пошел, а то и я хотела с ним идти.

Вечером читали лит<ургию>, молились.

2(15) среда

Нынче второе...

Пришел Бердяев! Утром приехал.

Он милый. Говорили. Не слишком ли сразу заспорили? Пошли провожать его на метро.

Вечером читали лит<ургию>, говорили, мол<ились>.

Я писала Тате.

3(16) четверг

Господи! Щукин умер. Вчера утром упал и умер. Мы как-то не могли поверить.

Лежит, говорят (Дим<итрий> и Дм<итрий>) — лицо другое.

Я по темной мокрой улице ходила к Селениной.

Вечером письмо от Фонд<аминского> — ответ на мое. Читали Екклезиаст. Мол<ились>.

4(17) пятница

На закате гуляли с Димой. К озерам. Тепло (11°). Грустно, светло. Луна розовая. Давно я неба не видела.

Вечером Бердяев не пришел. Мучаемся мы и о Бердяеве. Диме нездоровится. Да какое уж!

5(18) суббота

Господи! Места не хватит все записать. Дима до завтрака пошел на похороны к Щукину. Дм<итрий> пошел в церковь — там ничего. Дима вернулся с Раппом. Оказывается — Щукин отравился цианистым калием. Вот тебе «простая» жизнь «пустого человека».

Стали люди приходить — кучи, кучи! Все «Селенины», с<оциал>-д<емократы> неизвестные, потом Бердяев со своими Юдифовнами. Минский ...без конца.

Вечером — Фонд<аминский>, по письму его. Рассказал трагедию (драму) Сав<инко>ва. Ох, нехорошо! Эстетика второго сорта, и этика того же. «Влечение» к «красавице»... Жену вон... А «дело» куда?

6(19) воскресенье

День тумана и раздраженной грусти. Был Прозор — заика.

Дима зачем-то шатался к Поль Адану, кот<орый> в Каире.

Вечером маленький четверг, потом писали литургии, ...но марко на душе. Я гадкая. Господи! Как все мучает.

7(20) понедельник

Вечером был Бердяев, один. Пытались говорить не о метафизике, выяснить <о> Лид<ии> Юд<ифовне> — замалчивает. Впечатление смутное. Дима опять нападал — полемизировал.

Расстались — неизвестно с чем.

8(21) вторник

Они ходили к Valette. Я хотела было выйти — но осталась дома. Писала какую-то дрянь.

Сегодня 19 лет, как мы с Дм<итрием> замужем. Дай Бог и еще 19, и еще...

9(22) среда

Завтракали Прозор с дочерью. Потом все пошли к Бергсону.

После они к Лабертоньеру.

Вечером писали. Голову мыла.

10(23) четверг

Я заболеваю. Кашляю, насморк. Фондаминский пришел. Говорит — Сав<инков> приехал и «чудо свершилось». Жену оставил, к Зильб<ерберг> нейдет.

(Я ему его вещи поправила. Как было возможно.) Четверги отложили ради моей болезни.

11(24) пятница

Продолжаю быть больна. И живот болит. Дима за мной ухаживает.

Дм<итрий> лекцию читал об Андреевск<ом>. Я рада, что не была. Это не «связь». Всех. Т. е. большинство, возмутила. «Реакционная». Там — «ре́волюция — религия...» Сидела одна вся.

12(25) суббота

Кое-кто все-таки пришли. Рыбакитзе, финляндец с силуэтами. Книжник т. д.

Бердяева не было. Я скверно себя чувствую.

13(26) воскресенье

Целый день лежала — целый вечер кричала (письмо ужасающее от гимназиста).

Вечером были: Сав<инков> с женой, Берд<яев> с женой и Фонд<аминский>.

Опять много полемики. Сав<инков> льнет, особенно к Дм<итрию>.

14(27) понедельник

Мне лучше. Писала письма. Обедала одна — они ушли в Revue Psych<ologique> с Севераком.

Думала обо всех.

15(28) вторник

Обед у давно пристающей Petit, — амишка — жидовка замужем за франц<узом>. Там Сав<инков>, Берд<яев>, Фонд<аминский> — с женами. Дима «хулиганил». А главное — нападал на Бердяева, нехорошо, раздражительно. Сав<инков> льнет к Дм<итрию>. «Что делать???»

Жена Фонд<аминского> маленькая голубоглазая.

16(29) среда

Гадкая погода (ветер) — я и не вышла, писала кое-что.

Дима уходил.

Вечером писали литургию. То есть ектению смотрели.

17(30) четверг

Пошли с Димой в Passy. Пирожки покупали, цветы, pince-nez. (Свое сломала.)

Вечером четверг. Говорили потом о Бердяеве. (Днем Дм<итрий> у Савинкова был, разговаривал.)

18(31) пятница

Я днем писала. Дима пошел к жиду обедать, а после пришли Лид<ия> Юд<ифовна> и Бердяев. (Дима после пришел.)

Мне тихо-грустно. Не помощник он нам. И говорить больше не умею с ним. Скучно. Все как в подушку.

19(1) суббота

Бердяев пришел рано и неожиданно. Но томился. Масса народу. Petit с Негришоном, датчанин лысый, Миша

Д. (Карпович), бабы старые, Костылявая и другие. С Selениной опять что-то. Племянница. Че-пу-ха!

Вечером Дм<итрий> опять к Савинкову ходил. Уговаривал царя не убивать. Не для царя — а для Савинкова. Да, Савинкову это поздно, а вообще м<ожет> б<ыть> рано. Т. е. может быть. А надо знать наверное.

20(2) воскресенье

Бездельничали с Димой, перед обедом села фельетончик писать.

Вечером свое писали. Спорим.

Убили португальского, и короля — и наследника.

21(3) понедельник

Хотела гулять, да погода гадкая, ветер, слегка снежило. Писала фельетон, кончила. Читала им.

Кашляю.

Потом Библию — (Исаию) читали.

22(4) вторник

Письмо от Таты. Грустное какое-то. Тяжелое.

Племянницы. Потом хотела выйти — Ознобишин. Задержал. Пошли-таки с Димой к Сав<инкову>. Его нет, жена, дети, Серг<ей> Ник<олаевич>. (Дима был темный. Ознобишиной об отравлении Щукина.)

Маленький четверг. Молитва просветлила. Писали свое хорошо.

23(5) среда

Вечером на метро к Бердяеву.

Маленькие две комнатки, тесно, душно. Две кровати рядом, прикрытые.

Сначала все о пустяках. Он, ведь, не может, все со» да «о». Я потом «стены стала ломать».

Она — измученная; обмороки.

Обещала лишь что-то про Сер<афиму> П<авловну> сказать... «все»(?)

24(6) четверг

С утра (т. е. после завтрака, я одеться не успела) — Вера Глебовна Савинкова. Истомленная. Уезжает. Не может больше. Он опять к той. Не успела уйти (Димы не было) — мать Селениной. Что будто Ксения в американца влюбилась и самоубивается. Сама лезбийка старая.

Вечером Грузинская, с ней четверг малый. Для нее, наскоро — но она тише была. А все-таки — какой денек?

25(7) пятница

А сей еще страшнее. Савинков с Фонд<аминским> вечером. До 3-х часов. Непередаваемый разговор. Тяжелый. Савинк<ов> много рисовался. Безумно самолюбив (я ему сказала, что он слабый, так он позеленел, Дима уводил успокаивать). Говорил с пышностью, что уж либо ко Христу, либо в «тартарары». Ф<ондаминский> написал записку, чтобы его оставили. Мы оставили, а он задыхаясь стал говорить: не верьте ему, он ко мне пришел «огурчиком» — баловаться хочу, семья мне надоела.

Не молитесь за него!

26(8) суббота

Измучены со вчерашнего. А тут эта Ксения с 3-х часов. Мямлила, плела, что влюблена в американца, а он ее не хочет. Ушла, было, и ребенка хотела выкинуть, а он отверг. Рассердилась я, ну, что это?!

Книжник, Кавказ, Рапп, Грузинская, финляндец, Костылявая...

Господи! Устала я.

27(9) воскресенье

Вечером Бердяев с Лид<ией> Юд<ифовной>. Я все время с ней — в «бюро» моем (куда переселилась). Бабья чепуха какая-то Сер<афимой> Павл<овной>, сближение, кресты, потом услышала, под окном, что С<ерафима> П<авловна> ее ругает. А та ей «поклялась крестом», что не ругала, тогда взяла крест у нее и бросила в пруд. И вот все такое...

Беда чистая, скучно мне до смерти в этом во всем. И жалко женщин...

28(10) понедельник

Уже телеграмма от Лид<ии> Юд<ифовны>, что, когда продолжить вчерашний разговор. Написала, что раньше пятницы не могу.

Плохая погода, дома сидим. Вечером писали свое. В тишине.

21) Вечером потом прощались... шутили, шалили... У Димы.

Ничего, все хорошо.

29(11) вторник

С энергией решила ехать на автомобиле к Фондаминским, в Bellevue. Вот хорошо-то! Погода дивная, предвесенняя вся. Троим понравилось!

Он рад был. В лавочку бегал. Жены нет. Люди всякие только у него. Поговорить было нельзя.

30(12) среда

Ходили с Димой к Трокадеро, за Дм<итрия> за рукописью. Ничего, весело, вечер ясный.

Вечером не писали, по<тому> что Дм<итрий> свою рукопись поправлял и огорчился, что так плохо переведено. Дм<итрий> хороший, Дима милый, все хорошие.

31(13) четверг

Перед обедом ходили с Димой за цветами. Купила хороших, в горшочках. Тепло.

Устроили, как сад!

Четверг большой.

Потом с Димой спорили об женщинах. Но не зло, и вскорости помирились.

Жаль, всех хотелось бы, чтобы все с нами.

Февраль

1(14) пятница

Поехала я к Лидии. Тьма, камин только, я одна с ней, а у нее все «знаки». Обо мне гадала по Евангелии. Вышло, что я человек, из которого вышли бесы. Потом пришел Дима за мной. Засыпал в темноте. Нет, боюсь я этих знаков. Но жалею ее. Что я могу?

Писали — сонно. С Димой мы очень хороши. Очень.

2(15) суббота

Был Бердяев. — Ну и «вообще»... Прозор, между прочим. Минский надутый.

Вечером писали.

Кончили. Дм<итрий> забоялся. Да и как не забояться!

3(16) воскресенье

Дома сидела. Племянница была. Потом мы с Димой Павла читали (кор<ректуру>).

Дима злой. В конце на меня заорал. И я разозлилась.

4(17) понедельник

Дима свою книжку готовил (мы помирились), а Дм<итрий> с Павлом возился и со мной ссорился.

Вечером Фондаминчик. Мил, как всегда, Очень женствен.

С Савенковым мы как-то не видимся. Он обижается!

5(18) вторник

Сидела дома, писала «Репу».
Дима куда-то шлялся. Вечером писали.

6(19) среда

Вечером Бердяев, Лидия и Sévérac. Sévérac его профетически обличал, что он бездейственен и против революции.

С Бердяевым у нас не ладится. Дима раздражается.

7(20) четверг

Завтрачище с Ознобишиным и Мандельштамом (Geminer) у нас. Ужас! Племянница. Дождь.

Ринулись мы с Димой и ездили на автомобиле. По всему городу. В кафе он распалялся на кокотку.

8(21) пятница

Хромой и конфузливый Амари.

9(22) суббота

Скука собачья. Народ. Все эти бабы. Я целый день сплю. А вечером Дима спал.

10(23) воскресенье

По дождю гуляли мы с Димой от Concord до Etoile. Вечером я писала. Думала...

11(24) понедельник

К Фонд<аминскому> на автомобиле. Но дождик, не то, что прошлый раз. Амалия — ничего себе. Оттуда к Ан<ри> Берг<сону>, не застали.

Вечером Дима ушел к Дюмюру. Оттуда порскнул на бульвары.

Пришел размарной (?)

12(25) вторник

Вечером, довольно поздно, Бердяев, один. Он лучше втрое без Лид<ии> Юд<ифовны>. Дм<итрий> его любил. Дима был «так себе».

Вообще ничего разговор. Бердяев нам был бы близок, если бы не Лидия, с кот<орой> делать мы не знаем, что.

13(26) среда

Должна была идти к Селениной, а вместо этого пошли мы с Димой в город книги покупать. Вернулись на автомобиле.

14(27) четверг

Они с Gemier, а я одна к Лидии Юдиф<овне>.

Опять говорили, все то же. Оказывается — они бывали на Вяч<еслава> Ив<анова> тайных собраниях, в костюмах. Гад Нувель безобразил.

Веч<ером> полумалый четверг.

15(28) пятница

Ужасный по томлению день! С 4-х часов Хилков с Сел<ениной> — до 8. (И Дм<итрий> все время сидел.) А с 9 до 2-х ночи — Савенков с безмолвным Серг<еем> Никол<аевичем>.

Томительный разговор, как всегда тяжело-бесконечный. (И Дм<итрий> все время сидел!)

16(29) суббота

Дима завтракал с Волк. Явился, когда у меня уже сидел Бердяй и Кавк<ас>. Пришли еще старухи и ...Борисов, старый дурак.

17(1) воскресенье

Я писала фельетон. Шел мартовский снег. Нагрет<ые> льды спятили, голова от треньканья распухла. Дима ушел к Сталю. Там Фондам<инский> с женой и революционеры.

18(2) понедельник

Плохо неделя для Димы началась. Во-первых — известили, что книгу его не будут издавать, поздно, мол; а во 2-х — к комиссару полиции его требуют завтра. Думаем, что по поводу Сав<инкова> как-нибудь. Дима ему от меня письма носил, а за ним следят, повесить, дураки, хотят. Теперь Дима пошел к Бердяеву — говорить «наедине». Веч<ером> мы на «бал» пойдем.

19(3) вторник

Не выспалась. На балу с Димой сидели. Я с Фонд<аминским> кадриль танцевала. Эти двое, он и жена только и есть.

Грустно, тяжелое впечатление. Приказчичий клуб. Савенков там уже скандалил и обиделся на что-то. Зильберберша красивая, но elle ne me dit rien[25]. Загробный Ромов разошелся и объяснился мне в любви.

20(4) среда

Вчера Диму в полицию требовали. Явные мушары. Дима скандалил и жаловался.

Сегодня мы ездили с ним в Printemps и в Rue Daru за свечами. Вернулись на безумной auto. Мне было весело, но потом я ослабела, заснула, и как-то запала.

21(5) четверг

Дмитрий читал лекцию в Ecole de Hautes Etudes[26]. Говорит — отлично сошло (я сдуру дома осталась). Баш председательствовал. Дм<итрий> хорошо читал, хотя и по-французски.

Оказывается, Бердяев с Юдифовнами и Раппом слетел с автомобиля. Но счастливо еще.

---

[25] Здесь: ничего не говорящая, невыразительная (*фр.*).

[26] Исследовательский институт (*фр.*).

22(6) пятница

Дождик лупит, а вчера было чудесно.

23(7) суббота

Все Фондаминчики, Зензинов, Бердяев... Слава Богу, никаких дам, кроме какой-то мгновенной моей поклонницы. Амалия — прелестная, в сущности.

Впрочем — потом барышни — Поповы.

24(8) воскресенье

Вечером к Сталю все, и там столкнулись со всякими с<оциалистами>-р<еволюционерами> и с<оциал>-д<емократами>, кот<орые> на нас нападали. Бурцев. Рапп возмущался Бердяевым.

Дима шлялся где-то днем и мок.

25(9) понедельник

Ездили с Димой на auto к пострадавшей птице-Раппче. Неуютно у них. Она Бердяевскими словами начинена. Хилая.

Вернулись — я случайно распечатала письмо Груз<инской> к Дм<итрию>. Оказывается, Маруся объявлена невестой какого-то Данзаса. О, женское!

26(10) вторник

Был Бердяев вечером. Какой-то разговор не очень. Пришла тут же его статья о «бесах», Дм<итриев> фельетон о Струве с возр<ажениями> Струве.

Ну так вот, говорили. Никак не сговориться! Ох, какой!

27(11) среда

Димы ни следа целый день. Завтракал у художника, потом шлялся. А я в Printemps поехала, вот устала! Вернулась на auto.

Вечером Грузинск<ая>. С ней немного молились. Дима Б<ердяева> изругал в фельетоне.

28(12) четверг

Поехали на лекцию 2-ую Дм<итрия>. Но он читал хуже. Он вообще, бедненький, загрустил. Еще бы! Маруся-Луиза. Одна каша.

Потом пошли в кафе, я, Дима и Бердяев. Ужасно спорили, и жалко его — да нельзя же так!

29(13) пятница

Четверг не перенесли сюда. Потому что на лекцию Берд<яева> поехали. Интересно, т. е. не лекция, ибо читает он скверно, да и все нам переизвестное, а возражения эсдеков новых. Митя и Окулов.

Март

1(14) суббота

Куча народу, Рапп и Сталь. Последний нежданно обиделся на нас за разговор.

Дм<итрий> у Манжиарали, а Бердяев у нас обедал. Говорили мы с ним без конца. Дима злился. Потом ушел. Пришли все — а он еще сидит. Измучил меня.

А Дима потом на меня же!

2(15) воскресенье

Едва живу. Пишу. Воскресенье — скучный день.

3(16) понедельник

Вечером Савенков и Фондаминский.

Рано ушли, и ничего, мало довольно разговаривали. Савенков — «за нас».

4(17) вторник

У Ан. Бернар с Борисовым пирог ели. Отдохновение — глупо. Фондаминчик.

Вернувшись стали с Димой друг другу читать статьи, и оказалось, что об одном и том же написали. Только он яснее. Я обиделась.

5(18) среда

Ссорились из-за статей. Потом Бурцев пришел и о «куцой конституции» говорил. Вот куда с террора съехал.

С Димой продолжаем ссориться. Он надулся.

6(19) четверг

Ссорились.

Был большой четверг. И читали лит<ургию>.

А потом страшно и жестоко с Димой поссорились. Поругались. Это все в пятницу, а тут была фр<анцузская> дискуссия.

7(20) пятница

Медленно мирились, клеили рваную статью — в субботу. А в пятницу, кроме, еще пришел днем Митя эс-де, мистический ан<архист> в зародыше, но милы в общем. Планы лекций.

8(21) суббота

Днем не утомительно, ибо не было баб, а Бердяев, Книжник, и т. д. Рыбак рассказывал об мазохистских оргиях Минского.

Потом, после обеда, Дм<итрий> ушел на бульвары. А мы с Димой вздумали и поехали. Куда? За Бердяевым и Лид<ией> Юд<ифовной>. Пьяный шофер. В Rat-Mort. Бердяев мил, но Лидия сидела кикиморой. Я дурила, плясала с испанцами, любезничала с «девочками». Пили шамп<анское>. Вернулись в 4 на auto.

9(22) воскресенье

Плохой день. Я устала, и явилась сначала Грузия, прочла письмо от Маруси, правда угнетенное, точно ее Муля обработала. Дмитр<рий> чернее ночи сделался и ушел.

Ко мне Селенина с младенцем. Дура она. Опять связалась идиотски с кем-то, и опять он ее бросил.

Дм<итрия> жаль очень, но ой нехорошо это все, молчит.

10(23) понедельник

Вечер среди «убивцев». (Днем гуляли с Димой, весна, я спать хотела.) Савенков, муж Доры Бриллиант, умершей в крепости, вдова убийцы Лауница, Серг<ей> Ник<олаевич>, Евг<ения> Ив<ановна>, др<угие>, и невеста Сазонова — «чистейшей прелести чистейший образец» (бежавшая из Сибири; по «Царскому» делу). Удивительно прелестная, лицо и фигура мученицы первых веков.

Сав<инков> уж что-то слишком «за нас». Говорил о споре с Верой Фигнер из-за нас.

Ну да всего не напишешь.

11(24) вторник

Днем мы гуляли долго с Димой, а вечером мы все к Бердяеву. Неважный разговор. Быстро и внезапно ушли на метро.

12(25) среда

У нас — все эти «убивцы», да еще 2 эсдека, под «мистических анархистов». Но Митя симпатичный. Говорили долго. Один «мещанин» (к пантеизму гнет), а другой «хулиган» (к богоборчеству). С Прокофьевой говорила об Андреевском.

13(26) четверг

Как-то все раскисли мы. Я спать хотела. И четверга не было. Просто почитали и помолились.

14(27) пятница

Отвратительный вечер в Café de Lilas, где Бердяев читал «о происхождении зла». И вспоминать не хочу. Дима и Дм<итрий> преподло себя вели. Масса все того же народу. (Вера Фигнер Савинкова проклинает.)

15(28) суббота

Американцы — с Савенковым.

И масса идиотских баб.

Завтра Дима с 7 ч утра идет на похороны Гершуни.

16(29) воскресенье

Роковой вечер в пятницу дает себя знать. Бердяев прислал длинное ругательное письмо. И не пришел.

Вечером были Баши и т. д.

Дима с 7 утра до 7 вечера хоронил Гершуни.

17(30) понедельник

Мы очень угнетены.

Дима целый день лежал. Я ходила в Lafayette. Ждали Бердяева — напрасно.

Молились, читали. Тата написала, что отец оч<ень> болен. Умрет.

18(31) вторник

Умер отец. Я не выходила. Темная погода. Молились. Б<ердяев> завтра придет.

19(1) среда

Днем Грузинская, плачущая Селенина... Ушла к бандажисту. Вернулась на auto.

Вечером Бердяев. Объяснение. Дм<итрий> стал его жалеть. Он несчастный, — но для нас вредный.

20(2) четверг

Свечи мы с Димой ходили покупать. В Luxembourg’е просторно и грифельно. Весна. Серенькая.

Четверг. Было, по-моему, хорошо, но Дм<итрий> потом стал «сомневаться». Бердяевские сомнения.

21(3) пятница

Ссорились, или так, вообще, — не того.

22(4) суббота

Из «дам» одна Костылявая, слава Боху. Эсдеки, Книжник, все Bellevue [27] и Савенков (провоцировал, зачем уезжаем). Вечером к Башу, поздно. Скука. Он стихи читал.

23(5) воскресенье

Селенина с глупыми признаниями и самоубийственными письмами.

Дождь.

Дима к Сталю вечером. Мы как-то все ссоримся.

24(6) понедельник

От Бердяева *ли*, или от чего другого — но нет мира между нами.

25(7) вторник

Дождь льет. Я скверно спала, ссорилась. У Димы голова болела целый день.

Утром письмо от Груз<инской>, что она с Берд<яевым> и Л<идией> Юд<ифовной> молилась.

А вечером сама пришла. Мол<ились> с ней.

---

[27] Добропорядочные (*фр.*).

26(8) среда

Димино рожденье.

Оставил меня, ушел — говорит в S. Cloud... Я ушла одна. Вернулся поздно. У Фонд<аминского> был.

Бердяев веч<ером> с Лид<ией> Юд<ифовной>. Ничего, мил. Ссоримся.

27(9) четверг

Опять ссоримся.

Я ходила одна. Весна.

Вечером к Лагарделю поехали. Скука.

Нет отрады.

28(10) пятница

Не пошла на Какасиелли, дома одна осталась. Они поехали. (Для Бердяева.) Ну — реферат «не для дам». Пришли усталые.

По-моему — Дм<итрий> не должен был этой статьи печатать в газете (о христ<ианстве> опять), а он хочет, хоть выпустил кое-что.

29(11) суббота

Пришел Рыбакидзе и вдруг — Нувель! Ну да пусть его, я его не боюсь.

Мал<ый> четв<ерг>, читали лит<ургию>. Забоялись опять. Нынче 7 лет с того дня...

30(12) воскресенье

Днем Нувель и племянница. Вечером пошли все, с Савенковым, к террористическим вдовам.

Прокофьеву отчитывали: Сав<инков> особенно.

Но живут они мало. Благородство.

31(13) понедельник

Днем устала, ходила. Димы целый день не было. Вечером к Раппам. У Дм<итрия> насморк.

Там все с Рапп говорили.

От Мули письмо!

Апрель

1(14) вторник

Дима завтракал с Нувелем. Дм<итрий> ушел к Муле и Марусе. Пришел Дима — туда тоже пошли. Дрянь. Дм<итрий> опять черный. (Еще простуженный.)

Поехали на auto к Фондаминским. Обедали там. Вдова Гершуни неважная. Амалия милая.

2(15) среда

Устала я душевно сегодня. Разговоры такие... Дмитрий болен. Был Нувель.

Ах, не то...

Молились, как только могли...

3(16) четверг

Оба с Дм<итрием> мы больны (инфлуэнца). Так что на лекцию Акулова пошел один Дима. Говорил, Бердяев говорил — сдержанно, хорошо.

4(17) пятница

Хотя и больная, поехали все на auto на вечер Веры Фигнер. Она скромная, бедная, милая. В белом платье. Ее забросали цветами. Но публика холодная. Anatole France говорил речь. Кроме меня и Дм<итрия> читал Минский, но я уехала раньше. Читала стихи (Журавли). Дм<итрий> — Павла. Рано вернулись, с цветами.

5(18) суббота

Я ходила днем к Селениным, еще больная.

Вечером у меня Савенков был, читал роман, — хороший. Думала о своем. Я тупа ...и нехорошо.

6(19) воскресенье

Сегодня первый раз Бердяев у нас — на четверге. Было хорошо, как будто, вначале, хотя Дима молчал. После Берд<яев> долго сидел — и говорил о пустяках. Это мучительно было. Но ведь он от стыдливости?

7(20) понедельник

Начало. Не хочу еще думать, им очень поддаваться. Мучительно писала гадкий пасхальный рассказ для Гессена, по телеграмме.

Малый четверг.

8(21) вторник

Дима с Дмит<рием> ездили покупать нужное. Я — шелк для поправок. Еще ничего не знаем.

9(22) среда

Ничего не знаем. Писала в книжечку. Вечером кроила, шила.

М<олили>сь.

Дописала.

10(23) четверг

2-я годовщина нашей св<обод>ы.

Утром Грузинская. Плакала. У Димы страшная мигрень. Мучаемся.

Шила целый день.

Вечером читали 9 Евангелий.

11(24) пятница

Мы говорили днем.
Вечером были в церкви. Холодно там?
Тихо «решили».

12(25) суббота

Было все. Днем <...> тишина <...> служба <...>

13(26) Светлое Христово Воскресенье

Тише. Тише. Не надо еще говорить ни о чем.
Надо просто.
Дмитриев хороший. Да и все люди хорошие.

14(27) понедельник

Какая весна! Сыро, но светло! Ездила на auto в Медок, по лесным дорогам.

Я устала от воздуха. Не пошла к Бердяеву. Они были.

15(28) вторник

Днем дождик, но я ездила на auto в город. Приехали за ними — к Муле обедать.

Дмит<риев> хороший, верно все говорил: Маруси как бы нет.

16(29) среда

Ездили в Версаль на 2-х auto с Мулей, Мар<усей> и Дм<итриевым>.

О, какая весна!

17(30) четверг

Завтракали у нас Фонд<аминский> с Амалией, Sévérac и Дюмюр. Последний надоел ужасно.

Потом Дмитриев был.

Вечером мы с Димой в театр — le Roi[28] смотрели.

---

[28] Король (*фр.*).

18(1) пятница

Днем я выходила с Димой.

Вечером *Лидия* Юд<ифовна>. Долгий бесплодный разговор.

19(2) суббота

Ездила долго по Парижу.

Вечером Савинков и Фондам<инский>. Вдвоем. Говорили о сборниках. Фонд<аминский> — боялся... Отчего? Милые люди все.

20(3) воскресенье

Вечером ездили с Димой на Rond Point, сидели в Bar — весна, весна!

21(4) понедельник

Вечером у нас была Вера Фигнер. Мы с ней со божественном» ни гугу. Она бедная, замершая. Храбрится.

Днем гуляла с Димой по quartier. О, какая весна! Уж не последняя ли моя? Уж очень я ее чувствую.

22(5) вторник

Грустно, грустно... С какой болью я отрываюсь... Не лучше ли сразу в Россию?

Вечером Грузинская. Дмитрий нехорош, не то, занят отъездом... Нет, я нехороша.

23(6) среда

Много народу вечером... Все. Тов. Митя, Савенков et C[queè], Бердяев, Фонд<аминский>... Савинков идет... Перевернуло это нас.

О, как их жалко.

24(7) четверг

Наш здесь последний четверг, втроем. Я все время плакала неудержимо.

25(8) пятница

Был вечером Бердяев. Молились с ним. Хорошо, ничего. Бедный он.

О, какая весна, весна! А я темная от жалости отрыва.

26(9) суббота

Устаю от укладки. И как-то стеснилось в душе.

Была Амалия, милая, тихая. Фонд<аминский> уехал в Англию... по делам.

Вечером шумели с Димой на Champs Elyseés.

27(10) воскресенье

Вечером гуляли, днем все укладывались.

Сколько здесь оставляем. Нет, вечером у нас Бердяев и Лид<ия> Юд<ифовна> были.

Милые оба.

Господи!

28(11) понедельник

Завтра мы уезжаем, утром, из Парижа. Завтра!

Теплый дождик идет. Весна. Господи сохрани нас, помилуй, и сохрани здесь всех бедных, милых, глубоких и благородных, кого мы узнали и полюбили. И дай нам, дай нам вернуться сюда более сильными. Да будет воля Твоя.

29(12) вторник

Едем в Биариц. Дождь идет. Вечером приехали. Отель «Фалер» гадкий.

30(13) среда

Отдыхали. Светло. Океан хорош. Гуляли с Димой по берегу. Устали очень.

Май

1(14) четверг

Поехали завтракать к Птихе, в St. Jean de Luz. Отель новый, хороший. Переедем.

2(15) пятница

Переехали. Океан здесь хуже, но вообще-то недурно. Устала. Птиха щебечет.

3(16) суббота

Катались. Птиха щебечет.

4(17) воскресенье

Опять катались. Птиха все щебечет.

5(18) понедельник

Еще раз катались. Птиха нас защебетала.

6(19) вторник

Уезжает Птиха. Провожали ее. Уф! Ну и щебетунья. Трясет боками и щебечет.

7(20) среда

Катались одни. Отдыхаем.

8(21) четверг

Дни похожи, катаемся. Я в 9 ч<асов> спать ложусь. Павла конфисковали. Дм<итрий> дрожит, всем неприятно.

9(22) пятница

Дождь, холод. Едва выходили немного. Речь Столыпина. Веч<ером> м<олились>.

10(23) суббота

Ссоримся с Димой из-за Столыпина.
Погода гадкая, но ездили кататься, замерзли.

11(24) воскресенье

Сегодня хорошо опять, но не поехали. У Димы голова болела. Днем гуляли с Димой по полям.

12(25) понедельник

Ездили далеко — в Сару. Очень хорошо. Но я устала. От Таты письмо, дачи наняты.

13(26) вторник

Насморк, лихорадка.

14(27) среда

Я пишу не в этот день, а в среду перед Тро<ицей>. Пишу обо в<сем> <...> книгу надо оставить в Париже, нельзя везти с собой в Россию. Мы ссоримся, мы тяжелы, мы одиноки. У нас на сердце тяжесть. Дм<итрий> отдалился, и все мы — не то. Но пусть, не надо останавливаться на <...>. Мы очень <...> уехали в Россию, Савинков пишет нам длинные письма, но тоже уезжает из Парижа по какому-то «старому» делу. Это нас печалит <...> меня <...> то катаемся, или я с Димой гуляю, а Дм<итрий> один. Я часто каменею внутри. Дима не то скучает. Не то тоскует. Надо, надо ехать в Россию, но вот — опять мы одиноки, <...>вавшись, ничего им не дав.

И сами от отрыва как-то замерзли, охладели и внутри себя.

Была изумительна<я> <...> прогу<лка> <...>тив Испании. Потом на гору. Там деревушка на хребте, между дубами. И на высоте — церковь. Вошли в две каменные двери на кладбище. Оно тихое, с кипарисами, вокруг поля и горы дал<...> и <...>лые, большие, летают со свистом, над живыми полями и могилами, кажется — тоже живыми. Легкий крест в небесной голубизне. Мы обошли церковь...

И вдруг — тихая музыка. У полу<...>венной две <...> простое и божеское. Похоже на голубей, поля и солнце. Стояли, слушали — недолго, и так было это чудесно, и тайно, и так хорошо.

28(10) среда

Сегодня это все было, сегодня и пишу. Теперь я од<на> <...>

29(11) четверг

Ездили, гуляли — и ссорились. А потом молились среди овец на тиши.

30(12) пятница

У нас ни жизнь, ни путешествие. Оттого и ссоримся.

31(13) суббота

Катались, хороший день. Chapela.

Июнь

1(14) воскресенье

Днем ездили. Читали псалмы в ущелье. Вечером был четверг. Луна.

Синяя книга

Петербургский дневник
(1914–1917)

О Синей книге

Эта книга — первая половина моего дневника, «Современной записи», которая велась в Петербурге в годы войны и революции. Часть, здесь напечатанная (авг. 14 г. — ноябрь 17), уже в начале 18 г. не находилась в Спб-ге, и затем в течение 8–9 лет считалась погибшей. Так, как и погибла вторая половина, — годы 18 и 19, — другим лицом и в другом направлении тоже увезенная из Петербурга.

Самый конец «Записи», последние месяцы 19 года, — (отрывочные заметки на блокноте) — оставался при мне и отправился со мною, в моем кармане, за границу, когда мы туда бежали. Эти заметки вошли в книгу «Царство Антихриста», изданную по-русски, по-немецки и по-французски в 21 г.

В предисловии к заметкам я упоминаю о гибели двух первых частей дневника. Шли годы; сомневаться в этой гибели не приходилось. Можно себе представить, как нас поразило неожиданное возвращение одной из частей «Записи» — первой. Но, надо сказать, еще более поразило меня содержание рукописи. Читать собственный отчет о событиях (и каких!), собственный, но десять лет не виденный — это не часто доводится. И хорошо, пожалуй, что не часто. «Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя», — сказал мне друг, в виде утешения, застав меня за первым перечитыванием этого длинного, скучного и... страшного отчета. Да, забвенье нам послано как милосердие. Но все ли мы, всегда ли имеем право стремиться к нему и пользоваться им? А что, если, зачеркивая, изменяя,

посредством забвенья, прошлое, отвертываясь от него и от себя в нем, — мы лишаемся и своего будущего?

Вопрос о печатании этой потерянной и возвращенной рукописи долго оставался для меня вопросом. Не рано ли? Давность только десятилетняя... Но это, как раз, говорило в пользу напечатания дневника. Ведь он — только запись одного из тысячи наблюдателей прошлого. Пусть запись добросовестная, пусть наблюдательный пункт выгоден, — неточности, неверности, фактические ошибки неизбежны. Через 50 лет их некому было бы поправить, тогда как теперь, когда живы еще многие свидетели тех же событий, — даже участники, — они всегда могут, указанием на то или другое искажение действительности, содействовать восстановлению его подлинного образа.

Однако именно «живые люди» и усложняли вопрос. Печатать дневник имело смысл лишь в том виде, в каком он был написан, без малейших современных поправок (даже стиля), устранив только все чисто личное (его было немного) и вычеркнув некоторые имена. Но вычеркнуть другие все (тогда уж и мое) — значило бы зачеркнуть дневник. Между тем я знаю: большинство людей не любит, боится лишнего взгляда на прошлое, особенно на себя в нем. А вдруг увидишь там что-нибудь по-новому, вдруг придется осознать свою ошибку? Нет, лучше — под «крыло забвенья»... Это очень человеческое чувство, почти никто от него не свободен, — ни я, конечно. Мне тоже тяжело наше прошлое, когда оно слишком живо вспомнится, слишком близко подступит. В данном, частном, случае — и для меня дневник мой не всегда приятное зеркало: приходится ведь отвечать не за одну главную внутреннюю линию (за нее я без труда отвечаю), но также и за ребяческие наивности, скорые суды, «самодельные» политические рассуждения и т. д. Да еще сознавать, что если не было каких-нибудь ошибок серьезных, фатальных, то лишь потому может быть, что и «действий» не было...

Но, побеждая свою боязнь прошлого, не считаясь с ней в себе, имею ли я право не считаться с ней в других? Как я смею решать, что другие, даже в этом маленьком случае, не найдут в себе силы бросить взгляд на свое прошлое, сказать ему новое «да» или новое «нет»?

Я и не решаю этого. То есть решаю, печатая дневник, заботиться о людях, там упоминаемых, не больше, чем о себе. Я не обманываю себя: те, кто страха — даже перед самой малой частицей правды, — преодолеть не могут, — станут моими врагами. Это всегда так бывает. А частица правды в дневнике моем есть; о ней только я и думаю, и верю: кому-нибудь она нужна.

Жизнь, как уже сказано, поставила нас (меня и Д. С. Мережковского) в положение, близкое к событиям и некоторым людям, принимавшим в них участие. Среда петербургской интеллигенции была нам хорошо известна. Кое-кто из вернувшихся, после Февраля, эмигрантов — тоже. И географически положение наше было благоприятно: ведь именно в Петербурге зарождались и развивались события. Но даже в самом Петербурге наша географическая точка была выгодна: мы жили около Думы у решетки Таврического сада.

Все остальное выяснится из самой книги. Скажу еще только вот что: пусть не ждут, что это «Книга для легкого чтения». Совсем не для легкого. Дневник — не стройный «рассказ о жизни», когда описывающий сегодняшний день уже знает завтрашний, знает, чем все кончится. Дневник — само течение жизни. В этом отличие «Современной записи» от всяких «Воспоминаний», и в этом ее особые преимущества: она воскрешает атмосферу, воскрешая исчезнувшие из памяти мелочи.

«Воспоминания» могут дать образ времени. Но только дневник дает время в его длительности.

Синяя книга

1 августа. С.-Петербург. 1914. (Стиль старый)

Что писать? Можно ли? Ничего нет, кроме одного — война!

Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?

Да и я, как всякий современник — не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление.

Осталось одно, если писать — простота.

Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз...

Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно... Однако я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающий тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки.

Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла... Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот раскрывала — на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно.

М. приезжал взволнованный, говорил, что это органическое начало революции, а что лозунгов нет — виновата интеллигенция, их не дающая.

А я не знала, что думать. И не нравилось мне все это — сама не знаю, почему.

Вероятно, решилась, бессознательно понялась близость неотвратимого несчастия с выстрела Принципа.

Мы стояли в саду, у калитки. Говорили с мужиком. Он растерянно лепетал, своими словами, о приказе приводить лошадей, о мобилизации... Это было задолго до 19 июля. Соня слушала молча. Вдруг махнула рукой и двинулась:

Ну, — словом, — беда!

В этот момент я почувствовала, что кончено. Что действительно — беда. Кончено.

А потом опять робкая надежда — ведь нельзя: Невозможно! Невообразимо!

За несколько дней почти все наши уехали в город. Должны были вернуться вместе в субботу, к нам. Нам предстояли очень важные разговоры, может быть — решения...

Но утром в субботу явилась Т. — одна. «Я за вами. Поедемте в город сегодня». — «Зачем?» — «Громадные события, война. Надо быть всем вместе». — «Тем более, отчего же вы не приехали все?» — «Нет, надо быть со всеми, народ ходит с флагами, подъем патриотизма...»

В эту минуту — уже помимо моей воли — решилась моя позиция, мое отношение к событиям. То есть коренное. Быть с несчастной, не понимающей происходящего, толпой, заражаться ее «патриотическими» хождениями по улицам, где еще не убраны трамваи, которые она громила в другом, столь же неосмысленном «подъеме»? Быть щепкой в потоке событий? Я и не имею права сама одуматься, для себя осмыслить, что происходит? Зачем же столько лет мы искали сознания и открытых глаз на жизнь?

Нет, нет! Лучше, в эти первые секунды, — молчание, покров на голову, тишина.

Но все уже сошли с ума. Двинулась Сонина семья с детьми и старой теткой Олей. Неистовствовал Вася-депутат.

И мы поехали сюда, в Петербург. На автомобиле.

Неслыханная тяжесть. И внутреннее оглушение. Разрыв между внутренним и внешним. Надо разбираться параллельно. И тихо.

Присоединение Англии обрадовало невольно. «Она» будет короче...

Сейчас Европа в пламенном кольце. Россия, Франция, Бельгия и Англия — против Германии и Австрии...

И это только пока. Нет, «она» не будет короткой. Напрасно надеются...

Смотрю на эти строки, написанные моей рукой, — и точно я с ума сошла. Мировая война!

Сейчас главный бой на западе. Наша мобилизация еще не закончена. Но уже миллионы двинуты к границам. Всякие сообщения с миром прерваны:

Никто не понимает, что такое война, — во-первых. И для нас, для России, — во-вторых. И я еще не понимаю. Но я чую здесь ужас беспримерный.

2 августа

Одно, что имеет смысл записывать, — мелочи. Крупное запишут без нас.

А мелочи — тихие, притайные, все непонятные. Потому что в корне-то лежит Громадное Безумие.

Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы, — но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы смеем (по совести) быть патриотами просто... Любить Россию, если действительно, — то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь... настоящая.

Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу государство российское? Если оно — против моего народа на моей земле?

Нет, рано об этом. Молчание.

В летнем Петербурге почти никого не было. Но быстро начали съезжаться, стекаться.

То там, то здесь собираемся. Большинство политиков и политиканствующих интеллигентов (у нас ведь все политики) так сбились с панталыку, что городят мальчишеский вздор. Явно, всего ожидали — только не войны. Как-то вечером собрались у Славинского. Народу было порядочно. Карташев, со своими славянофильскими склонностями, очень был в тоне хозяина.

Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы... самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!). Военная победа — укрепить самодержавие... Приводились примеры... верные. Только... не беспримерно ли то, что сейчас происходит?

Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыши новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

Керенский, который стоял направо, рядом со мною и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность!») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и так же кончил «за союзников». Но видно, что и он еще в полноте своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может, просто потому, что у него не та физиология, он слишком революционер. А я начинаю прощупывать, что тут какое-то «или-или»... Впрочем, рано, потом.

Но, конечно, Керенский не угнетен той многосложнейшей задачей разрешить! свое отношение к войне, какая стоит перед иными из нас. Революция и война — это все еще только одна из полярностей...

Очень важная, однако. Керенский не очень умен, но чем-то он мне всегда был особенно понятен и приятен, со всем своим мальчишески-смелым задором.

Да, а для нас еще пора молчания... И как жаль, что Карташев уже без оглядки внесся в войну, в проклятия немцам, в карту австрийских славян...

Мой неизменный Архип Белоусов (мужик-рабочий) мне пишет: «Душа моя осталась верна себе, я только невольно покорюсь войне, что действительно надо». (Он полутолстовец, интересный, начитанный фантазер.)

Швейцар наш говорит жене: «Что ж поделаешь, дело обчее, на всех враг пошел, всех защитить надо».

Володя-студент перешагнул через горе матери: «Да, это эгоизм, но я все равно пойду, не могу не идти», — и уехал вчера с преображенцами.

Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: «...надо доконать эту гидру». Всякие «гидры» теперь исчезли, и «революции», и «жидовства», одна осталась: Германия. Щеголев сделался патриотом, ничего кроме «ура» и «жажды победы» не признает.

Е., который, по его словам, все войны отрицает, эту настолько признает, что все пороги обил, лишь бы «увидеть на себе прапорщичий мундир». (Не берут, за толщину, верно!)

Тысячи возвращающихся с курортов через Швецию создали в газетах особую рубрику: «Германские зверства». Возвращения тяжкие, непередаваемые, но... кто осуждает? Тысячными толпами текут евреи. Один, из Торнео, руку показывал: нет пальца. Ему оторвали его не немцы,

а русские — на погроме. Это — что? Или евреи не были безоружны? А если и мы звери... кому перед кем кичиться?

Впрочем, теперь и Пуришкевич признает евреев и руку жмет Милюкову.

Волки и овцы строятся в один ряд, нашли третьего, кого есть.

Эта война... Почему вообще война, всякая, — зло, а только эта одна — благо?

Никто не знает. Я верю, что многие так чувствуют. Я, нет. Да и мне все равно, что я чувствую. То есть я не имею права ни слова ей, войне, сказать, пока только чувствую. Я не верю чувствам: они не заслуживают слов, пока не оправданы чем-то высшим. И не закреплены правдой.

Впрочем, не надо об этом. Проще. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. «Или всегда можно убить, или никогда нельзя». Да, если нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если все это есть — так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить «да» или «нет». И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума — «нет». Или могу молчать. Даже лучше, вернее — молчать.

А если слово — оно только «нет». Эта война — война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо.

29 сентября

Война.

Разрушенная Бельгия (вчера взяли последнее — Антверпен), бомбы над родным Парижем, Notre Dame, наше неясное положение со взятой Галицией, взятыми давно немцами польскими городами, а завтра, быть может, Варшавой... Генеральное сражение во Франции — длится более месяца. Ум человеческий отказывается воспринимать происходящее.

«Снижение» немцев, в смысле их всесокрушающей ярости, не подлежит сомнению. Реймс, Лувен... да то это

перед красной водой рек, перед кровью, буквально стекающей со ступеней того же Реймского собора?

Как дымовая завеса висит ложь всем-всем-всем и натуральное какое-то озверение!

У нас в России... странно. Трезвая Россия — по манию царя. По манию же царя Петербург великого Петра — провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнут некий Николоград — по казенному «Петроград». Толстый царедворец Витнер подсунул царю подписать: патриотично, мол, а то что за «бург», по-немецки (?!).

Худо, худо в России. Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут. Там, на Западе, ни народу, ни правительству не стыдно сближаться в этом, уже необходимом, общем безумии. А мы! А нам!

Тут мы покинуты нашими союзниками.

Господи! Спаси народ из глубины двойного несчастия его, тайного и явного!

Я почти не выхожу на улицу, мне жалки эти, уже подстроенные, патриотические демонстрации с хоругвями, флагами и «патретами».

30 сентября

Главное ощущение, главная атмосфера, что бы кто ни говорил, — это непоправимая тяжесть несчастия. Люди так невмерно, так невместимо жалки. Не заслоняет этого историческая грандиозность событий. И все люди правы, хотя все в разной мере виноваты.

Сегодня известия плохи, а умолчания еще хуже. Вечером слухи, что германцы в 15 верстах от Варшавы. Жителям предложено выехать, телеграфное сообщение прервано. Говорят — наш фронт тонок. Варшаву сдадут. Польша несчастная, как Бельгия, но тоже не одним, а двумя несчастиями. У Бельгии цела душа, а Польша распята на двух крестах.

Мало верят у нас главнокомандующему — Ник<олаю> Ник<олаевичу> Романову. Знаменитую его прокламацию о «возрождении Польши» писали ему Струве и Львов (редактировали).

Царь ездил в действующую армию, но не проронил ни словечка. О, это наш молчальник известный, наш «charmeur»[29], со всеми «согласный» — и никогда ни с кем!

Убили сына К. Р. — Олега.

Я подло боюсь матерей, тех, что ждут все время вести о «павшем». Кажется, они чувствуют каждый проходящий миг, цепь мгновений сквозь душу продергивается, шершаво шелестя, цепляясь, медленно и заметно.

Едкая мгла все лето нынче стояла над Россией, до Сибири — от непрерывных лесных и торфяных пожаров. К осени она порозовела, стала еще более едкой и страшной. Едкость и розовость ее тут, день и ночь.

Москва в повальном патриотизме, с погромными нотками. Петербургская интеллигенция в растерянности, работе и вражде. Общее несчастие не соединяет, а ожесточает. Мы все понимаем, что надо смотреть проще, но сложную душу не усмиришь и не урежешь насильно.

14 декабря

Люблю этот день, этот горький праздник «первенцев свободы». В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался «Петербург». Уж очень-очень мне оскорбителен «Петроград», создание «растерянной челяди, что, властвуя, сама боится нас...». Да, но «близок ли день», когда «восстанет он» —

...Все тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,

[29] Чародей (*фр.*).

Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..

Но это грех теперь — писать стихи. Вообще, хочется молчать. Я выхожу из молчания, лишь выведенная из него другими. Так, в прошлом месяце было собрание Рел.-Фил. Общества, на котором был мой доклад о войне. Я говорила вообще о «Великом Пути» истории (с точки зрения всехристианства, конечно), об исторических моментах как ступенях — и о данном моменте, конечно. Да, что война — «снижение»[30], — это для меня теперь ясно. Я ее отрицаю не только метафизически, но исторически... т. е. моя метафизика истории ее, как таковую, отрицает... и лишь практически я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя глупую кличку «пораженки». На войну нужно идти, нужно ее «принять»... но принять — корень ее отрицая, не затемняясь, не опьяняясь; не обманывая ни себя, ни других — не «снижаясь» внутренно.

Нельзя не «снижаясь»? Вздор. Если мы потеряем сознание, — все и так полусознательные — озвереют.

Да, это отправная точка. Только! Но непременная.

Были горячие прения. Их перенесли на следующее заседание. И там то же. Упрекали меня, конечно, в отвлеченности. Карташев моими же «воздушными ступенями» корил, по которым я не советовала как раз ходить. Это пусть! Но он сказал ужасную фразу: «...если не принять войны *религиозно*...»

Меня поддерживал, как всегда, М. и мой большой единомышленник по войне и антинационализму (зоологическому) — Дмитрий[31].

---

[30] Слово, которое теперь так любят большевики, беря его в «товарном» смысле, было употреблено мною впервые, в этом докладе, и обозначало внутреннее, духовное падение, понижение уровня человеческой морали. (*Примеч. 1927 г.*)

[31] Д. С. Мережковский.

Сложный вопрос России, конечно, вставал очень остро...

Эти два заседания опять показали, как бессмысленно в конце концов «болтать» о войне. Что знаешь, что думаешь — держи про себя. Особенно теперь, когда так остро, так больно... Такая вражда. Боже, но с каким безответственным легкомыслием кричат за войну, как безумно ее оправдывают! Какую тьму сгущают в грядущем! Нет, теперь нужно

«Лишь целомудрие молчания —
И, может быть, тихие молитвы...»

1 апреля, 1915

Не было сил писать. Да и теперь нет. Война длится. Варшаву немцы не взяли, отрезали пол-Польши. А мы у австрийцев понабрали городов и крепостей. И наводим там самодержавные порядки. Дарданеллы бомбардируются союзниками.

Нигде ничего нет, у немцев — хлеба, а у нас — овса и угля (кажется, припрятано).

Эта зима — вся в глухом, беспорядочном... даже не волнении, а возбуждении каком-то. Сплетаются, расплетаются интеллигентские кружки, борьба и споры, разделяются друзья, сходятся враги... Цензура свирепствует. У нас частые сборища разных «групп», и кончается это все-таки расколом между «приемлющими» войну и «до победы» (с лозунгом «все для войны», даже до Пуришкевича и далее) — и «неприемлющими», которые, однако, очень разнообразны и часто лишь в этом одном пункте только и сходятся, так что действовать вместе абсолютно неспособны.

Да и как действовать? «Приемлющие» рвутся действовать, помогать «хоть самому черту, не только правительству», и... рвутся тщетно, ибо правительство решительно никого никуда не пускает и «честью просит» в его дела носа

не совать; никакая, мол, мне общественная помощь не нужна. А если вы так преданны — сидите смирно и немо покоряйтесь, вот ваша помощь.

Отвечено ясно, а патриоты интеллигентные не унимаются. Даром, что все «седые и лысые».

От седых и лысых я, по воскресеньям, перехожу к самой зеленой молодежи: являются всякие студенты-поэты, студенты просто, гимназисты и гимназистки, всякие мальчики и девочки.

Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к жизни относятся, и навожу их на споры о войне и политике, — ничуть их не поучая, впрочем. Мне интересно, что они сами думают, какие они есть, а педагогика всякая мне скучна до последней степени. Смотрю — пока мне любопытно, люблю умных и настоящих и равнодушно забываю ненужных.

Отношение к войне у многих очень хорошее, трезвое, свежее, сознательное.

О, война! Тяжесть и утомление мира неописуемы. Такого в истории мы еще не видали.

Немцы ничего не взяли, кроме Бельгии. И куска Польши. Невозможен мир... но и война тоже?

28 апреля

Глупо здесь писать о войне, о том, что пишут газеты.

А газеты, притом, врут отчаянно. Положение такое, что ни у кого, кажется, нет кусочка души не раненой.

Как будто живешь, как будто «пьеса» да «пресса», а в сущности Фата-Моргана.

Но я заставляю себя коснуться и Фата-Морганы, чтобы отдохнуть от газетно-протокольного.

Вот хотя бы истории моей пьесы «Зеленое кольцо» в Александринке. Ведь все было готово для ее постановки, директор одобрил, Мейерхольд начал работу, как вдруг...

профессора из Москвы признали ее безнравственной! Чтобы пройти официальный этап — Литературный комитет — и пройти с деликатностью (в здешнем сидит Дмитрий), я послала ее в Московский комитет. И там, всячески расхвалив пьесу с художественной стороны, — решили, что она — неморальна, ибо «автор отдает предпочтение молодым перед пожилыми». Честное слово! Также то «не морально», что молодежь читает Гегеля и занимается историей!

Ну, тут пошел скандал. Директор вытребовал этот комический протокол. Начали думать, как покелейнее старичков оборвать. В это время началась война, все спуталось; я и сама думать забыла о всяких пьесах. Но перед Рождеством случилась неожиданность. Савина прочитала мою пьесу (ей случайно послал Мейерхольд) и — возжелала ее играть! Играть Савиной там немного чего было, полумолодая роль матери, всего в одном действии, хотя роль трудная... Чего захотела царица Александринки — то закон! И пьеса пошла. Савина сама очень интересна. Когда я бывала у нее, с Мейерхольдом, или она ко мне приезжала (еще вот в эту пятницу опять была, очень любопытно рассказывала о Тургеневе и Полонском), — я старалась, чтобы она не столько о моей пьесе говорила, сколько вообще, о себе, чтобы проявлялась, такое она талантливо-художественное явление. Жалею, что мало записывала из ее бесед.

Однако дотянули премьеру до 18 февраля. Ей предшествовал гам в газетах (как же: Мейерхольд, Савина, Гиппиус — вот так соединение! Муравейнику, при цензуре неслыханной, как на это не кинуться.) Сама премьера прошла очень обыкновенно, то есть одни в восторге, другие в ненависти, газеты в неистовстве. Савина играла, конечно, не мою героиню, а свою, и, конечно, очень талантливо. Декорация второго акта (заседание «юных») очень хороша: звезды в длинных, черных, зимних окнах. Но актеры

нервничали и были лучше на генеральной репетиции. (Из первых — я была всего на одной, на вечерней, с Блоком. Так что «кухни» почти не видала.)

А на генеральную мы любопытно ехали.

Утром, — поэтому я, конечно, опаздываю, Дмитрий уехал раньше, автомобиль тоже опаздывает, и мы выходим на улицу часу в первом.

Садимся в автомобиль — вдруг идет Керенский, довольно грустный и кислый (он болен последнюю зиму), — от решетки Таврического сада, от Думы.

— Куда это вы?

Д. В. объясняет. А у меня мысль.

— Да поедемте с нами!

Я, признаться, вовсе не для пьесы повлекла Керенского: он как-то у нас находится не в том плане жизни, где пьеса, книги, литература. Совсем в другом (хотя очень важном). Но с нами ехала К. (она, наконец, легально была в России, отвоеванная Д. В. у Белецкого перед войной). Как же Керенского не познакомить с К, если пока нельзя с Ел.!

Они, кажется, отлично познакомились.

Приехали в театр ко второму действию. Там пришлось бегать за кулисы, туда-сюда, в антракте даже не помню, видела ли Керенского.

Домой вернулись усталые, поздно. Звонят рецензенты насчет билетов и всяких пустяков. Потом вдруг приносят букет красных, цветов и записку. Читаем все, с К., — и никак не можем ни записки прочесть (такие каракули), ни даже понять, от кого она. Наконец, по теории исключения всех других возможных, убеждаемся, что она от Керенского. Скажите пожалуйста! Да еще такая восторженная! Впрочем, в нем есть что-то гимназическое, мальчишеское, в нем самом, что, должно быть, и мило в нем. И это и приблизило к нему моих героев «Зеленого кольца». А подлинное его революционство заставило, быть может,

почувствовать цензурно-скрытую остроту этой пьесы. Ну, а записку целиком мы так и не могли прочесть. Написал! «Еще раз целую Ваши руки — я волновался как мальчик это (...) Вы (...) молодых и взволновали (...) сколько (?) больного (...)» Остальные слова — неисследимы.

Отмечаю отношение Керенского потому, что оно было неожиданно, а неистовая злость «старых» и всяческий восторг «юных» — как по мерке.

Да, да, все это Фата-Моргана, пустое, несуществующее. Разве писать попроще, фактическое содержание дней только? Не удержишься в этих рамках. Ведь, кроме главного центра — вокруг закишели всякие «вопросы», точно издевающиеся: польский, еврейский, государственный вообще и в частности, экономический вообще и в частности... (При этом замечательно, что нет «русского» вопроса. Честное слово, нет, в его надлежащей постановке.)

В воскресенье днем — наплыв молодежи. И «Зел<еное> кольцо», и масса «поэтов». Много полуфутуристических (вполне футуристических я не пускаю; они грязны, топотливы и грубы. Еще стащат чего-нибудь.) Потом приехал Немирович-Данченко. Опять театр!

Вчера — совсем другой «план», куча всяких «интеллигентов» («седые и лысые» в большинстве). Между прочим, Горький.

Хотят новое Англо-Русское О<бщест>во создать, не консервативное. Я люблю англичан, но я так ярко понимаю, что они нас не понимают (и не очень хотят), — что как-то немею при всяком сближении и замыкаюсь. Что-то вроде покорной гордости.

Конечно, из этой затеи О<бщест>ва опять ничего не выйдет. Их сколько, начатых «дел» у нашей отстраненной от всяких дел интеллигенции!

Богучарский смертельно болен. Я ему сейчас не завидую, но когда он умрет — и привыкнет «там» — о, как я ему буду завидовать!

Богучарский удивительно хороший человек. Он — «приемлющий» войну, он один из тех, кто рвался «делать», помогать России, сжав зубы, несмотря на правительство, неделанию этому все время правительство мешало. Ведь даже стариннейшее Вольно-Экономическое О<бщест>во закрыли!

Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т. д. и т. д. О, Москва, непонятный и часто неожиданный город, где-то восстание — то погром, то декадентство — то ура-патриотизм, — и все это даже вместе, все дико и близко связано общими корнями, как Герцен, Бакунин и — Аксаковская славянофильщина.

У нас цензура сейчас — хуже николаевской раз в пять. Не «военная» — общая. Напечатанное месяц тому назад — перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурует генерал Дракке... Очень этичен и строг.

Скрябин умер. Многие, впрочем, умерли. Сыновья З. Ратьковой живы, на войне.

Не успеешь с кем-нибудь поспорить — он уже на войне.

Белая ночь глядит мне в глаза. Небо розовое над деревьями Таврического сада, тихими, острыми. Вот-вот солнце взойдет. Есть на что солнцу глядеть. Есть нам что ему показать. А еще говорят — «солнцу кровь не велено показывать...»

Все время видит оно — кровь.

15 мая

Все более и более ясные формы принимает наш внутренний ужас, хотя он под покрывалом, и я лишь слепо ощупываю его. Но все-таки я нащупываю, а другие и притронуться не хотят. Едва я открываю рот, — как «реальные» политики накидываются на меня с целой тьмой возражений, в которой я, однако, вижу роковую тупость.

Да, и до войны я не любила нашу «парламентскую оппозицию», наших кадетов. И до войны я считала их умными, честными... простофилями, «благородными иностранцами» в России. Чтобы вести себя «по-европейски», — и чтобы это было кстати, — надо позаботиться устроить Европу... Но что я думала до войны — это неважно, да неважны и мои личные симпатии. Я говорю о теперешнем моменте и думаю о кадетах, о нашей влиятельной думской партии, с точки зрения политической целесообразности. Я сужу их линию поведения, насколько могу объективно, и — увы — начинаю видеть ошибки фатальные.

Лозунг «Все для войны!» может, при известной совокупности обстоятельств, звучать прежде всего как лозунг «Ничего для победы!» Да, да, это кажется дико, это то, чего никогда не поймут союзники, ибо это русский язык, но... как русские не понимают?

Боюсь, что и я этого... не хочу до конца понять. Ибо — какой же вывод? Где выход? Ведь революция во время войны — помимо того, что она невозможна, — как осмелиться желать ее? Мне закрывают этим рот. И значит, говорят далее, — думать только о войне, вести войну, не глядя, с кем ради нее соединяешься, не думая, что ты помогаешь правительству, а считая, что правительство тебе помогает... Оно плохо? Когда пожар — хватай хоть дырявую пожарную кишку, все-таки помощь...

Какие слова-слова-слова! Страшно, что они такие искренние — и такие фатально-ребяческие! Мы двинуться не можем, мы друг к другу руки не можем протянуть, чтобы по пальцам не ударили, и тут «считать», что «мы» ведем войну («народ!») и только берем снисходительно помощь от царя. Кого обманывают? Себя, себя!

Народ ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. Да если б вдруг, сейчас,

и смогли... пожалуй, не сумели бы. Столетия разделили нас не плоше Вавилонской башни.

Но что гадать — вот данное. Мы, — весь тонкий, сознательный слой России, — безгласны и бездвижны, сколько бы ни трепыхались. Быть может, мы уже атрофированы. Темная толща идет на войну по приказанию свыше, по инерции слепой покорности. Но эта покорность — страшна. Она может повернуть на такую же слепую непокорность, если между исполняющими приказы и приказывающими будет вечно эта глухая пустота — никого и ничего. Или еще, быть может, хуже... Но я «восхищаю недарованное», оформливаю еще бесформенное. Подождем.

Скажу только, что народ не хочет войны. Это у него верный инстинкт — кто же хочет войны. Первично-примитивно, если душу открыть. Это вечно-верно, не хочу войны. Вернее, так: никому не хочется войны. Для того, чтобы сказать себе: да, не хочется, и праведно не хочется, но вот потому-то и поэтому-то — надо, неизбежно, и я моей разумной волей, на этот час, побеждаю это «не хочется», хочу делать то, что «не хочется», для такой примитивной работы внутренней нужен проблеск сознания.

А сознания у народа ни проблеска нет. То, что говорят ему, к сознанию не ведет. Царь приказывает — они идут, не слыша сопроводительных, казенно-патриотических, слов. Общество, интеллигенция говорят в унисон, те же и такие же патриотически-казенные слова; т. е. «приявшие войну», а не «приявшие» физически молчат, с начала до конца, и считаются «пораженцами»... да, кажется, растерялись бы, испугались бы, дай им вдруг возможность говорить громко. «Вдруг» нужных слов не найдешь, особенно если привык к молчанию.

Разве между собою мы, сознательные, находим нужные слова? Вот, недавно, у нас было еще собрание. Интеллигенция, не пристающая ни к кадетам, ни к революционерам

(беру за одну скобку левые партии). Это — так называемые «радикалы». Они большею частью у нас из поправевших эсдеков.

(К ним, в сущности, принадлежал и Богучарский. Он умер, умер Богучарский.)

Но довольно странно, что тут же очутился и Горький. И даже в таких близких настроениях, что как будто вместе они все строят новую «радикально-демократическую» партию. Это и был главный вопрос собрания. Странно насчет Горького потому, что он давнишний эсдек (насколько он в политике сознателен... Мало!). Были кое-кто из нетвердых кадетов... были все наши «седые и лысые». Была Кускова. Единственная «умная» женщина, одна и на Петербург, и на Москву (она живет в Москве). Умная! Необыкновенно непроницательная, близорукая в той же политике.

Я забыла сказать, что зимой, когда сдвинулись особенно все «вопросы» (польский, еврейский и т. д.) и когда я сказала, что признаю первым и главным — вопрос русский, это дало кому-то мысль образовать еще одну группу — «русскую». Сказано — сделано, готово! Есть русская группа. О мысли такой группы мы не очень подробно сговорились. Некоторые, как М., Керенский и, отчасти, Дмитрий, поняли «группу» в моем смысле, т. е. как наш русский вопрос, — наш внутренний, и наше к нему отношение в данный момент, при войне. Коренной неизбывный вопрос, от разрешения которого зависят автоматически все другие. Поэтому важен так был Керенский, позиция которого мне все больше и больше нравится.

На первом же собрании выяснилось, что многие совсем не понимают, в чем суть. А иные, как, например, Карташев, со своей национальной тягой, склонны были сделать из этой «группы», — членами которой мнили только по крови русских, — зерно какой-то педагогической академии, где бы

интеллигенция петербургская поучалась националистическим чувствам. Помню, как твердокаменный Ник<олай> Дим<итриевич> Соколов завел длинную шарманку о... федерализме. Дмитрий о самодержавии (не в практических тонах), Карташев свое, Керенский, конечно, свое и верное, но сбивчиво, и только бегал из угла в угол, закуривал и бросал папироску, загорался и гас. М. поручено было составить записку по существу вопроса, я взялась помогать, но как-то уж видно было, что толку дальнейшего не будет. И не было. Записку мы, однако, написали. В очень осторожных тонах, не помню ее точно, помню лишь, что там говорилось о некоторых допустимых и при войне действиях на правительство, но революционного порядка, в виду того, что положение ухудшается; что если даже во время войны не будет никаких неорганизованных, стихийных внутренних вспышек, — а они возможны, — то после войны пожар неизбежен; а чтобы он не был стихийным, — об организованном деле надо думать теперь же. Уже с этого момента.

Почему-то записка никуда не попала (не помню почему), и лишь на этом последнем «радикально-демократическом» собрании, у нас, М. ее прочел.

Изумительно, что ни Горький, ни Кускова, ни один «седой и лысый» даже не поняли, о чем речь! Даже никакого «вопроса» не усмотрели! Кускова объявила, что это все «старое», а т. к. война будто бы все изменила, то и все углы зрения должны быть другими. Впрочем, Кускова и раньше, когда была у нас одна, на мой окольный вопрос: «Как бы у нас да не было революции?» — сказала твердо:

— Никакой революции ни под каким видом не будет.

— А что же будет?

— Enrichissez vous[32], вот что будет.

---

[32] Обогащайтесь (*фр.*).

Пожала плечами. Принялась рассказывать о ростовских спекуляциях.

Я — воистину не знаю, что будет (вот «радикально-демократической» партии, да еще с Горьким, — наверно не будет!) Но я щурю глаза, и вижу — темно в красном тумане войны. Все в нем возможности. Зачем себя обманывать? Еще страшнее, если неожиданно вдруг будет что-нибудь...

Я боюсь сказать несправедливое о наших «либералах», но очень, очень я их боюсь. Уж очень они слепы... а говорят, что видят.

Керенского не было среди «радикалов».

Я знаю, что кадеты в Думе уже покрыли п-во...

28 мая

Не хочется писать, приневоливаю себя, записываю частные вещи.

Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне с первого момента. И так бездарно, один стыд сплошной. Об А. я и не говорю. Но Брюсов! Но Блок! И все, по нисходящей линии. Не хватило их на молчание. И наказаны печатью бездарности.

А вот был у нас Шохор-Троцкий. Просил кое-кого собрать — привез материал, «Толстовцы и война». Толстовцы ведь теперь сплошь в тюрьмах сидят за свое отношение к войне. Скоро и сам Шохор садится.

Собрались. Читал. Иное любопытно. Сережа Попов со своими письмами («брат мой околоточный»), с ангельским терпением побоев в тюрьмах — святое дитя. И много их, святых. Но... что-то тут не то. Дети, дети! Не победить так войну!

Потом пришел сам Чертков.

Сидел (вдвоем с Шохором) целый вечер. Поразительно «не нравится» этот человек. Смиренно-иронический.

Сдержанная усмешка, недобрая, кривит губы. В нем точно его «изюминка» задеревенела, большая и ненужная. В не бросающейся в глаза косоворотке. Ирония у него решительно во всем. Даже когда он смиренно пьет горячую воду с леденцами (вместо чая с сахаром) — и это он делает как-то иронически. Так же и спорит, и когда ирония зазвучит нотками пренебрежительными — спохватывается и прикрывает их — смиренными.

Не глуп, конечно, — и зол.

Он оставил нам рукопись — «Толстой и его уход из Ясной Поляны», — ненапечатанную, да и невозможную к печати. Думаю, даже и в Англии. Это как будто объективный подбор фактов, скрепленный строками дневника самого Толстого, — даже в самый момент ухода. Рукопись потрясающая и... какая-то «немыслимая». В самом факте ее существования есть что-то невозможное. Оскорбительное... для кого? Для Софьи Андреевны? В самом подборе видна злобная к ней ненависть Черткова... Для Толстого, может быть? Не знаю. Кажется, — для любви Толстого к этой женщине.

На рукописи прегадкая надпись — просьба Черткова «ничего отсюда не переписывать».

Мне бы и в голову не пришло сделать такую вещь, но, при надписи, я чуть-чуть нарочно не сделала, и если кое-чего не переписала — то исключительно из лени, из отвращения ко всякой «переписке».

Перо Черткова подчеркивает «убийственные» деяния Софьи Андр<еевны>. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. Вплоть до шаренья по карманам. И тяжелые сцены. А когда будто бы кто-то сказал ей: «Да вы убиваете Льва Николаевича»! Она ответила: «Ну, так что ж! Я поеду за границу! Кстати, я там никогда не была!»

Любопытно, что это, вероятно, правда, т. е. так, вероятно, она и ответила, только... под пером Черткова это

звучит зверски, и никто иначе, как зверскими, этих слов не услышит; а я вот иными могу их представить; вот близкими к тем словам, которые она мне сказала на балконе Ясной Поляны, в холодный майский вечер, в 1904 году. Мы стояли втроем, я, Дмитрий и она, смотрели в сумеречный сад. Я, кажется, сказала, что мы — на дороге за границу, едем туда прямо из Москвы. Софья Андреевна, с живой быстротой полусерьезной шутки, возразила: «Нет, нет, вы лучше оставайтесь здесь, у Льва Николаевича, а я поеду с Дмитрием Сергеевичем за границу; ведь я там никогда не была!»

И если представить себе, что в ответ на упрек «кого-то», очевидно, ненавистного, С. А. назло кинула привычную фразу, — то несомненное ее «зверство» несколько затмится... Но, конечно, я С. А. не оправдываю. (Раз уж меня тянут к суду над ней чертковскими «фактами».) В ночь ухода Толстой (по словам его собственного дневника) уже лежал в постели, но не спал, когда увидел свет из-за чуть притворенной двери в кабинете. Он понял, что это С. А. опять со свечой роется в его бумагах, ищет опять завещание. Ему стало так тяжело, что он долго не окликал ее. Наконец, все-таки окликнул, и тогда она вошла, как будто только что встала «посмотреть, спокойно ли он спит», ибо «тревожилась о его здоровье». Эта ложь (все по записи Толстого) была последней каплей всех домашних лжей, которая и переполнила его чашу терпения. Тут замечательный, страшный штрих в дневнике. Подлинных слов не помню, но знаю, что он пишет, как сел на кровати еще в темноте, один (С. А., простившись, ушла) и стал считать свой пульс. Он был силен и ровен.

После этого Толстой встал и начал одеваться тихо-тихо, боясь, что «она» услышит, вернется.

Остальное известно, через полтора часа его уже не было в Ясной Поляне. Ушел от лжи — навстречу смерти.

Как все-таки хорошо, что он уже умер! Что он не видит этого страшного часа — этой небывалой войны. А если и видит... то он ему не страшен, ибо он понимает... а мы, здесь, ничего!

23 июля

Мы скачем на автомобиле с одной дачи на другую. Там, по Балтийской дороге, нельзя было оставаться. Далеко, глухо, а время такое тревожное. Пока мы в Спб-ге, а потом поедем недалеко, в старое имение екатерининских времен — Ковдорово, по царскосельскому шоссе.

Более мутного момента еще не было за год войны. Вероятно, не было и за всю жизнь нашу, и за жизнь наших отцов.

Мы отдали назад всю Галицию (это ничего), эвакуирована Варшава. Взята Либава, Виндава, кажется, Митава, очищена Рига. Сильнейшее наступление на нас, а у нас... нет снарядов!

Это знала думская оппозиция уже в январе! И тогда было условлено — молчать! Вот когда в первый раз кадеты сознательно прикрыли правительство.

Впрочем, об этом лучше меня будет рассказано в истории.

19-го собралась Дума — правительство сдалось тут, отчего же? Но действует все время надвое, тишком. Посменяло министров, одних ворон на других и... больше ничего не хочет или не может.

На двух уже бывших заседаниях — без счету патриотических слов. Левые были бесплодно резки. Так воспитаны, что умеют только жаловаться, притом всегда несколько отвлеченно. «Государственный муж» Милюков произносил прекрасные слова, но... ответственного министерства не требовал. Воздержание, при всех обстоятельствах, его главное свойство.

Сказать по правде — положение так сложно, что я разобраться хоть первичным образом, хоть для себя — еще

не могу. А нужно сделать это добросовестно и беспристрастно, в соответствии с разумом.

Пока я знаю лишь вот что:

Я знаю, что Россия с данным правительством прилично одолеть немцев — не может. Это уже подтверждено событиями. Это — несомненно и бесповоротно. А как одолеть правительство — я не знаю. То есть не вижу еще конкретных путей для конкретных людей, которых тоже не вижу. Кто? Какие?

Не понимаю (честно говорю это себе) и боюсь, что все запутались, все ничего не понимают. Какое время!

Мыза Коврово
Запись в белой тетрадке

Общественный дневник

(Август — сентябрь 15 г.)

(Одна из современных позиций)

На том, что стало ясно для всех, не будем останавливаться. Но далеко еще не все ясно. Нет меры ясности, которой требует сегодняшний день. Жизнь учит нас заботливо, но мы не привыкли разгадывать ее темный язык.

Благодаря нашему воспитанию (или нашей невоспитанности) мы — *консервативны*. Это наше главное свойство. Консервативны, малоподвижны, туги к восприятию момента, ненаходчивы, несообразительны, как-то оседлы — все, сверху донизу, справа долева. Жизнь бежит, кипя, мы — будто за ней, но не поспеваем, отстаем, ибо каждый заботится прежде всего, как бы не потерять своего места. Соотношение сил этим сохраняется, пребывает. Но какие силы в пустоте? Марево: жизнь ушла вперед.

Одинаково консервативны в этом смысле: и Дурново, и Милюков, и Чхеидзе. Я беру три имени не лично, а общеопределительно, как три ясных линии политических.

Что ни происходит, как ни толкает, ни вертит, ни учит жизнь —
Дурново все так же требует «держать и не пущать»,
Милюков все так же умеренничает и воздерживается,
Чхеидзе все так же предается своим прекрасным утопиям.

В обычное время деятельность Дурново весьма вредна, деятельность Милюкова весьма полезна, а Чхеидзе — почтенна. Так было. Но так уже не есть, ибо сейчас есть то, чего не было, — есть война. И все изменилось. В новом, багровом, луче изменились все цвета.

Установим исходную точку. Исходная точка — необходимость защиты и сохранения России, самостоятельной жизни русского народа. То есть — успешное продолжение и окончание борьбы с Германией.

Рассматривая под этим знаком тройственную линию нашего политического консерватизма, мы должны иначе оценивать деятельность каждой из трех групп.

Деятельность «Дурново» так вредила России и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этого открыт, губительность его, кажется, ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако вред продолжается...

Деятельность «Милюкова» — полезна ли она в данный час России и ее первой задаче — успешной обороне?

Нет, не полезна, и вот почему: она попустительна ко вреду. Есть моменты истории, когда позиция «умеренности» преступна, как позиция предательства. Жизнь разжевала и в рот положила «умеренным» горький плод их «январского молчания»; но и поныне костенеют они в том же своем принципе «понемножку». Они как будто увидели весь яд «Дурново» и видят его продолжающее действие, но все думают, как бы воспрепятствовать ему «повежливее»... Нет, и думание, и делание «умеренной оппозиции» сейчас, прежде всего, не действенно. Оно равняется нулю и останется нулевым практически. А так как, волею времени и совокупных причин, как раз от умеренных требуется сию минуту главное делание (они — в центре политики), то эта пустота — уже не нуль, а делание отрицательное — вред.

А что же деятельность «Чхеидзе», столь «почтенная» в мирное время, то есть — крайних левых наших?

Поскольку она успешна — она опасна, и счастье, что она не успешна. Оторванная от центрально-важных сейчас, левогосударственных, политических кругов, неподвижно-консервативная в себе, деятельность неорганизованных «левых» с подкладкой не политики, а социализма

(то есть внеисторической утопичности) — такая деятельность только и может быть или неуспешна, или вредна.

Правые — и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают.

Средние — понимают, но никуда не идут, стоят, ждут (чего?).

Левые — ничего не понимают, но идут неизвестно куда и на что, как слепые.

Со всеми же вместе что будет? С Россией? Или она уже обречена — за старый и вечный свой грех долготерпения?

Самодержавие... Пока эта точка горит — всего можно ожидать, ни на что нельзя надеяться. (Не долго ли горит, не перегорела ли Россия?)

Непонимающие низы, одни, с этой точкой не справятся. (Если б справились по-своему — то не к добру. Ведь ее и «погасить в уме» надо!)

Умеренные и вежливые верхи — (в своей умеренности) — тоже не справятся. Они со странной нерешительностью все «обхаживают» самодержавие (будто его можно обойти!). Но с них больше спросится, — ой, как спросится! — потому что спасти Россию сейчас можно — не снизу. Ее могли бы спасти только эти политические верхи. Но только в известном контакте, в каком-то сговоре, с крайними левыми, т. е. поступившись известной долей своей умеренности... я не сомневаюсь, что при этом контакте и крайние поступились бы известной долей своей крайности.

Мыза Коврово

Продолжение общественного дневника

3 сентября 15 г.

События развертываются с невиданной быстротой. Написанное здесь, выше, две недели тому назад — уже

старо. Но совершенно верно. События только оправдали мою точку зрения. Неумолимы события.

Теперь уже для большинства видна горящая точка русского самодержавия. Жизнь кричит во все горло: без революционной воли, без акта хотя бы внутренне революционного — эта точка даже не потускнеет, не то что не погаснет. Разве вместе с Россией.

Вчера, 2-го сентября, разогнали Думу. Это сделал царь с Горемыкиным. Причина — главная — знаменитый «думский блок». Он был так бледен, программа так умеренна, что иного результата и нельзя было ожидать. Царь смело разогнал либералов. Опять: «бессмысленные мечтания!» Мечтаний он не боится. Пожалуй, за ними проглядит и другое: голое, дикое и страшное не для него одного, страшное своей полной обнаженностью не только от мечтаний, но и от разума.

Это опасность не пустая. Это — РЕАЛИЗМ.

Картина происшедшего за эти дни — история «блока», вот:

Умеренно левые, те, кого сейчас вынесло на гребень политической волны, стали перед выбором: олибералить правых — или умерить левых.

Казалось бы, органическое влечение к.-д. вправо не должно играть роли в такой момент. Следовало выбирать по разуму путь наиболее практический, действенный.

Однако думские политики к.-д. сделали первый выбор: еще умерив себя самих — они подтянулись к правой середине и правых к ней же подтянули, для блока.

Левые остались, как были, предоставленные себе. Только расстояние между ними и умеренными еще увеличилось.

А блок прекрасных «мечтаний», так естественно названных «бессмысленными», оказался просто бесплодным и для

данной минуты вредным: послужил роспуску Думы, а она была нужна как зацепка, надежда гласности, сдержка левой стихийности.

Умеренные, еще умерившись под блоком, всему покорились. Выслушали указ о роспуске и разошлись.

Все это очень хорошо. Все это, само по себе взятое, прекрасно и может быть полезно... в свои времена. А когда немец у дверей (надо же помнить), все это неразумно, потому что не действительно.

Царь последовательнее всех. Он и возложил всю надежду на чудо.

Пожалуй, других надежд сейчас и нету.

Впрочем, это неинтересно — повторять унылое «надо было»... Важнее знать, что сейчас надо, и хотя это очень трудно знать — попробуем анализировать положение далее.

Вспомним исходную точку: ОТСТОЯТЬ РОССИЮ ОТ НЕМЦЕВ. Уже выяснившееся, непременное условие для этого: немедленная и коренная перемена политического строя.

Не революция, но смена революционного характера, т. е. переломная.

(Все равно он будет же. Несчастие, если его не сделают, а он сделается.)

Теперь: если мы устраним позиции отчаявшихся и пораженцев, — придется стать на одну из двух надежд. Определяю.

Первая: что возможно-таки и при данном положении как-нибудь отстоять Россию от немцев. Без перелома. Допускаю такую надежду, но требую к ней честного отношения. Т. е. приняв ее — уже нельзя действовать одной рукой здесь, другой там, а надо обе руки положить на помощь данной России, данному правительству. (В скобках:

когда надежда осуществится, — если! — то будет честно и последовательно признать, что не очень-то России и далее нужны всякие «переломы».)

Второе положение — исключает первое. Стоит на «переломе», именно как непременном условии для внешнего охранения России, для успешной развязки войны. Тут тоже необходима честность действий, своих.

В обоих положениях — громадный риск провалить главное дело: оборону России. Притом риск громадный одинаково. Надо сделать выбор по разумению, не закрывая глаз на риск. Ведь в неделании выбора — риск и ответственность удваиваются.

И выбор скорый: каждый час, проходящий без выбора (т. е. в двойном риске), ухудшает и утрудняет наше состояние.

Умеренно-левые («Милюков») этого выбора определенно не делали, и лишь созданием «правого блока» они его фактически сделали, т. е. зачеркнули «условие перелома» (при этом они, однако, дозволяют себе платонические оглядки на переломе). Не произнесены ни честное «нет», ни честное «да», и только факт «блока», которому умеренно-левые, ради некоторого олибераленья правых, принесли большие жертвы, — двинул их далеко вправо, — от перелома.

Умеренно-левые наши политики — только они! — имеют организационные способности. И если бы они понесли эти способности, и свое значение, и готовность к жертвам не вправо, а влево, — получилось бы движение к перелому. Ибо возможность перелома находится: влево от умеренных и вправо от левых, как раз между ними.

Правый блок свел возможность осуществления перелома к минимуму.

Наоборот, БЛОК ЛЕВЫЙ, т. е. соединение УМЕРЕННЫХ с ЛЕВЫМИ, и только он один, мог бы найти и действительные средства в осуществлении перелома.

В данном же состоянии действенных, действительных, путей и средств нет ни у кого.

Левые знают свои средства: забастовки, личный террор... Они совершенно не годятся. Каждый час забастовки ослабляет армию; при данном положении этот час может растянуться неопределенно и превратиться в уличные бунты со всеми последствиями (самое страшное).

Между тем, если бы умеренные, приняв искренно и уже безоглядно лозунг «перелома», сблокировались бы с левыми в Думе, — они могли бы приложить к их кругам свои организационные способности и политические навыки.

Получилась бы внутренняя революционная сила, но сама себя сдерживающая от всех несвоевременных выступлений.

Нам сейчас нужен, необходим, — только один рубль. Не надеясь на рубль — умеренные мечтают о сорока пяти копейках. Но смиренно попросить «хоть сорок пять копеечек» — верное средство получить в ответ оплеуху или «дурака».

Потребуйте рубль двадцать. Но требуйте — не просите. Тотчас полезут за кошельком и выложат заветный рубль. Надо, чтобы была опаска: не дашь рубля — весь кошелек возьмут.

От просьб опаска не родится, а от недоброго — добром ничего получить нельзя. Ничего.

Продолжение «Современной записи» в Спб-ге

4 сентября

Мы еще не вернулись совсем в город, приехали всего на несколько дней. Беру свою книгу для записывания хроники. Поразительно все идет «по писаному».

Но сначала общее.

Варшава давно сдана. И Либава, и Ковно. Немцы наступают по всему фронту, все крепости сданы, очищена Вильна, из Минска бегут. Вопрос об эвакуации Петрограда открыт. Тысячная толпа беженцев тянется к центру России.

Внутреннее положение не менее угрожающее. Главнокомандующий сменен, сам царь поехал на фронт.

Думский блок (ведь он от к.-д. до националистов включительно) получил только свое. На первый же пункт программы (к.-д. пожертвовали «ответственным» министерством, лишь попросили, скромно и неопределенно, «министерство, пользующееся доверием страны») — отказ, а затем Горемыкин привез от царя... роспуск Думы. Приказ еще не был опубликован, когда мы говорили с Керенским о серьезном положении по телефону. Керенский и сказал, что в принципе дело решено. Уверяет, что волнения уже начались. Что получены, вечером, сведения о начавшихся забастовках на всех заводах. Что правительственный акт только и можно назвать безумием. (Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком.)

Что же теперь будет? — спрашиваю я под конец.

А будет... то, что начинается с а...

Керенский прав, и я его понимаю: будет анархия. Во всяком случае, нельзя не учитывать яркой возможности неорганизованной революции, вызываемой безумными действиями правительства в ответ на ошибки политиков. «Умеренные» просьбы должны давать правит, реакцию. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума.

А только он спасет Россию. Его нет — и каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности!

Я не устану повторять все то же, все то же: ответственность всецело лежит на кадетах, которые, не понимая момента, выбрали блок с правыми вместо блока с левыми. Борьба с пр<авительст>вом посредством олибераленья правых кругов — обречена на крах. Ведь надо же знать, когда и где живешь, с кем имеешь дело. И это — «политика»? Да зачем, почему, для чего снизошло бы пр<авительст>во к покорнейшим просьбам Милюкова с Шульгиным и с Борисом Сувориным? (Он тоже за блок и «доверие».) Пр<авительст>во не боится никаких разумно-вежливых слов. Анархии не боится, ибо ничего не видит и не понимает. В предупреждение «злоумышленных эксцессов» (видали, мол, виды!) этот рамоли-Горемыкин созвал к себе на днях... всех градоначальников. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства, но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы — газеты запишут усиленно о театре.

Правительство, в конце концов, не боится и немцев.

Но неужели наши главные «политики», наши думцы, кадеты, неужели они о сю пору еще не убедились бесповоротно, что:

БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ П<РАВИТЕЛЬСТ>ВА НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ НАШЕСТВИЕ НЕМЦЕВ, КАК НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕССМЫСЛЕННОЕ ВОССТАНИЕ?

Я хочу знать; это нужно знать; ибо если они в этом еще не твердо убеждены и действуют, как действуют, — то они только легкомысленные, ошибающиеся люди; а если убеждены, и все-таки по-своему, бесплодному (вредному) действуют, — они преступники.

Так или иначе — ответственность лежит на них, ибо, по времени, им должно действовать.

В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы.

Атмосфера зараженная, нервная и... беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе... Всякий день пахнет катастрофой.

Что же будет? Ведь невыноси-тель-но! — говорит старый извозчик.

А матрос Ваня Пугачев пожимает плечами:

Уж где этот малодушный человек (царь), там обязательно несчастье.

«Только вся Расея — от Алексея до Алексея».

Это, оказывается, Гришка Распутин убедил Николая взять самому командование.

Да, тяжелы, видно, грехи России, ибо горька чаша ее. И далеко не выпита.

Третьего дня было жарко, ярко, летне. Петербург, весь напряженно и бессильно взволнованный, сверкал на солнце. Черные от людей, облепленные людьми, трамваи порывисто визжали, едва брали мосты. Паперть Невского костела, как мухами, усыпана беженцами: сидят на паперти. Женщины, дети...

Указ о роспуске Думы «приял силу», несмотря на сильное давление союзников. Конечно, они не хотят. Но с достаточной ли ясностью видят они путь гибели наш?

Неужели — поздно?

...И вот Господь неумолимо
Мой Россию отстранит...

12 сентября

Уж и Дурново умер и, мертвый, торжествует больше, чем когда-либо. Вводится предварительная цензура. «Не уявися, что будем!» — восклицает... Б. Суворин.

Родзянке отказано в аудиенции. Депутация московских съездов, думаю, не будет принята. А если и будет...

Умеренные возглашают: «Спокойствие, спокойствие, спокойствие!» — как, бывало, Куропаткин в Японской войне: «Терпение, терпение и терпение».

Зато громко говорят немецкие орудия.

23 ноября

Почти три месяца прошло. Трагизм превзошел ожидания: вылился в трагическую, каменную успокоенность, полную победу полной реакции.

Когда распустили Думу (за блок и московский съезд), она громко прокричала «ура» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был: «Сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его, и помогли, при содействии правительства, другим в этом занятии. Пока что — хлыщ и провокатор Хвостов (новый министр) задействовал, черносотенцы съехались с уволенными (в Г<осударственном> Совете сидящими) министрами, «объединенное дворянство» со своей стороны «припало к самодержцу».

На съезде митрополит объявил: не только царь — помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие). Таково, мол, «учение Церкви». Своего рода декларация.

В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако, вот, не желают. Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.

Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет...

...Без утра пробил час вечерний
И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею Царя...

Воистину на посмех. И то ли еще будет!

Войне конца-краю не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии — новой союзницы, — Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?

У нас, и у союзников, на всех фронтах — окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.

Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда — и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.

Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал, на всех вечерах, и назывался «серым другом». Теперь уж он «белый», а не серый.

Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там ведь Гришенька, кой, в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указывает линию. В прочее время, Россия ждет... пребывая в покое.

Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство... тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» немало мы перевидали. Этот — что называется «в случае», попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное — детально того же стиля, разве вот Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе, ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в высшие слои);

Гришка же, смышленая шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То — пропадал, то — опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение) как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы особенно утвердился.

Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенное время — особенно. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и кланялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит к посетителю в белом балахоне, значит — надо к балахону прикладываться.)

Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» — в своих европейских манжетах.

Что это, идеализм, слепота, упрямство?

О, наши «реальные» политики!

24 ноября

Вот именной указ опять отложить Думу. И срок созыва уже не указан, а «пока не будет готов в комиссиях бюджет».

Все передовицы сегодня белы как снег. В «Речи», впрочем, остались кусочки, то там, то сям, отрывочные, что если, дескать, так, то мы (милюковцы и блокисты) готовы, за нами дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все.

Теперь уже очевидно: любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и т. д. по избранному ими пути «спокойной оппозиции» — должны

покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение так смирение.

Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно ведь и это.

Только вот: если поле все-таки будет вспахано, и хорошо, — нашим «политикам» нельзя будет сказать: «И мы пахали». Если же такая борозда пройдет, что все после вверх тормашками перевернется, тогда... тогда, увы, не сможет сказать наша «парламентарская умеренность»: «А мы не виноваты». Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в никаком. Ведь только они сейчас могут что-то делать. И делают — «Ничего».

Разве не вина?

Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.

Кажется, там разделение по линии войны. Борису я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» — это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению военной России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он здесь, а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты» и не призывисты. По-разному, но в равной степени. Ибо и противо-призывисты, отрицающие войну, тоже путного не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения,

что ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЯ ПРИЛИЧНО С ВОЙНОЙ НЕ РАЗВЯЖЕТСЯ, — не понимают вовсе, и конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.

Депутат — грузин Чхенкели, уж на что немудрящий, а и тот великолепно понимает и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение, как самый горячий русский патриот (подлинный): стоит прежде всего, из любви к России. «Если б, — говорит, — я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при Царе, теперь... Но я не верю; ведь я вижу. Ведь все равно...»

Да, вот тут важно: а вдруг — все равно будет... что?

Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает.

Мои юные поэты, студенты и другие — постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.

Много есть чего сказать о более «штатском» (об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера), но как-то не говорится. И я все пишу почти газетное, что не будет интересно.

Газетное. Как бы не так. Газеты... пишут о театре. Даже Б. Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю заметку на 3 тысячи.

Большею частью газеты белы, как полотно.

Молчание. Мороз крепкий (15° с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой... и даже без «капризов».

Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за гришкиными, гришкины — за хвостовскими.

26 января <1916>

Только сегодня объявил Н<иколай II>, что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел

на днях, взяли Штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот год мы с Дм. ездили за Волгу, к староверам и сектантам, «во град Китеж», на Светлое Озеро. Были и в Ярославле, где Штюрмер нас «по-европейски» принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего Иоанна Кронштадтского, очень было примечательно. К несчастию, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях (двойной цензуры), а записную книжку я потеряла.

...Впрочем, не об этом речь, а о Штюрмере, о котором... почти нечего сказать. Внутренне — охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости; внешне — щеголяющий (или щеголявший) своей «культурностью» перед писателями церемониймейстер. Впрочем, выставлял и свое «русофильство» (он из немцев) и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям.

Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально «успокоенное» общество. Да и в самом деле! Не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер, — да мало ли их, премьеров и не-премьеров, — было и будет? Не знают, что и с разрешенной Думой теперь делать. После ужина — горчица.

Война — в статике. У нас (Рига — Двинск) и на западе. Балканы германцы уже прикончили. Греция замерла. Англичане ушли из Дарданелл.

Хлеба в Германии жидко, и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно: никому нет никуда выхода. И не предвидится.

При этом плохо везде. Истощение и неустройство.

У нас особенно худо. Нынешняя зима впятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом — постыдная роскошь наживателей.

...Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское «успокоение» подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый, как бумага, уверяет, что у него «туберкулез». Однако не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах. Но по некоторым признакам видно, что ничего значительного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь. В данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно, безответственно безответственными...

Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев: Гурлянда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их. А я знаю обоих. С Гурляндом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле. А Манасевича видела тоже, за обедом у одной парижской дамы. Но об охранническо-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены, я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала... с какой-то «Бурцевской» точки зрения...

В то время мы жили в Париже. И были уже близки с нашими друзьями эмигрантами, Савинковым и др.

Теперь охраннику доверен важный пост...

Несчастная страна, вот что...

3 февраля

На днях уехала К. опять за границу. Вечером, перед ее отъездом (она у нас ночевала), приехал Керенский.

С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на «Зеленое кольцо», — Керенский с К. уж много видались, и в Москве, где она жила, и здесь.

Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса (и вообще-то он больной). Мы сидели

вчетвером (Дмитрий уж лег спать). Я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина.

Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись.

К. едет «туда»... что она скажет «призывистам» о здешнем. (Писем ведь везти нельзя.)

Я, конечно, соединилась с Керенским, на другой стороне был вечный противник — Д. В., один из «приемлющих» войну, один из желающих помогать войне все равно с кем. Я уважаю его страдание, но я боюсь его покорной слепоты...

Мы спорили, наперерыв стараясь, чтобы К. поняла и передала обе точки зрения, — но, в конце концов, мы же ее окончательно запутали.

Господи, да и как передать сознательное ощущение волоска, на котором все висит? Сознательное, но недоказуемое. Видишь — а другой не видит. А издали, как ни расписывай, и самый зрячий не увидит. Ничего. О нашем, русском, внутреннем военном положении...

...Споры только сбивают с толку. Замечательная русская черта: непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не «жажду победы» — значит, я «жажду поражения». Малейшая общая критика «побединцев», просто разбор положения — повергает в ярость и все кончается одним: если ты не националист — значит, ты за Германию. Или открыто будь «пораженцем» и садись в тюрьму, как чертова там Роза Люксембург села, — или закрой глаза и кричи «ура», без рассуждений.

То «или-или» — какого в жизни не бывает.

Да я сейчас даже не именно войной занята и не решением принципиальных вопросов, нет: близким, узким — сейчасной Россией (при войне). Какая-то ЧРЕВАТОСТЬ в воздухе; ведь нельзя же только — ЖДАТЬ!

27 февраля

Кажется, скоро я свою запись прекращу. Не ко времени. Нельзя дома держать. Сыщики не отходят от нашего подъезда.

И скоро я — который раз!
Сберу бумажные завалы,
И отвезу — который раз!
Чтоб спрятали их генералы.

Право, придется все сбирать, и мои многочисленные стихи, и эту запись (о, первым делом!), и всякую, самую частную литературу. У родственных Д. В. генералов вернее сбережется.

Следят, конечно, не за нами... Хотя теперь следят за всеми. А если найдут о Грише непочтительное...

Хотела бы я знать, как может понять нормальный англичанин вот это чувство слежения за твоими мыслями, когда у него этого опыта не было, и у отца, и у деда его не было?

Не поймет. А я вот чувствую глаза за спиной, и даже сейчас (хоть знаю, что сейчас реально глаз нет, а завтра это будет запечатано до лучших времен и увезено из дома) — я все-таки не свободна и не пишу все, что думаю.

Нет, не испытав —

На случайном листке

Июль, 16 г.

Вернулись из Кисловодска, жаркое лето, едем через несколько дней на дачу.

Сейчас, в светлый вечер, стояли с Димой на балконе. Долго-долго. Справа, из-за угла огибая решетку Таврического сада, выходили стройные серые четырехугольники солдат, стройно и мерно, двигались, в равном расстоянии друг от друга, — по прямой, как стрела, Сергиевской — в пылающее закатным огнем небо.

Они шли гулко и пели. Все одну и ту же, одну и ту же песню. Дальние, влево, уже почти не видны были, тонули в злости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из-за сада.

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Так и не было конца этому прощанью, не было конца этому серому потоку. Сколько их! До сих пор идут. До сих пор поют.

1 октября (Синяя книга)

Вчера у нас был свящ. Аггеев — «Земпоп», как он себя называет. Один из уполномоченных Земск. Союза (единственный поп). Перекочевал в Киев, оттуда действует.

Большой жизненный инстинкт. Рассказывал голосом надежды вещи страшные и безнадежные. Впрочем, — надежда всегда есть, если есть мужество глядеть данному в глаза.

Душа человеческая разрушается от войны — тут нет ничего неожиданного. Для видящих. А другие — что делать! — пусть примут это, неожиданное, хоть с болью — но как факт. Пора.

Лев Толстой в «Одумайтесь» (по поводу Японской войны) потрясающе ярок в отрицательной части и детски-беспомощен во второй, положительной. Именно детски. Требование чуда (внешнего) от человечества не менее «безнравственно» (терминология Вейнингера), нежели требование чуда от Бога. Пожалуй, еще безнравственнее и аналогичное, ибо это — развращение воли.

Кто спорит, что ЧУДО могло бы прекратить войну. Момент неделанья, который требует Толстой от людей

сразу, сейчас, в то время, когда уже делается война, — чудо. Взывать к чуду — развращать волю.

Все взяты на войну. Или почти все. Все ранены. Или почти все. Кто не телом — душой.

Роет тихая лопата,
Роет яму не спеша.
Нет возврата, нет возврата,
Если ранена душа...

И душа в порочном круге, всякий день. Вот мать, у которой убили сына. Глаз на нее поднять нельзя. Все рассуждения, все мысли перед ней замолкают. Только бы ей утешение.

Да, впрочем, я здесь кончаю мои рассуждения о войне «как таковой». Давно пора. Все сказано. И остается. Вот уж когда «le vin est tiré»[33] и когда теперь все дело в том, как мы его допьем.

Мало мы понимаем. Может быть, живем только по легкомыслию. Легкомыслие проходит (его отпущенный запас) — и мы умираем.

Не пишется о фактах, о слухах, о делах нашего «тыла». Мы верного ничего не знаем. А что знаем — тому не верим; да и таким все кажется ничтожным. Неподобным и нелепым.

Керенский после своей операции (туберкулез у него оказался в почке, и одну почку ему вырезали) — более или менее оправился. Но не вполне еще, кажется.

Мы стараемся никого не видеть. Видеть — это видеть не людей, а голое страдание.

Интеллигенция загнана в подполье. Копошится там, как белые, вялые мухи.

---

[33] Вино открыто (*фр.*).

Если моя непосредственная жажда, чтобы война кончилась, жажда чуда — да простит мне Бог. Не мне — нам, ибо нас, обуянных этой жаждой, так много, и все больше... Молчу. Молчу.

3 октября

Мое странное состояние (не пишется о фактах и слухах и все ничтожно) не мое только состояние: общее. Атмосферное.

В атмосфере глубокий и зловещий ШТИЛЬ. Низкие-низкие тучи — и тишина.

Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и — не ужасно ли? — никто не думает об этом. Оцепенели.

Заботит, что нечего есть, негде жить, но тоже заботит полутупо, оцепенело.

Против самых невероятных, даже не дерзких, а именно невероятных, шагов правительства нет возмущения, даже нет удивления. Спокойствие... отчаянья. Право, не знаю.

Очень «притайно». Дышит ли тайной?

Может быть, да, может быть, нет. Мы в полосе штиля. Низкие, аспидные тучи.

Единственно, что написано о войне — это потрясающие литании Шарля Пеги, французского поэта, убитого на Марне. Вот что я принимаю, ни на линию, не сдвигаясь с моего бесповоротного и цельного отрицания идеи войны.

Эти литании были написаны за два года до войны. Таков гений.

Не заставить ли себя нарисовать жанровую картинку из современной (вориной) жизни? Уж очень банально, ибо воры — все. Все тащат, кто сколько захватит, от миллиона до рубля. Ниже брезгают, да есть ли ниже? Наш рубль стоит копейку.

7 октября

Два дня идет мокрый снег. Вокруг — полнейшая пришибленность. Даже столп серединных упований, твердокаменный Милюков, — «сдал»: уж не хочет и созыва Думы теперь — поздно, мол.

Да новый наш министр шалунишка Протопопов и не будет ее созывать. К Протопопову я вернусь (стоит!), а пока скажу лишь, что он, на министерском кресле, — этот символ и знак: все поздно, все невменяемы.

Дела на войне — никто их не может изъяснить. Никто их не понимает.

Аспидные тучи стали еще аспиднее — если можно.

16 октября

«Все по-прежнему. На войне германцы взялись за Румынию — плотно. У нас, конечно, нехватка патронов. В тылу — нехватка решительно всего. Карточный сахар.

Говорят о московских беспорядках. Но все как-то... неважно для всех.

Дм. С. ставит свою пьесу на Александринке. Тоже неважно.

Но не будем вдаваться в «настроения». Фактики любопытнее.

Протопопов захлебнулся от счастия быть министром (и это бывший лидер знаменитого думского блока!). Не вылезает из жандармского мундира (который со времен Плеве, тоже любителя, висел на гвоздике) — и вообще абсолютно неприличен.

Штюрмер выпустил Сухомлинова (история, оцени!). Царь не любил «белого дядю» Горемыкина; кажется, — он надоедал ему с докладами. Да, впрочем, — кого он любит? Родзянку «органически не выносит»; от одной его походки у «charmeur'а»[34] «голова начинает болеть», и он «ни на что не согласен».

---

[34] Чародея (*фр.*).

С «дядей» приходилось мучиться, — кем заменить? Гришка, свалив Хвостова, — которого после идиотской охраннически-сплетнической истории, будто Хвостов убить его собирался, иначе не называл, как «убивцем», — верный Гришка опять помог:

«...Чем не премьер Владимирыч Бориска?..»

И вправду — чем? Гришкина замена Хвостова Протопоповым очень понравилась в Царском: необходимо сказать, что Протопопов неустанно и хламиду Гришкину целует, и сам «с голосами» до такой степени, что даже в нем что-то «Гришенькино», «чудесное» мелькает... в Царском.

Штюрмер же тоже ревнитель церковно-божественного. За него и Питирим-митрополит станет. (Впрочем, для Питиримки Гришиного кивка за глаза довольно.)

Ну и стал Штюрмер «хозяином». И выпустил Сухомлинова.

О М. Р. и говорить не стоит. Его с поклонами выпустят. Его дело миллионное.

Война всем, кажется, надоела выше горла. Однако ни смерти, ни живота не видно... никому.

О нас и говорить нечего, но, думаю, что ни для кого из этой каши добра не выйдет.

22 октября

Вчера была премьера «Романтиков» в Александринке. Мы сидели в оркестре. Вызывать стали после II действия, вызывали яро и много, причем не кричали «автора», но все время «Мережковского». Зал переполнен.

Пьеса далеко не совершенная, но в ней много недурного. Успех определенный.

Но как все это суетливо. И опять — «ничтожно».

Третьего дня на генеральной — столько интеллигентско-писательской старой гвардии... Чьи-то седые бороды — и защитки рядом.

Был у нас Вол. Ратьков. (Он с первого дня на войне.) Грудь в крестах. А сам, по-моему, сумасшедший. Все они полусумасшедшие «оттуда». Все до слез доводящие одним видом своим.

По местам бунты. Семнадцатого бастовали заводы: солдаты не захотели быть усмирителями. Пришлось вызвать казаков. Не знаю, чем это кончилось. Вообще мы мало (все) знаем. Мертвый штиль, безлюбопытный, не способствует осведомлению.

Понемногу мы все в корне делаемся «цензурными». Привычка. Китайский башмачок. Сними его поздно — нога не вырастет.

В самом деле, темные слухи никого не волнуют, хотя всем им вяло верят. Занимает дороговизна и голод. А фронты... Насколько можно разобраться — кажется, все в падении.

...и дикий мир
В безумии своем застыл.

Люди гибнут, как трава, облетают, как одуванчики. Молодые, старые, дети... все сравнялись. Даже глупые и умные. Все — глупые. Даже честные и воры. Все — воры.

Или сумасшедшие.

29 октября

Умер в Москве старообрядческий епископ Михаил (т. н. Канадский).

Его везла из Симбирска в Петербург сестра. Нервно-расстроенного. (Мы его лет 5–6 не видали, уже тогда он был не совсем нормального вида.)

На ст. Сортировочной, под Москвой, он вышел и бесследно исчез. Лишь через несколько дней его подняли на улице, как «неизвестного» избитого, с переломанными ребрами, в горячечном бреду от начавшегося заражения крови. В больнице, в светлую минуту, он назвал себя.

Тогда приехал свящ<енник> с Рогожского — его «исправить». В стар<ообрядческой> больнице скончался.

Это был примечательный человек.

Русский еврей. Православный архимандрит. Казанский духовный профессор. Старообрядческий епископ. Прогрессивный журналист, судимый и гонимый. Интеллигент, ссылаемый и скрывающийся за границей. Аскет в Белострове, отдающий всякому всякую копейку. Религиозный проповедник, пророк «нового» христианства среди рабочих, бурный, жертвенный, как дитя беспомощный, хилый, маленький, нервно-возбужденный, беспорядочно-быстрый в движениях, рассеянный, заросший черной круглой бородой, совершенно лысый. Он был вовсе не стар: года 42. Говорил он скоро-скоро, руки у него дрожали и все что-то перебирали...

В 1902 году церковное начальство вызвало его из Казани в Спб. как опытного полемиста с интеллигентными «еретиками» тогдашних Рел.-Фил. Собраний. И он с ними боролся... Но потом все изменилось.

В 1908–9 году он бывал у нас уже иным, уже в кафтане стар<ообрядческого> епископа, уже после смелых и горячих обвинений православной Церкви. Его «Я обвиняю»... многим памятно.

Отсюда ведут начало его поразительные попытки создать новую церковь «Голгофского Христианства». С внешней стороны это была демократизация идеи Церкви, причем весьма важно отрицание сектантства (именно в «сектантство» выливаются все подобные попытки).

Многие знают происходившее лучше меня: в эти годы путаность и детская порывистость Михаила удерживали нас от близости к нему.

Но великого уважения достойна память мятежного и бедного пророка. Его жертвенность была той ценностью, которой так мало в мире (а в христианских церквах?).

И как завершенно он кончил жизнь! Воистину «пострадал», скитаясь, полубезумный, когда «народ», его же «демократия» — ломовые извозчики — избили его, переломили 4 ребра и бросили на улице; в переполненной больнице для бедных, в коридоре, лежал и умирал этот «неизвестный». Не только «демократия» постаралась над ним: его даже не осмотрели, в 40-градусном жару веревками прикрутили за руки к койке, — точно распяли действительно. Даже когда он назвался, когда старообрядцы пошли к старшему врачу, тот им отвечал: «Ну, до завтра, теперь вечер, я спать хочу». Сломанные ребра и ключица были открыты лишь перед смертью, после 4–5-дневного «распятия» в «голгофской больнице».

Вот о Михаиле.

И теперь, сразу, о Протопопове. О нашем «возлюбленном» министре. Надо отметить, что он сделался тов. председателя Гос. Думы, лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство. (Еп. Михаил никогда не был сумасшедшим. Его религия не исходила из болезни. Его нервность, быть может, была результатом всей его жизни, внешней и внутренней, целиком.) Но я напрасно и вспомнила опять Михаила. Я хочу забыть о нем на Протопопове, а не «сравнивать» их.

Итак — карьера пр<авительст>ва величественна. Из тов. председателя он скакнул в думский блок и заиграл роль его лидера. Затеял миллионную банковскую газету (рьяно туда закупались сотрудники).

Поехал с Милюковым официально в Англию. (По дороге что-то проврался, темная история, замазали.) И вот, наконец, «полюбил государя, и государь его полюбил» (понимай: Гришенька тож). Тут он и сделался нашим министром вн<утренних> дел.

Созвал как-то на «дружеское» совещание прогрессивных думцев (Милюкова, конечно). Совещание застенографировано. Оно весело и неправдоподобно, как фарс. Точно в Кривом зеркале играют произведение Тэффи. Да нет, тут скорее Джером-Джером... только он приличнее. Стоило бы сохранить стенограмму для назидания потомства.

Россия — очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома, на какой-нибудь вечер безумцев, — вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего. А они все безумцы.

Есть трагически помешанные, несчастные. Есть и тихие идиоты, со счастливым смехом на отвисших устах собирающие щепочки и, не торопясь, хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих «тихих». Поджигательству его никто не мешает, ведь его власть. И дарована ему «свыше».

Таково данное.

4 ноября

Первого открылась Дума. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об «измене» в придворных и правит, кругах, о роли царицы Ал., о Распутине (да, и о Грише!), Штюрмере, Манасевиче, Питириме — о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. Приводил факты и выдержки из немецких газет. Но центром речи его я считаю следующие, по существу ответственные, слова: «Теперь мы видим и знаем, что с этим пр<авительст>вом мы так же не можем законодательствовать, как не можем вести Россию к победе».

Цитирую по стенограмме. Нового тут ничего нет, дело известное. Милюкову можно бы сказать с горечью: «Теперь видите?» — и прибавить: «Не поздно ли?»

Но не в том дело. Для него лучше поздно, чем никогда. А вот почему эти ответственные слова фактически — безответственны? Увидели, что «ничего не можем с ними»... и продолжаем с ними? Как же так?

Речь произвела в Думе впечатление. Чхеидзе и Керенскому просто закрыли рот. Всем остальным не просто, а по-печатному. Не только речь Милюкова, но и речи правых, и даже все попытки «своими средствами» передать что-либо о думском заседании — было истреблено. Даже заголовки не позволили.

Вечером по телефону из цензуры сказали: «Вы поменьше присылайте, нам приказ поступать по-зверски».

На другой день вместо газет вышла небывало белая бумага. Тоже и на третий, и далее.

Министры не присутствовали на этом первом заседании Думы, но им тотчас все было доложено. Собравшись вечером экстренно, они решили привлечь Милюкова к суду по 103 ст. (оскорбление величества). Не верится, ибо слишком это даже для них глупо.

Следующие заседания протекли столь же возбужденно (Аджемов, Шульгин) и столь же бело в газетах.

«Блокисты» решительно стали в глазах пр<авительст>ва — «крамольниками». Увы, только в глазах пр<авительст>ва. Если бы с горчичное зерно попало в них «крамольства» действительно! Именно крошечное зернышко в них — целый капитал. Но капитала они не приобрели, а невинность потеряли очень определенно.

Сегодня даже было в газетах заявление Родзянко, что «отчеты не появляются в газетах по независящим обстоятельствам». Сегодня же и пр<авительст>венное сообщение: «Не верить темным слухам о сепаратном мире, ибо Россия будет твердо и неуклонно...» и т. д.

Царь только вчера получил речь Милюкова и дал телеграмму, чтобы Шуваев и Григорович поскорее бросились

в Думу и покормили ее шоколадом уверения, заверения и уважения. Эти так сегодня и сделали.

Штюрмеру, видно, несдобровать. Уж очень прискандален. Хотят, нечего делать, его «уйти». Назначить Григоровича исполняющим должность премьера, а выдвинуть снова Кривошеина. Отчего это у нас все или «поздно» — или «рано»? Никогда еще не было — «пора».

Милюков увидел правду — «поздно» (и сам не отрицает), но дальше увидения — идти «рано». Два-три года тому назад, когда лезли с Кривошеиным, было ему «рано». Теперь никто, ни он сам, не сомневаются, что давным-давно — «поздно».

Вот в этом вся суть: у нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо.

Рано для революции (ну, конечно) и поздно для реформ (без сомнения!).

Рано было бороться с пр<авительст>вом даже так, как сейчас борются Милюков и Шульгин... и уже поздно — теперь.

Нет выхода. Но и не может быть его у народа, который не понимает слова спора» и не умеет произнести в пору это слово.

Что нам пишут о фронте — мы почти и не читаем. Мы с ним давно разъединены: умолчаниями, утомлениями, беспорядочно-страшным тыловым хаосом. Грозным.

Да, грозным. Если мы ничего не сделаем — сделается с «что-то» само. И лик его темен.

14 ноября

Я уезжаю в Кисловодск. Не стоит брать с собой эту книгу. Записывать, не около решетки Таврического дворца, можно лишь «психологию» (логические выводы все уже сделаны), а психология скучна. Вне Петербурга у нас

ничего не случается, это я давно заметила, ничего, имеющего значение. Все только приходит из Петербурга, зачавшись в нем. И знать, и видеть, и понимать (и писать) я могу только здесь.

Пока что: Штюрмер ушел, назначен Трепов (тоже фрукт!). Блокисты, по своему обыкновению, растеряны (заседаний не будет до 19-го). Будто бы уходит и Протопопов (не верю). Министра иностранных дел не имеем (это теперь-то!).

Румын мы посадили в кашу: немцы уже перешли Дунай.

Было у нас заседание Совета Религ.-Фил. Об-ва (насчет собрания в память еп. Михаила).

Не знаю, как нынешнюю зиму сложатся собрания нашего Общества. Думаю, мало что выйдет. Первая «военная» зима (14–15) прошла очень остро, в борьбе между «нами», религиозными осудителями войны, как таковой, и «ними», старыми «националистами», вечными. Вторая зима (15–16) началась, после долгих споров, вопросом «конкретным», докладом Дм. Вл. Философова о церкви и государстве, по поводу «записки» думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие, с другой стороны — видные думцы. Между прочим, говорил тогда и Керенский.

Должна признаться, что я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему: Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел громадный, во весь рост, портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и, совсем рядом, — лицо Николая. Портрет очень недурной, видно похожий (не Серовский ли?). Эти два лица рядом,

казавшиеся даже на одной плоскости, т. к. я смотрела в один глаз, — до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным «аккордом», что я уже ничего и не слышала из речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом — очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли, — именно благодаря «аккорду», в котором, однако, все — вопящий диссонанс. Не умею этого объяснить, когда-нибудь просто вернусь к детальному описанию обоих лиц — вместе.

На заседание нынешнего Совета явились к нам два старообрядческих епископа: Иннокентий и Геронтий. И два с ними начетчика. Один сухонький, другой плотный, розовый, бородатый, но со слезой, — меховщик Голубин.

Я тщательно проветрила комнаты и убрала даже пепельницы, не только папиросы.

Сидели владыки в шапочках, кои принесли с собой в саквояжике. Синие пелеринки (манатейки) с красным кантиком. Молодые, истовые. Пили воду (вместо чая). Решительно и положительно, даже как-то мило, ничего не понимают. Еще бы. Консервация — их суть, весь их смысл.

Заседание о Михаиле будет, вероятно, уже после нашего отъезда.

Прошлое, первое нынче осенью, не было очень интересно. Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте «Чемряков» — Щетининцев. Эту секту, после провала старца — Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич (Щетинин — неудачливый Распутин) и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно.

И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна великих и пугающих нелепостей.

Отрывки из летучих листков в Кисловодске

Декабрь 1916 — начало янв. 1917

...Здесь трудно и тяжело жить, здесь слепо жить. Светит солнце, горит снег, кажется, что ничего не происходит. А ведь происходит! Глухие раскаты громов. Я могу здесь только приводить в порядок мысли. Или беспорядочно отмечать новые. Но о событиях, по газетам, да еще провинциальным, в углу — я писать не могу.

К вопросам «по существу» я уже не буду возвращаться. Только — о данном часе истории и о данном положении России и хочется говорить. Еще о том, как бессильно мы, русские сознательные люди, враждуем друг с другом... не умея даже сознательно определить свою позицию и найти для нее соответственное имя.

Целая куча разномыслящих окрещена именем «пораженцев», причем это слово давно изменило свой смысл первоначальный. Теперь пораженка я, Чхенкели и — Вильсон. А ведь слово Вильсона — первое честное, разумное, по-земному святое слово о войне (мир без победителей и без побежденных как единое разумное и желанное окончание войны).

А в России зовут «пораженцем» того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме «полной победы». И такой «пораженец» равен — «изменнику» родины. Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война ВСЕ РАВНО так в России не кончится! Все равно — будет крах! Будет! Революция или безумный бунт: тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бессомненного те, что ОДНИ могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него «революцию». Сделать, чтоб это была ОНА, а не всесметающее Оно.

И ведь видят как будто. Не Милюкова ли слова: «С этим пр<авительст>вом мы не можем вести войну!..» Конечно,

не можем. Конечно, нельзя. А если нельзя — то ведь ясно же: будет крах. Наши политические разумные верхи ведут свою, чисто оппозиционную и абсолютно безуспешную политику (правый блок), единственный результат которой — их полное отъединение от низов. Поэтому то, что будет, — будет голо — снизу.

Будет, значит, крах: бунт, анархия... почем я знаю! Я боюсь, ибо во время войны революция только снизу — особенно страшна. Кто ей поставит пределы? Кто будет кончать ненавистную войну? Именно кончать?

«Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь»... несчастный народ, несчастная Россия... Нет, не хочу. Хочу, чтобы это была именно Революция, чтобы она взяла, честная, войну в свои руки и докончила ее. Если она кончит — то уж прикончит. Убьет.

Вот чего хотим мы, сегодняшние так называемые «пораженцы». Пораженцы?

Нас убеждают еще наши противники, что надо теперь лишь в тиши «подготовлять» революцию, а чтобы была она — после войны. После того, как «Россия с этим пр<авительст>вом», с которым она «не может вести войну», доведет ее до конца? О, реальные политики! Такого выбора: революция или революция после войны — совсем нет. А есть совсем другой. Вот мы, «пораженцы», и выбираем революцию, выбираем нашей горячей надеждой, что будет Она, а не страшное, м. б. длительное, м. б. даже бесплодное Оно. Ведь и «по Милюкову» других выборов нет...

Или я во всем ошибаюсь? А если Россия может в позоре рабства до конца войны дотащиться? Может? Не может?

Допускаю, что может. Но допускаю формально вопреки разуму. А уже веры нет ни капли. Я этого не представляю себе и ничего об этом не могу говорить.

А чуть гляжу в другое — я живая мука, и страх, что будет «Оно», гибло-ужасное, и надежда, что нет, что мы успеем...

Продолжение, там же

Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки. Было — не было, это важно для Пуришкевича. Это не то.

А что России так не «дотащиться» до конца войны — это важно. Не дотащиться. Через год, через два (?), но будет что-то, после чего: или мы победим войну, или война победит нас.

Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас одни могут действовать. Дело решится в зависимости от того, в какой мере они окажутся внутри Неизбежного, причастны к нему, т. е. и властны над ним.

Увы, пока они думают не о победе над войной, а только над Германией. Ничему не учатся.

Хоть бы узкий переворот подготавливали. Хоть бы тут подумали о «политике», а не о своей доктринской «честной прямоте» парламентских деятелей (причем у нас «нет парламента»).

Я говорю — год, два... Но это абсурд. Скрытая ненависть к войне так растет, что войну надо, и для окончания, оканчивания, как-то иначе повернуть. Надо, чтоб война стала войной для конца себя. Или ненависть к войне, распучившись, разорвет ее на куски. И это будет не конец: змеиные куски живут и отдельно.

Отсюда не видишь мелкого, но зато чувствуешь ярко общее.

Вернувшись под аспидное небо, к моей синей книжке, к слепой твердости «приявших войну» — не ослепну ли я?

Нет, просто буду молчать — и ждать бессильно. При каждом случае гадая в страхе и сомнении: еще не то. Или то? Нет, еще не сегодня. Завтра? Или послезавтра?

Я ничего не могу изменить, только знаю, что будет. А кто мог бы, не линийку, — те не знают, что будет. Слова?

«...Слова — как пена,
Невозвратимы — и ничтожны...
Слова измена,
Когда деянья невозможны...»

Я не фаталистка. Я думаю, что люди (воля) что-то весят в истории. Оттого так нужно, чтобы видели жизнь те, кто может действовать.

Быть может, и теперь уже поздно. А когда придет Она или Оно — поздно наверно. Уж какое будет. Ихнее — нижнее — только нижнее. А ведь война. Ведь война!

Если начнется ударами, периодическими бунтами, то авось, кому надо, успеют понять, принять, помочь... Впрочем, я не знаю, как будет. Будет. Надоело все об одном. Выбора нет.

1917

С.-Петербург. Опять Синяя книга

2 февраля. Четверг

Мы дома. Глубокие снега, жестокий мороз. Но по утрам в Таврическом саду небо розово светит. И розовит мертвый, круглый купол Думы.

Было бы бесполезно выписывать здесь упущенную хронику. В общем — «все на своих местах». Ничего неожиданного для такой Кассандры, как я.

К удивлению, здесь речь Вильсона не получила заслуженного внимания. А ведь это же — «новое о войне», и притом в самой доступной, обязательной — реальной

плоскости. Речь эта, и вообще весь Вильсон с его делами и словами, примечательнейшее событие современности. Это — вскрытие сути нашего времени, мера исторической эпохи. Он дает формулу, соответствующую высоте культурного уровня человечества в данный момент всемирной истории.

И еще не «снижение» — война? Для упрощенной ясности, для тех, кто не хочет понимать простой линии, на которой я фактически стою с первого момента войны, и кто доселе шамкает о «пораженчестве», — я просто сую Вильсона и не разговариваю дальше.

Убийство Гришки и здесь продолжает мне казаться жалкой вещью. Заговорщиков и убийц, «завистливых родственников», разослали по вотчинам, а Гришку в Царском Селе вся высочайшая семья хоронила.

Теперь ждем чудес на могиле. Без этого не обойдется. Ведь мученик. Охота была этой мрази венец создавать. А пока болото — черти найдутся, всех не перебьешь.

Ради нового премьера Думу отложили на месяц. Пусть к делам приобыкнет, а то ничего не знает.

Да чуть не все новые, незнающие. Т. е. все самые старые. Протопопов набрал. А он крепок, особенно теперь, когда Гришенькино место пусто. Протопопов же сам с «божественной слезой» и на прорицания, хотя еще робко, но уже посягает.

Со стороны взглянуть — комедия. Ну, пусть чужие смеются. Я не могу. У меня смех в горле останавливается.

Ведь это — мы. Ведь это Россия в таком стыде.

И что еще будет!

11 февраля. Суббота

Во вторник откроется Дума. Петербург полон самыми злыми (?) слухами. Да уж и не слухами только. Очень определенно говорят, что к 14-му, к открытию Думы, будет

приурочено выступление рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять поддержку ее требованиям... очевидно, оппозиционным, но каким? Требованиям ответственного министерства, что *ли*, или Милюковского — «доверия?» Слухи не определяют.

Мне это кажется нереальным. Ничего этого, думаю, не будет. Причин много, почему не будет, а главная и первая (даже упраздняющая перечисление других) это — что рабочие думский блок поддерживать не будут.

Если это глупо, то в политической глупости этой повинны не рабочие. Повинны «реальные» политики, сам думский блок. Наши «парламентарии» не только не хотят никакой «поддержки» от рабочих, они ее боятся, как огня; самый слух об этом считают порочащим их «добрые имена». Кто-то где-то обмолвился, что в рабочих кругах опираются на какие-то слова или чуть ли не на письмо Милюкова. Боже, как он тщательно отбояривался, как внушительно заявлял протесты. Это было похоже не на одно отгораживание, а почти на «гонение» левых и низов.

На днях у нас был Керенский и возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил — а я только пожимала плечами. Ничего нового, Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте (хотя говорят, что видят, значит, «грех остается на них»).

Керенский непоседлив и нетерпелив, как всегда. Но он прав сейчас глубоко, даже в нетерпении и возмущении своем. Провожая его, в передней, я спросила (после операции мы еще не видались):

— Ну, как же вы теперь себя чувствуете?

— Я? Что ж, физически — да, лучше, чем прежде, а так... лучше не говорить.

Махнул рукой с таким отчаянием, что я вдруг вспомнила один из его давнишних телефонов: «А теперь будет то, что начинается с а...»

А рабочие все же не пойдут 14-го поддерживать Думу.

Следовало бы подвести счеты сегодняшнего дня, самые грубые, — но разве кратко. Ведь все то же повторять, все то же.

Партия государственная, либерально-парламентарная, вся ее работа и «правый» думский блок — остались бесплодными абсолютно. Напротив, если правит, курс изменился — то в сторону горшей реакции. Формула Чхенкели, за которую два года тому назад, даже у нас, в 4-х стенах, несчастные «либералы» клеймили этого левого депутата (лично ничем не замечательного) — «пораженцем», а «либерало-христиане» — дураком и монофизитом, — эта формула давно принята словесно тем же Милюковым: «С ЭТИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ДОЛЬШЕ ВЕСТИ ВОЙНУ, НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ЕЙ ХОРОШЕЕ ОКОНЧАНИЕ». Принята, признана — и больше ничего. От выводов отворачивается. Дошло до того, что наша союзница Англия позволяет себе теперь говорить то же: «С этим правительством Россия...» и т. д.

Англия глубоко равнодушна к нам, еще бы! Но о войне-то она ведь очень заботится. Кое-что понимает.

Во вторник откроется Дума. Положение ее унизительно и безвыходно. При любом поведении (в рамках либерального блокизма) ее достоинство опять ущербится. Minimum не достигнут; а ради него было пожертвовано решительно всем. Даже не приблизились к minimum'у, а для него не побоялись вырыть пропасть между умеренными государственными политиками и революционной интеллигенцией, вместе со смутными русскими революционными низами (всех последних я, для краткости, беру под один знак «левых элементов»).

Эти левые, от которых блок не уставал публично отрекаться, готовят свои выпады, своими средствами. (Что же им делать, одним? Ничего не делать?) А эти средства сегодня, для сегодняшнего часа не полезны, а вредны.

Да, в свое время отметится — что бы ни свершилось далее — это «безумство мудрых», это упорство отталкивания, это «гонение» — как большая политическая ошибка.

Впрочем, ошибки и грехи не моя забота, и обвинять мне никого не дано. Записываю факты, каковыми они рисуются с точки зрения здравого смысла и практической логики. Кладу запись «в бутылку». Ни для чьих сегодняшних ушей она не нужна.

Слова и смысл их — все утратило значение. Люди закрутились в петлю. А если?..

Нет. Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без «бутылки», даже не интересоваться. Писать стихи «о вечности и красоте» (ах, если б я могла!), перестать быть «человеком».

Хорошие стихи — чем не позиция? Во всяком случае, моя теперешняя позиция «здравого ума и твердой памяти» столь же фактически бездейственна (ведь она только моя и «в бутылке»), как и загадочная позиция «хороших стихов».

Если же писать — поменьше мнений. Поголее факты.

Меня жизнь оправдает.

22 февраля. Среда

Слухи о готовящихся выступлениях так разрослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали пускать контрслухи, будто выступления предполагаются провокаторские.

Тогда я позвонила к одному из «нереальных» политиков, т. е. к одному из левых интеллигентов. Правда, лично он звезд не хватает и в политике его, всяческой, я весьма

сомневаюсь, — даже в правильной информации сомневаюсь, — однако насчет «провокации» может знать.

Он ее отверг и был очень утвердителен насчет скорых возможностей: «Движение в прекрасных руках».

Между тем 14-го, как я предрекала, ровно ничего не случилось.

Вернее — случилось большое «Ничего». Протопопов делал вид, что беспокоится, наставил за воротами пулеметов (особенно около Думы, на путях к ней; мы, например, кругом в пулеметах), собрал преображенцев...

Но и в Думе было — Ничего. Министров ни малейших. Охота им туда ездить, только время тратить! Блокистам дан был, для точения зубов, один продовольственный Риттих, но он мудро завел шарманку на два часа, а потом блокисты скисли. «Он сорвал настроение Думы», — писали газеты.

Милюков попытался, но не смог. Повторение всем надоело. Кончил: «Хоть с этим правительством Россия не может победить, но мы должны вести ее к полной победе, и она победит» (?).

С тех пор, вот неделя, так и ползет: ни шатко, ни валко. Голицын в Думу вовсе носа не показал и ни малейшей «декларацией» никого не удостоил.

Протопопов предпочитает ездить в Царское, говорить о божественном.

Белые места в газетах запрещены (нововведение), и речи думцев поэтому столь высоко обессмыслены, что даже Пуришкевич застонал: «Не печатайте меня вовсе!»

Говорил дельное Керенский, но такое дельное, что правительство затребовало его стенограмму. Дума прикрыла, не дала.

С хлебом, да и со всем остальным, у нас плохо.

А в общем — опять штиль. Даже слухи, после четырнадцатого, как-то внезапно и странно сгасли. Я слышала,

однако, вскользь (не желая настаивать), будто все осталось, а 14-го будто ничего не было, ибо «не желали связывать с Думой». Ага! Это похоже на правду. Если даже все остальное вздор, то вот это психологически верно.

Но констатирую полный внешний штиль всей недели. Опять притайно. Дышит ли тайной?

Может быть — да, может быть — нет. Мы так привыкли к вечному «нет», что не верим даже тому, что наверно знаем.

И раз делать ничего не можем — то боимся одинаково и «да» и «нет».

Я ведь знаю, что... будет. Но нет смелости желать, ибо... Впрочем, об этом слишком много сказано. Молчание.

Театры полны. На лекциях биток. У нас в Рел<игиозно>-Фил<ософском> Об<щест>ве Андрей Белый читал дважды. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно позорное: почти не могу видеть эту праздную толпу, жаждущую «антропософии». И лица с особенным выражением — я замечала его на лекциях-проповедях Штейнера: выражение удовлетворяемой похоти.

Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский «псалом» Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре «Бродячей Собаки» (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно вверзившийся в «пейзанизм». Жирная, лоснящаяся физиономия. Рот круглый, трубкой. Хлыст. За ним ходит «архангел» в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!

23 февраля. Четверг

Сегодня беспорядки. Никто, конечно, в точности ничего не знает. Общая версия, что началось в Выборгской,

из-за хлеба. Кое-где остановили трамваи (и разбили). Будто бы убили пристава. Будто бы пошли на Шпалерную, высадили ворота (сняли с петель) и остановили завод. А потом пошли покорно, куда надо, под конвоем городовых, — все «будто бы».

Опять кадетская версия о провокации, — что все вызвано «провокационно», что нарочно, мол, спрятали хлеб (ведь остановили железнодорожное движение?), чтобы «голодные бунты» оправдали желанный правительству сепаратный мир.

Вот глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать!

Боюсь, что дело гораздо проще. Так как (до сих пор) никакой картины организованного выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии. Правда, параллелей нельзя проводить, ибо здесь надо учитывать громадный факт саморазложения правительства. И вполне учесть его нельзя, с полной ясностью.

Как в воде, да еще мутной, мы глядим и не видим, в каком расстоянии мы от краха.

Он неизбежен. Не только избежать, но даже изменить его как-нибудь — мы уже не в состоянии (это-то теперь ясно). Воля спряталась в узкую область просто желаний. И я не хочу высказывать желания. Не нужно. Там борются инстинкты и малодушие, страх и надежда, там тоже нет ничего ясного.

Если завтра все успокоится и опять мы затерпим — по-русски тупо, бездумно и молча, — это ровно ничего не изменит в будущем. Без достоинства бунтовали — без достоинства покоримся.

Ну, а если без достоинства — не покоримся? Это лучше? Это хуже?

Какая мука. Молчу. Молчу.

Думаю о войне. Гляжу в ее сторону. Вижу: коллективная усталость от бессмыслия и ужаса овладевает человечеством. Война верно выедает внутренности человека. Она почти гальванизированная плоть, тело, мясо — дерущееся.

Царь уехал на фронт. Лафа теперь в Царском Г-ке «пресекать». Хотя они «пресекать» будут так же бессильно, как мы бессильно будем бунтовать. Какое из двух бессилий победит?

Бедная земля моя. Очнись!

24 февраля. Пятница

Беспорядки продолжаются. Но довольно, пока, невинные (?). По Невскому разъезжают молоденькие казаки (новые, без казачьих традиций), гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились.

Толпа — мальчишки и барышни.

Впрочем, на самом Невском рабочие останавливают трамваи, отнимая ключи.

Трамваи почти нигде не ходят, особенно на окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя. Разве пешком. А морозно и ветрено. Днем было солнце, и это придавало веселость (зловещую) невским демонстрациям.

Министры целый день сидят и совещаются. Пусть совещаются. Царь уже обратно скачет, но не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея сделалась корь.

Анекдотично. Французы ничего не понимают. Да и кто поймет? Только мы одни. Отец и помазанник. Благодать выше законов. На что они при благодати!

Но не смеюсь. Пусть чужие...

Был mr. Petit, рассказывал о конференции. Он получил телеграмму от Albert Thomas — Soyez interprèt auprès

de Mr. Doumergue[35]. Понял смысл. Doumergue с ним не расставался и, сразу по приезде, сказал, что хочет видеть крупных политических деятелей. В тот день, в вестибюле Европ. Гостиницы, Палеолог отозвал Petit в сторону и сообщил, что в виду желания Doumergu'а видеть Гучкова, Милюкова etc, он их всех приглашает в посольство завтракать. Завтрак состоялся. Был и Поливанов. Беседа была откровенная.

(Я вставлю: совсем как «во всех Европах». И послы и «крупные политические деятели»... Ну, послам и Бог велел не понимать, что они не в Европах, а эти-то! Наши-то! Доморощенные-то слепцы! Туда же — не понимают ничего!)

Продолжаю рассказ Petit:

«Во время поездки в Москву Petit сопровождал Doumergu'а. Из официальных interpret'ов были два офицера генерал. штаба, Муханов и Солдатенков. Doumergue их стеснялся и уверял, что шпионы. В Москве Doumergue беседовал у себя, отдельно, с кн. Львовым и Челноковым. Львов произвел на него сильное впечатление. Любопытно, что во время беседы в номер вошел, не постучавшись, Муханов. Извинился и вышел. Потом и во время беседы Челнокова с Мильераном то же произошло, тоже вошел — не Муханов, а Солдатенков».

Интересен инцидент в Купеческой управе. Было много гостей, между прочим, Шебеко. Булочник сказал официальную речь. Doumergue (ничего не понял) отвечал. Этим должно было кончиться. Но через толпу пробрался Рябушинский, вынул из кармана записку и хорошо прочел резкую французскую речь. Нация во вражде с правительством, пр<авительст>во мешает нации работать и т. д. И что заем не имеет успеха.

[35] Будьте переводчиком месье Думергу (*фр.*).

Doumergue «avait un petit air absent»[36], а Шебеко страшно злился. Тотчас по всем редакциям телефон, чтоб не только не печатать речи Рябушинского, но даже не упоминать его фамилии. Doumergue не знал, кто Рябушинский, и очень удивился, что это «membre du Conseil de l'Empire» et archimillionaire[37]. Уехала делегация через Колу.

После этой длинной записи о старых уже делах (но как характерно!) возвращаюсь к сегодняшнему дню.

Утром говорили, что путиловцы стали на работу, но затем выяснилось, что нет. Еду по Сергиевской, солнечно, морозно. Вдали крики небольших кучек манифестантов. То там, то здесь.

Спрашиваю извозчика:

— А что они кричат?

— Кто их знает. Кто что попало, то и кричит.

— А ты слышал?

— Мне что. Кричат и кричат. Все разное. И не поймешь их.

Бедная Россия. Откроешь ли глаза?

25 февраля. Суббота

Однако дела не утихают, а как будто разгораются. Медленно, но упорно. (Никакого систематического плана не видно, до сих пор; если есть что-нибудь — то небольшое, и очень внутри.)

Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади был митинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Ал<ександру> III). У здания Гор<одской> Думы была первая стрельба — стреляли драгуны.

Пр<авительство>, по настоянию Родзянки, согласилось передать продовольственное дело городскому управлению.

---

[36] Выглядел немного рассеянным (*фр.*).

[37] Член Государственного совета и архимиллионер (*фр.*).

Как всегда — это поздно. Риттих клялся Думе, что в хлебе недостатка нет. Возможно, что и правда. Но даже если... то, конечно, и это «поздно». Хлеб незаметно забывается, забылся, как случайность.

Газеты завтра не выйдут, разве «Новое время», которое долгом почтет наплевать на «мятежников». Хорошо бы, чтобы они пришли и «сняли» рабочих.

Все-таки я еще не знаю, чем и как может это (хорошо) окончиться. Ведь — 1905–1906 год пережили, когда сомнения не было, что не только хорошо кончится, но уж кончилось. И вот...

Но не забуду: теперь все другое. Теперь безмернее все, ибо война безмерна.

Карташов упорно стоит на том, что это «балет», — и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому за толпой (нет проезда), в странном положении конвоирующих эти красные флаги. Если балет... какой горький, зловещий балет! Или...

Завтра предрекают решительный день (воскресный). Не начали бы стрелять вовсю. А тогда... это тебе не Германия, и уж выйдет не «бабий» бунт. Но я боюсь говорить. Помолчим.

Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается — не понять. Это ново. Нет никакого прежнего Трепова — «патронов на толпу не жалеть». Премьер (я даже не сразу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на квартире. Протопопов тоже адски пришипился. Кто-то, где-то, что-то будто приказывает. Хабалов? И не Хабалов. Душит чей-то гигантский труп. И только. Странное ощущение.

Дума — «заняла революционную позицию»... как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен поперек рельс. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением. Не знаю, есть ли

реальная и у других (сомневаюсь), но у либерало-оппозиционистов нет связи даже созерцательно-сочувственной. Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь все для войны! Пораженцы!

Никто их не слышит. Бесплодно охрипли в Думе. И с каждым нарастающим мгновением они как будто все меньше делаются нужны. («Как будто!» А ведь они нужны!)

Если совершится... пусть не в этот, в двадцатый раз, — опоздавшим либералам солоно будет это сознание. Неужели так никогда и не поймут они свою ответственность за настоящие и... будущие минуты?

В наших краях спокойно. Наискосок казармы, сзади казармы, напротив инвалиды. Поперек улицы шагает часовой.

Вместо Беляева назначен ген. Маниковский.

26 февраля. Воскресенье

День чрезвычайно резкий. Газеты совсем не вышли. Даже «Новое время» (сняли наборщиков). Только «Земщина» и «Христианское чтение» (трогательная солидарность!).

Вчера было заседание Гор<одской> Думы. Длилось до 3-х час. ночи. Председательствовал Базунов. Превратилось в широкое политическое заседание при участии рабочих (от кооперативов), попечительств и депутатов. Говорил и Керенский. Постановлено было много всяких хороших вещей.

Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что «беспорядки будут подавляться вооруженной силой». На объявление никто не смотрит. Взглянут — и мимо. У лавок стоят молчаливые хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Появились «старые» казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов. (Это я видела также и здесь, на Сергиевской, своими глазами.)

На Знаменской площади казаки вчерашние — «новые» — защищали народ от полиции. Убили пристава, городовых оттеснили на Лиговку, а когда вернулись — их встретили криками: «Ура, товарищи-казаки!»

Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском серьезная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приемный покой под каланчу Сидящие в Евр<опейской> гост<инице> заперты безвыходно и говорят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределенное. Есть, очевидно, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, т. е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский полк. Сегодня, к вечеру, имеем определенные сведения, что — не отказался, а возмутился — Павловский. Казармы оцеплены и все Марсово Поле кругом. Говорят, убили командира и нескольких офицеров.

Сейчас в Думе идет сеньорен-конвент, назавтра назначено экстренное общее заседание.

Связь между революционным движением и Думой весьма неопределенна, не видна. «Интеллигенция» продолжает быть за бортом. Нет даже осведомления у них настоящего.

Идет где-то «совет рабочих депутатов» (1905 год?), вырабатываются будто бы лозунги... (Для новых не поздно ли схватились? Успеют ли? А старые 12-летние, сгодятся ли?)

До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое «долой самодержавие» (это годится). Было, кажется, и «долой войну», но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе, неорганизованная стихия ширится, и о войне, о том, что ведь ВОЙНА, — и здесь, и страшная, — забыли.

Это естественно. Это понятно, слишком понятно, после действий правительства и после лозунга думских и недумских интеллигентов-либералов: все для войны! Понятен этот перегиб, но ведь он — страшен!

Впрочем, теперь поздно думать. И все равно, если это лишь вспышка и будет подавлена (если!) — ничему не научатся либералы: им опять будет «рано» думать о революции.

Но я сознаюсь, что говорю о думском блоке недостаточно объективно. Я готова признать, что для «пропаганды» он имел свое значение. Только дела он никакого, даже своего прямого, не сделал. А в иные времена все дело в деле — исключительно.

Я готова признать, что даже теперь, даже в этот миг (если это миг предреволюционный) для «умеренных» наших деятелей — ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО. Но данный миг последний. Последнее милосердие. Они еще могут... нет, не верю, что могут, скажу могли бы, — кое-что спасти и кое-как спастись. Еще сегодня могли бы, завтра — поздно. Но ведь нужно рискнуть тотчас же, именно сегодня, признать этот миг предреволюционным наверняка. Ибо лишь с этим признанием они примут завтрашнюю революцию, пройдут сквозь нее, внесут в нее свой строгий дух.

Они не смогут, ибо в последний миг это еще труднее, чем раньше, когда они уже не смогли. Но я обязана констатировать, что еще не поздно. Без обвинений, с ужасом вижу я, что не смогут. Да и слишком трудно. А между тем оно не простится — кем-то, чем-то. Если б простилось! Но нет. Безголовая революция — отрубленная, мертвая голова.

Кто будет строить? Кто-нибудь. Какие-нибудь третьи. Но не сегодняшние Милюковы, и не сегодняшние под-Чхеидзе.

Бедная Россия. Незачем скрывать — есть в ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на «Маскараде» в Имп<ераторском> театре, пришли ведь отовсюду пешком (иных сообщений нет), любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда — один просцениум стоил 18 тысяч. А вдоль

Невского стрекочут пулеметы. В это же самое время (знаю от очевидца) шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина!

Все школы, гимназии, курсы — закрыты. Сияют одни театры и... костры расположившихся на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где мирно гуляли дети: Летний и наш, Таврический. Из окон на Невском стреляют, а «публика» спешит в театр. Студент живот свой положил ради «искусства»...

Но не надо никого судить. Не судительное время — грозное. И что бы ни было дальше — радостное. Ни полкапли этой странной, внеразумной, живой радости не давала ни секунды война. Нет оправдания войне — для современного человеческого существа. Все в войне кричит для нас: «Назад!» Все в революционном движении: «Вперед!» Даже при внешних сближениях — вдруг, точно искра, качественное различие. Качественное.

27 февраля. Понедельник

12 ч дня. Вчера вечером в заседании фракций говорили, что у пр<авительст>ва существует колебание между диктатурой Протопопова и министерством якобы «доверия» с ген. Алексеевым во главе. Но поздно ночью пришел указ о роспуске Думы до 1 апреля. Дума будто бы решила не расходиться. И, в самом деле, она, кажется, там сидит. Все прилегающие к нам улицы запружены солдатами, очевидно, присоединившимися к движению. Приходивший утром Н. Д. Соколов рассказывал, что вчера на Невском стреляла учебная команда Павловцев, которых в это время заперли. Это ускорило восстание полка. Литовцы и Волынцы решили присоединиться к Павловцам.

$1\frac{1}{2}$ ч дня. Идут по Сергиевской мимо наших окон вооруженные рабочие, солдаты, народ. Все автомобили останавливаются, солдаты высаживают едущих, стреляют

в воздух, садятся и уезжают. Много автомобилей с красными флагами, заворачивающих к Думе.

2 ч дня. Делегация от 25 тыс. восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее место.

Экстренное заседание Думы продолжается?

Мимо окон идет страшная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7–8 лет, со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семеновцев. Но вся улица, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут «за народ».

3 ч дня. Известия о телеграммах Родзянки к царю; первая — с мольбой о смене правительства, вторая — почти паническая — «последний час настал, династия в опасности»; и две его же телеграммы Брусилову и Рузскому с просьбой поддержать ходатайство у царя. Оба ответили — первый: «Исполнил свой долг перед царем и родиной», второй: «Телеграмму получил, поручение исполнил».

4 часа. Стреляют — большей частью в воздух. Известия: раскрыты тюрьмы, заключенные освобождены. Кем? Толпы чаще всего — смешанные. Кое-где солдаты «снимали» рабочих (Орудийный завод) — рабочие высыпали на улицу. Из предварилки, между прочим, выпущен и Манасевич, его чуть ли не до дому проводили.

Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали ее своей базой. Когда оттуда выпустили Хрусталева-Носаря (председатель сов. рабочих депутатов в 1905 г.), рабочие и солдаты встретили его восторженно. По рассказу Вани Пугачева на кухне (Ваня — старинный знакомый, молодой матрос):

«Он столько лет страдал за народ, так вот, недаром». (Мое примечание: Носарь эти десять лет провел в Париже, где вел себя сомнительно, вернулся только с полгода; по всем сведениям — сумасшедший...) «Сейчас это его взяли

и повезли в Думу. А он по дороге: постойте, говорит, товарищи, сначала идите в Окружной суд, сожгите их гадкие дела, там и мое есть. Они пошли, подожгли, и сейчас горит. Ну, привезли в Думу — к депутатам. Те сейчас согласились, пусть он какую хочет должность берет и министров выбирает. Стал он, значит, глава совета рабочих депутатов. (Мое примечание: Ваня совсем не «серый» матрос, но какая каша, даже любопытно: «глава» Сов<ета> раб<очих> депутатов — «выбирает» министров и садится на любую «должность»...) Потом говорит: поедемте на Финляндский вокзал вызванные войска встречать, чтобы они сразу стали за народ... Ну, и уехали».

Окружной суд, действительно, горит. Разгромлено также Охранное отделение, и дела сожжены.

4½ часа. Стрельба продолжается, но вместе с тем о прав. войсках ничего не слышно. Ганфман поехал в Думу на моторе, но «инсургенты» его высадили. В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят Временное правительство с популярным генералом «для избежания анархии», левые хотят Временного правительства из видных думцев и общественных деятелей.

Узнала, что Дума, получив приказ о роспуске, вовсе не решила «не расходиться», весьма заколебалась и даже начала было собираться восвояси; но ее почти механически задержали события — первые подошедшие войска из восставших, за которыми полились без перерыва и другие. Передают, что Родзянко ходит, растерянно ударяя себя руками: «Сделали меня революционером! Сделали!»

Беляев предложил ему сформировать кабинет, но Родзянко ответил: «Поздно».

5 часов. В Думе образовался Комитет «для водворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами».

Двенадцать: Родзянко, Коновалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов и Ржевский.

Комитет заседает перманентно. Тут же во дворце Таврическом (в какой зале — не знаю) заседает и Сов<ет> раб<очих> депутатов. В какой они связи с Комитетом — не выясняется определенно. Но там и представители кооперативов.

5½. Арестовали Щегловитова. Под революционной охраной привезли в Думу. Родзянко протестовал, но Керенский, под свою ответственность, посадил его в Министерский павильон и запер.

(Голицын известил Родзянку, что уходит, равно будто бы и другие министры, кроме Протопопова.)

Все ворота и подъезды велено держать открытыми. У нас на дворе солдаты искали двух городовых, живущих в доме. Но те переоделись и скрылись. Солдаты, кажется, были выпивши, один стрельнул в окно. Угрожали старшему, ранили его, когда он молил о пощаде.

На улицах пулеметы и даже пушки — все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правит. войсках не слышно, а полиция скрылась.

Насчет других районов — слухи противоречивы: кто говорит, что довольно порядливо, другие — что были разгромы лавок, — ружейной на Невском и Гв. о-ва.

6 часов. В восставших полках, в некоторых, убиты офицеры, командиры и генералы. Слух (непроверенный), что убит японский посланник, принятый за офицера. Насчет артиллеристов и семеновцев все так же неопределенно. На улицах ни одной лошади, ни в каком виде; только гудящие автомобили, похожие на дикобразов: торчат кругом щетиной блестящие иглы штыков.

7 часов. На Литейной, 46 хотят выпустить «Известия» от комитета журналистов, — там Земгор, союзы и т. д. «Известия» думцев, которые они уже начали было печатать в типографии «Нов<ого> вр<емени>», не вышли: явились вооруженные рабочие и заставили напечатать несколько революционных прокламаций «неприятного» тона, по словам Волковысского (сотр<удника> моск<овской> газеты «Утро России»). Он же говорит, что «движение принимает стихийный характер». Родзянко и думцы теряют всякое влияние. Мало, мол, они нас предавали. Терпи, да терпи, да сами разговоры разговаривали...

(Это похоже на правду. И эта возможность, конечно, самая ужасная. Да, неизъяснимо все страшно. Небывало страшно. То «необойдимое», что, зналось, все равно будет. И лик его закрыт. Что же? «Она» — или «Оно»?)

9 часов. Есть тайные слухи, что министры засели в градоначальстве и совещаются под председательством Протопопова. Вызваны, кажется, войска из Петергофа. Будто бы начало сражения на Измайловском, но еще не проверено.

Воззвание от Совета Раб<очих> депутатов. Очень куцее и смутное. «Связывайтесь между собой... Выбирайте депутатов... Занимайте здания»... О связи своей с Думским Комитетом — ни слова.

Все думают, что и с правительством еще предстоит бойня. Но странно, что оно так стерлось, точно провалилось. Если соберет какие-нибудь силы — не задумается начать расстрел Гос<ударственной> Думы

Вдоль Сергиевской уже смотрит пушка, но эта — революционная. (Ядра-то у всякой — те же.)

О назначении будто бы Алексеева — слух смолк. Говорят, о приезде то Ник<олая> Ник<олаеви>ча, то Мих<аила> Ал<ександрови>ча, то еще кого-то.

(Опять где-то стрельба.)

11 час. веч. Вышли какие-то «Известия». Общее подтверждается. Это Комит<ет> петерб<ургских> журналистов. Есть еще воззвание рабоч. депутатов: «Граждане, кормите восставших солдат...»

О связи(?), об отношениях между Комитетом Думским и С<овета> Р<абочих> Д<епутатов> ни тут, ни там — ни слова.

12 час. У нас телефоны продолжаются, но верного ничего. От выводов и впечатлений хочется воздержаться. Одно только: сейчас Дума не во власти ли войск — солдат и рабочих? Уже не во власти ли?

28 февраля. Вторник

Вчера не кончила и сегодня, очевидно, всего не напишу. Грозная, страшная сказка.

Н. Слонимский пришел (студент, в муз. команде преображенцев), принес листки. Рассказывал много интересного. Сам в экстазе, забыл весь свой индивидуализм.

«Известия» Сов<ета> Раб<очих> Депутатов: он заявляет, что заседает в Таврич<еском> дворце, выбрал «районных комиссаров», призывает бороться «за полное устранение стар<ого> пр<авительст>ва и за созыв Учр<едительного> собрания на основе всеобщего, тайного»... и т. д.

Все это хорошо и решительно, а вот далее идут «воззвания», от которых так и ударило затхлостью, двенадцатилетнею давностью, точно эти бумажки с 1905 года пролежали в сыром подвале (так ведь оно и есть, а новеньких и не успели написать, да не хватит их, писак этих, одних, на новенькие).

Вот из «манифеста» С. Д. Р. П., Ц<ентрального> К<омите>та: «...Войти в сношения с пролетариатом воюющих стран против своих угнетателей и поработителей, царских правительств и капиталистических клик для

немедленного прекращения человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам».

Да ведь это по тону и почти дословно — живая «Новая жизнь» «социал-демократа-большевика» Ленина пятых годов, где еще Минский, напрасно стараясь сделать свои «надстройки», получил арест и гибель эмиграции. И та же приподнятая тупость, и невежество, и непонимание момента, времени, истории.

Но... даже тут — не говоря о других воззваниях и заявлениях Сов<ета> Раб<очих> Деп<утатов>, с которыми уже по существу нельзя не соглашаться, — есть действенность, есть властность; и она — противопоставлена нежному безвластию Думцев. Они сами не знают, чего желают, даже не знают, каких желаний пожелать. И как им быть — с царем? Без царя? Они только обходят осторожно все вопросы, все ответы. Стоит взглянуть на Комитетские «Известия», на «Извещение», подписанное Родзянкой. Все это производит жалкое впечатление робости, растерянности, нерешительности.

Из-за каждой строчки несется знаменитый вопль Родзянки: «Сделали меня революционером! Сделали!»

Между тем ясно: если не будет сейчас власть — будет очень худо России. Очень худо. Но это какое-то проклятие, что они даже в совершившейся, помимо них, революции (и не оттого ли, что «помимо»?) не могут стать на мудрую, но революционную точку... состояния (точки «зрения» теперь мало).

Они — чужаки, а те, левые, — хозяева. Сейчас они погубители своего добра (не виноватые, ибо давно одни) — и все же хозяева.

Будет еще борьба. Господи! Спаси Россию. Спаси, спаси, спаси. Внутренне спаси, по-Твоему веди.

В 4 ч<аса> известие: по Вознесенскому едет присоединившаяся артиллерия. На немецкой кирке пулемет, стреляют в толпу.

Пришел Карташев, тоже в волнении и уже в экстазе (теперь не «балет»!).

— Сам видел, собственными глазами. Питиримку повезли! Питиримку взяли и в Думу солдаты везут!

Это наш достойный митрополит, друг покойного Гриши.

Войска — по мере присоединения, а присоединяются они неудержимо, — лавиной текут к Думе. К ним выходят, говорят. Знаю, что говорили речи Милюков, Родзянко и Керенский.

Контакт между Комит<етом> и Советом Р<абочих> Д<епутатов> неуловим. Какой-то, очевидно, есть, хотя они действуют параллельно; например, и те, и другие — «организовывают милицию». Но ведь вот: Керенский и Чхеидзе в одно и то же время и в Комитете, и в Совете. Может ли Комитет объявить себя правительством? Если может, то может и Совет. Дело в том, что Комитет ни за что и никогда этого не сделает, на это не способен. А Совет весьма и весьма способен.

Страшно.

Приходят люди, люди... Записать всего нельзя. Они приходят с разных концов города и рассказывают все разное, и получается одна грандиозная картина.

Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем близко застрекотали пулеметы. Это началось часов в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14 Протопопов наставил на всех высотах, даже на церквах (на соборе Спаса Преображения тоже). Алекс<андро>-Невский участок за пулемет с утра подожгли.

Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома? Очевидно, переодетые — «верные» — городовые.

Мы перешли на другую половину квартиры — что на улицу. Но не тут-то было. Началось с противоположного дома, прямо в окна. Улица опустела. Затем прошла вооруженная толпа. Часть ее поднялась наверх, по лестнице, искать пулемет на чердаке. Весь двор в солдатах. По ним жарят. Мы меняли половины в зависимости, с какой стороны меньше трескотня.

Тут же явился Боря Бугаев[38] из Царского, огорошенный всей этой картиной уже на вокзале (в Царском ничего, слухи, но стоят себе городовые).

С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе.

Боря вчера был у Масловского (Мстиславского) в Ник<олаевской> Академии. Тот в самых кислых, пессимистических тонах. И недоволен, и «нет дисциплины», и того, и сего... Между тем он — максималист. Я долго приглядывалась к нему и даже защищала, но года два тому назад стало выясняться, что эта личность весьма «мерцающая». Керенский даже ездил исследовать его «дело» на юг. Почему-то не довел до конца... Внешнее что-то помешало. Но из организации м. д.[39] его исключили, ибо достаточно было и добытого.

А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя — с ним дружит. С ним — и с Ив. Разумником, этим, точно ядовитой змеей укушенным, — «писателем».

В 8½ вечера — еще вышли «Известия». Да, идет внутренняя борьба. Родзянко тщетно хочет организовать войска. К нему пойдут офицеры. Но к Совету пойдут солдаты, пойдет народ. Совет ясно и властно зовет к Республике,

---

[38] Андрей Белый.

[39] Решительно не могу вспомнить сейчас (в 29 году), что это за организация «м. д.».

к Учр<едительному> собранию, к новой власти. Совет — революционен... А у нас, сейчас, революция.

Сидим в столовой — звонок. Три полусолдата, мальчишки. Сильно в подпитии. С ружьями и револьверами. Пришли «отбирать оружие». Вид, однако, добродушный. Рады.

Звонит Petit. В посольствах интересуются отношением «Временного пр<авительст>ва» (?) к войне. Жадно расспрашивал, правда ли, что председатель Раб. Совета — Хрусталев-Носарь.

Еще звонок. Сообщают, что «позиция Родзянко очень шаткая».

Еще звонок (позднее вечером). Из хорошего источника. Будто бы в Ставке до вчерашнего вечера ничего не знали о серьезности положения. Узнав — решили послать три хорошо подобранные дивизии для «усмирения бунта».

И еще позднее — всякие кислые известия о нарастающей стихийности, о падении дисциплины, о вражде Совета к думцам...

Но довольно. Всего не перепишешь. Уже намечаются, конечно, беспорядки. Уже много пьяных солдат, отбившихся от своих частей. И это Таврическое двоевластие...

Но какие лица хорошие. Какие есть юные, новые, медовые революционеры. И какая невиданная, молниеносная революция.

Однако выстрел. Ночь будет, кажется, неспокойная.

P. S. Позднее, ночью

Не могу, приписываю два слова. Слишком ясно вдруг все понялось. Вся позиция Комитета, вся осторожность и слабость его «заявлений» — все это вот отчего: в них теплится еще надежда, что царь утвердит этот комитет, как официальное правительство, дав ему широкие полномочия, может быть, «ответственность» — почем я знаю!

Но еще теплится, да, да, как самое желанное, именно эта надежда. Не хотят они никакой республики, не могут они ее выдержать. А вот, по-европейски, «коалиционное министерство», утвержденное Верховной Властью... — Керенский и Чхеидзе? Ну, они из «утвержденного»-то автоматически выпадут.

Самодержавие так всегда было непонятно им, что они могли все чего-то просить у царя. Только просить могли у «законной власти». Революция свергла эту власть — без их участия. Они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности — сверху. Пассивно-явочным порядком. Но они естественно безвластны, ибо взять власть они не могут, власть должна быть им дана, и дана сверху; раньше, чем они себя почувствуют облеченными властью, они и не будут властны.

Все их речи, все слова я могу провести с этой подкладкой. Я пишу это сегодня, ибо завтра может сгаснуть их последняя надежда. И тогда все увидят. Но что будет?

Они-то верны себе. Но что будет? Ведь я хочу, чтоб эта надежда оказалась напрасной... Но что будет?

Я хочу, явно, чуда.

И вижу больше, чем умею сказать.

1 марта. Среда

С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. Дмитрий даже сегодня пришел в «розовые тона», ввиду обилия войск дисциплинированных.

Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний — и весь уже весенний. Широкое, веселое небо.

Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга.

С нами был и Боря Бугаев (он у нас в эти дни). В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые, — милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости...

Вернулись домой со встретившимся там Мих. Ив. Туган-Барановским. Застали уже кучу народа, студентов, офицеров (юных, тоже недавних студентов, когда-то из моего «Зел. кольца»).

Уже ясно, более или менее, для всех то, что мне понялось вчера вечером насчет Комитета. Будет еще яснее.

Утренняя светлость сегодня — это опьянение правдой революции, это влюбленность во взятую (не «дарованную») свободу, и это и в полках с музыкой, и в ясных лицах улицы, народа. И нет этой светлости (и даже ее понимания) у тех, кто должен бы сейчас стать на первое место. Должен — и не может, и не станет, и обманет...

4 часа. Прибывают всякие вести. Все отчетливее разлад между Комитетом и Советом. Слух о том, что к царю (он где-то застрял между Псковом и Бологим со своим поездом) посланы или поехали думцы за отречением. И даже будто бы он уже отрекся в пользу Алексея с регентством Мих<аила> Ал<ександровича>. Это, конечно (если это так), идет от Комитета. Вероятно, у них последняя надежда на самого Николая исчезла (поздно!), ну, так вот, чтоб хоть оформить приблизительно... Хоть что-нибудь сверху, какая-нибудь «верховная санкция революции»...

У нас пулеметы протопоповские затихли, но в других районах действуют вовсю и сегодня. «Героичные» городовые, мало притом осведомленные, жарят с Исаакиевского собора...

За несколько дней до событий Протопопов получил «высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля». Он хвастался, после убийства Гришки, что «подавил революцию сверху. Я подавлю ее и снизу». Вот и наставил пулеметов. А жандармы о сию пору защищают уже не существующий «старый режим».

А полки все идут, с громадными красными знаменами. Возвращаются одни — идут другие. Трогательно и... страшно, что они так неудержимо текут, чтобы продефилировать перед Думой. Точно получить ее санкцию. Этот акт «доверия» — громадный факт; и плюс... а что тут страшного — я знаю и молчу.

Боря смотрит в окна и кричит:

— Священный хоровод!

Все прибывают в Думу — и арестованные министры, всякие сановники. Даже Теляковского повезли (на его доме был пулемет). Арестованных запирают в Министерский павильон. Милюков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский властно запер и его в павильон. О Протопопове — смутно, будто он сам пришел арестовываться. Не проверено.

6 часов. Люди, вести, звонки. Зензинов, оказывается, в Совете. Приехал случайно из Москвы по лит. делам, здесь события и захватили его. Мы знали его лет 10, еще в Париже, еще до его ссылки в Русское Устье. С<оциалист>-р<еволюционер> типа святого, слабого, аскетического. С Керенским его Дима же и познакомил, введя его в один из «кругов»... Сейчас узнаем, что он в Совете — из числа крайних. Вот тебе и на!

Хрусталев сидит себе в Совете и ни с места, хотя ему всячески намекают, что ведь он не выбран... Ему что.

По рассказам Бори, видевшего вчера и Масловского, и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммуны» и боятся стихии и крайности.

До сих пор ни одного «имени», никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко (не в смысле той или другой крайности, но в смысле связи и соединения всех) — Керенский. В нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, и в Совете.

В 8 часов. Боре телефонировал из Думы Ив. Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклепанного между Комитетом и Советом; следит, должно быть, как развертывается это историческое, двуглавое, заседание. Начало заседания теряется в прошлом, не виден и конец; очевидно, будет всю ночь. Доходит, кажется, до последней остроты. Боря позвал Ив<анова>-Раз<умника>, если будет перед ночью перерыв, зайти к нам, отдохнуть, рассказать.

Ив<анова>-Раз<умника> у нас не бывает (его трудно выносить), но теперь отлично, пусть придет. У нас все равно штаб-квартира для знакомых и полузнакомых (иногда вовсе незнакомых) людей, плетущихся пешком в Думу (в Таврич<еский> дворец). Кого обогреваем, кого чаем поим, кого кормим.

В 11 часов. Телефон от Petit. Был в Думе. Полный хаос. Родзянко и к нему (наверно, тоже хлопая себя по бедрам): «Voila m-r Petit, nous sommes en pleine révolution!»[40]

Затем пришел Ив. Разумник, обезноженный, истомленный и еще простуженный. В Т<аврическом> Дворце перерыв заседания на час. К 12 он опять туда пойдет.

Мы взяли его в гостиную, усадили в кресло, дали холодного чаю. Были только Дмитрий, Боря и я.

---

[40] Вот, мсье Пети, у нас полная революция! (*Фр.*)

Надо сказать правду, навел он на нас ужаснейший мрак. И сам в полном отчаянии и безнадежности. Но передам лишь кратко факты, по его словам.

Совет Раб<очих> Депутатов состоит из 250–300 (если не больше) человек. Из него выделен свой «Исполнительный Комитет», Хрусталева в Комитете нет. Отношения с Думским Комитетом — враждебные. Родзянко и Гучков отправились утром на Никол<аевский> вокзал, чтобы ехать к царю (за отречением? или как? и посланные кем?), но рабочие не дали им вагонов. (Потом, позднее, все же поехали, с кем-то еще.) Царь и не на свободе, и не в плену, его не пускают железнодорожные рабочие. Поезд где-то между Бологим и Псковом.

В Совете и Комитете Р<абочих> Д<епутатов> роль играет Гиммер (Суханов), Н. Д. Соколов, какой-то «товарищ Безымянный», вообще большевики. Открыто говорят, что не желают повторения 1848 года, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их расстреляли. «Лучше мы либералов расстреляем». В войсках дезорганизация полная. Когда посылают на вокзал 600 человек — приходят 30. Нынче в 6 ч<асов> у<тра> сказали, что из Красного идет полк с артиллерией и обозом. Все были уверены, что правительственный. Но на вокзале оказалось, что «наш». Продефилировал перед Думой. Затем его отправили в... здание М<инистерства> путей сообщения, превратив здание в казармы.

«Буржуазная» милиция не удалась. Действует милиция с.-деков. Думский Комитет не давал ей оружия — взяла силой.

Была мысль позвать Горького в Совет, чтобы образумить рабочих. Но Горький в плену у своих Гиммеров и Тихоновых.

Керенский — в советском Комитете занимает самый правый фланг (а в думском — самый левый).

Совет уже разослал по провинции агентов с лозунгом «конфисковать помещичьи земли». А Гвоздев, только что освобожденный из тюрьмы, не выбран в Исполн<ительный> Комитет — как слишком правый.

Вообще же Ив. Разумник смотрит на Совет с полным ужасом и отвращением, как не на «коммуну» даже, а скорее, как на «пугачевщину».

Теперь все уперлось и заострилось перед вопросом о конструировании власти. (Совершенно естественно.) И вот — не могут согласиться. Если все так — то они и не согласятся ни за что. Между тем нужно согласиться, и не через 3 ночи, а именно в эту ночь. Когда же еще?

Интеллигенты вожаки Совета (интересно, насколько они вожаки? Быть может, они уже не вполне владеют всем Советом и собой?) обязаны идти на уступки. Но и думцы-комитетчики обязаны. И на большие уступки. Вот в каком принудительном виде, и когда, преподносится им «левый блок». Не миновали. И я думаю, что они на уступки пойдут. Верить невозможно, что не пойдут. Ведь тут и воли не надо, чтобы пойти. Безвыходно, они понимают. (Другой вопрос, если все «поздно» теперь.)

Но положение безумно острое. И такой черной краской нарисовал его Разумник, что мы упали духом. Весь же вопрос в эту минуту: будет создана власть — или не будет.

Совершенно понятно, что уже ни один из комитетов целиком, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье.

Много было еще разных вестей, даже после ухода Разумника, но не хочется писать. Все о главном думается. Приподнимаю портьеру; открываю замерзшее окно; вглядываюсь в близкие, голые деревья Таврического сада; стараюсь разглядеть невидный круглый купол дворца. Что-то там сейчас под ним?

А сегодня привезли туда Сухомлинова. Одну минуту казалось, что его солдаты растерзают...

Протопопов, действительно, явился сам. С ужимочками, играя от страха сумасшедшего. Прямо к Керенскому: «Ваше высокопревосходительство...» Тот на него накричал и приобщил к другим в павильон.

Светлое утро сегодня. И темный вечер.

2 марта. Четверг

Сегодня утром все притайно, странно тихо. И погода вдруг сероватая, темная. Пришли два офицера-прапорщика (бывшие студенты). Уж, конечно, не «черносотенные» офицеры. Но творится что-то нелепое, неудержимое, и они растеряны. Солдаты то арестуют офицеров, то освобождают, очевидно, сами не знают, что нужно делать и чего они хотят. На улице отношение к офицерам явно враждебное.

Только что видели прокламацию Совета с призывом не слушаться думского Комитета.

А в последнем № советских «Известий» (да, теперь это уже не «Совет Раб<очих> Депутатов», а «Совет Рабочих и Солдатских депутатов») напечатан весьма странный «приказ по гарнизону № 1». В нем сказано, между прочим, — «слушаться только тех приказов, которые не противоречат приказам Сов<ета> Раб<очих> и Солд<атских> депутатов».

Часа в три пришел Руманов из Думы, обезноженный: автомобиль отняли. «Верст по 18 в день делаю». Оптимистичен, но не заражает. Позицию думцев определил очень точно, с наивной прямотой: «Они считают, что власть выпала из рук законных носителей. Они ее подобрали и неподвижно хранят, и передадут новой законной власти, которая должна иметь от старой ниточку преемственности».

Прозрачно-ясно. Вот, чуть исчезла их надежда на Николая II самого — они стали добиваться его отречения и Алексея с регентством Михаила. Ниточка... если не канат. А не «облеченные» — безвластны.

Сидельцы в. Министерском павильоне (много их там) являют художественную картину: Горемыкин с сигарой. Стишинский — задыхающийся. Маклаков в отчаянии просил, чтобы ему дали револьвер. И все везут новых.

В здании Думы — разрастающийся хаос. Гржебин составляет «Известия Р<абочих> Деп<утатов>», Лившиц, Неманов, Поляков (кадеты) — просто «Известия» (Д<умского> Ком<ите>та).

Демидов и Вася (Степанов думец, кадет, мой двоюродный брат) ездили в Царское от Д<умского> Ком<итета> — назначить «коменданта» для охраны царской семьи. Поговорили с тамошним комендантом и как-то неопределенно глупо вернулись «вообще».

Люди являлись, сменялись, но ничего толкового не приносили. Беспокойство нарастало. Что же там, наконец? Решат ли выбрать правительство, или треснут окончательно?

Пришел невинный и детски-сияющий секретарь Льва Толстого — Булгаков.

Потом пришли Petit. Он отправился в Думу, она осталась пока у нас.

Вернулся Боря Бугаев: хотел проехать в Царское за вещами, но это оказалось невозможным, не попал.

Сидим, сумерки, огня не зажигаем, ждем, на душе беспокойно. Страх — и уже начинающееся возмущение.

Вдруг — это было уже часов в 6 — телефон, сообщение (самое верное, ибо от Зензинова идущее): «Кабинет избран. Все хорошо. Соглашение достигнуто».

Перечислил имена. Не пишу их здесь (это ведь история), лишь главное: премьером Львов (москвич, правее кадетов), затем Некрасов, Гучков, Милюков, Керенский

(юст<иция>). Замечу следующее: революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт: все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым.

Как личности — все честные люди, но не крупные, решительно. Милюков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда — если он в несвойственной ему среде будет вертеться?

Вот Керенский — другое дело. Но он один.

Родзянки нет. Между тем, если говорить не по существу уже, а в смысле «имен», имя Родзянки, ровно столь же «не пользующееся доверием демократии», сколько имена Милюкова и Гучкова.

Все это поневоле приводит в смущение. В сомнение насчет будущего...

Но не будем гадать ни о чем; слава Богу, первый кризис разрешен.

Вернувшийся из Думы Petit подтвердил имена и факт образования кабинета.

Вечером разные вести о подходящих будто бы правительственных войсках. Здешние не трусят: «Придут — будут наши». Да какие, в самом деле, войска? Отрекся уже царь или не отрекся?

На кухне наш «герой» — матрос Ваня Пугачев. Страшно действует. Он уже в Совете — депутатом. Пришел прямо из Думы. Говорит охриплым голосом. Чуть выпил. В упоении, но рассказывает очень толково, как их смутил сегодня Приказ № 1.

— Это тонкие люди иначе поняли бы. А мы прямо поняли. Обезоруживай офицеров. Кузьмин расплакался.

А есть у нас капитан II ранга Лялин — тот отец родной. Поехали мы в автомобиле, он говорит: вот адъютанта Саблина — убивайте. Он вам враг, а вот Ден, хоть и фамилия нерусская, друг вам. Вы много сделали. Крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили...

Потом продолжает:

— Сейчас в Думе у меня товарищи просили, чтоб левый депутат удостоверил, что Учр<едительное> собрание будет и что верит новому правительству. Я прямо к Керенскому, а он шепотом говорит. Я к Суханову — и тот только рукой машет. Прислали нам Стеклова, стал говорить — и в обморок упал. Уж устал очень.

Поздно ночью — такие, наконец, вести, определенные: Николай подписал отречение на станции Дно в пользу Алексея, регентом Мих<аила> Ал<ександровича>. Что же теперь будет с законниками? Ведь главное, что сегодня примирило, вероятно, левых и с «именами», это — что решено Учредительное собрание. Что же это будет за Учредительное собрание при учрежденной монархии и регентстве?

Не понимаю.

3 марта. Пятница

Утром — тишина. Никаких даже листков. Мимо окон толпа рабочих, предшествуемая казаками, с громадным красным знаменем на двух древках: «Да здравствует социалистическая республика». Пение. Затем все опять тихо.

Наша домашняя демократия грубо, но верно определяет положение: «Рабочие Мих<аила> Ал<ександровича> не хотят, оттого и манифест не выходит».

Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алексея («мне тяжело расставаться с сыном») в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам сказали, что новый кабинет на это согласился (и Керенский?), что Михаил

будет «пешкой» и т. д., — мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо около Романовых завьется сильная черносотенная партия, подпираемая церковью, — это представляется невозможным при общей ситуации данного момента. Само в себе абсурдным, неосуществимым.

И вышло: с привезенным царским отречением Керенский (с Шульгиным и еще с кем-то) отправился к Михаилу. Говорят, что не без очень определенного давления со стороны депутатов (т. е. Керенского) Михаил, подумав, тоже отказался: если должно быть Учредительное собрание — то оно, мол, и решит форму правления. Это только логично. Тут Керенский опять спас положение: не говоря о том, что весь воздух против династии, Учр. собр. при Михаиле делалось абсурдом; Керенский при Михаиле и с фикцией Учред. собр. автоматически вылетал из кабинета; а рабочие Советов начинали черт знает что, уже с развязанными руками. Ведь в новое правительство из Совета пошел один Керенский, только — он — к своим вчерашним «врагам», Милюкову и Гучкову. Он один понял, что требует мгновение, и решил, говорят, мгновенно, на свой страх; пришел в Совет и объявил там о своем вхождении в министерство post factum. Знал при этом, что другие, как Чхеидзе. Например, (туповатый, неприятный человек), решили ни в каком случае в п<равительст>во не входить, чтоб оставаться по-своему «чистенькими» и действовать независимо в Совете. Но такова сила верно угаданного момента (и личного полного «доверия» к Керенскому, конечно), что пламенная речь нового министра — и тон, председателя Совета — вызвала бурное одобрение Совета, который сделал ему овацию. Утвердил и одобрил то, на что «позволения» ему не дал бы, вероятно.

Итак, с Мих<аилом> Алек<сандровичем> выяснено. Керенский на прощанье крепко пожал вел. князю руку: «Вы благородный человек».

Тотчас поползли слухи, что военный министр Гучков и мин. ин. дел Милюков уходят. Это очень, слишком, похоже на правду. Однако оказалось неправдой. Хотела написать «к счастью», да и в самом деле, это было бы новым узлом сейчас, но... я не понимаю, как будут министерствовать Гучков и Милюков, не чувствуя себя министрами. Ведь они не «облечены» властью никем, а пока не «облечены» — в свою власть они не верят и никогда не поверят. Это кроме факта, что они не знают, не видят того места и времени, когда и где им суждено действовать, органически не понимают, что они — во «время» и в «стихии» РЕВОЛЮЦИИ.

Посмотрим.

Кто о чем, а посольства только о войне. Французам наплевать, что у нас внутри, лишь бы Россия хорошо дралась, и всячески пристают, какие известия с фронта. Их успокоили, что в данный момент положение «утешительное», а на Кавказе даже «блестящее». (Дима же и передавал им нужные справки!)

Французы близоруки. В их же интересах следовало бы им к нашему внутреннему внимательнее относиться. В военных интересах. Ведь это безумно связано. Теперь не понимая, они и потом ничего не поймут. Заботятся сейчас о кавказском фронте! Как будто это им что-нибудь объяснит и предскажет. О войне надо заботиться отсюда.

Много мелких вестей и глупых слухов. Например, слух, что «Вильгельм убит». Постарались! Из правых кругов, сановничьих, Дима много узнавал комического и трагического. Но это в его записи. Уж слишком широк диапазон соприкосновений в нашем доме: от Сухановых, даже от Вань Пугачевых — до посольств и сановников с генералами. Мне не угнаться.

Любопытно, что до сих пор правительство не может напечатать ни одного приказа, не может заявить о своем существовании, ровно ничего не может: все типографии

у Ком. рабочих, и наборщики ничего не соглашаются печатать без его разрешения. А разрешение не приходит. В чем же дело — неясно. Завтра не выйдет ни одна газета.

Московские пришли: старые, от 28 ф. — точно столетние. А новые — читаешь, и кажется — лучше нельзя, ангелы поют на небесах и никакого Совета Раб<очих> Депут<атов> не существует.

Сегодня революционеры реквизировали лошадей из цирка Чинизелли и гарцевали воистину «на конях» — дрессированных. На Невском сламывали отовсюду орлов, очень мирно, дворники подметали, мальчишки крылья таскали, крича: «Вот крылышко на обед».

Боря, однако, кричит: «Какая двоекрылая у нас безголовица!»

Именно.

«Секрет» Протопопова, который он пожелал, придя в Думу арестоваться, открыть «его высокопревосходительству» Керенскому, заключался в списке домов, где были им наставлены пулеметы. Затем он сказал: «Я оставался министром, чтобы сделать революцию. Я сознательно подготовил ее взрыв».

Безумный шут.

Теляковского выпустили. Он напялил громадный красный бант.

Много еще всего... В церкви о сю пору «само-дер-жавнейшаго»... Тоже не «облечены» приказом и не могут отменить. Впрочем, где-то поп на свой страх, растерявшись, хватил: «Испол-ни-тельный Ко-ми-тет...»

Господи, Господи! Дай нам разум!

4 марта. Суббота

Утром — ничего, газет нету, вестей нету. Смутные слухи о трениях с Сов<етом>. Наконец, как будто выясняется: спор — насчет времени Учр<едительного> с<обрания>, немедля — или после войны.

Вот вышли «Известия». Ничего, хороший тон. Раб<очий> Сов<ет> пока отлично себя держит. Доверие к Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело.

Даже Д. В., вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: «А<лександр> Ф<едорович> оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальная. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь — бестактна в той обстановке, в которой он говорил».

Это подлинные слова Д. В., и — ведь это только то сознание, к которому должны, обязаны, хоть теперь, прийти все кадеты и кадетствующие. И о сию пору не приходят, и не верю я, что придут. Я их ненавижу от страха (за Россию), совершенно так же, как их действенных антиподов, крайних левых («голых» левых с «голыми» низами).

В Керенском — потенция моста, соединение тех и других, и преображения их во что-то единое третье, революционно-творческое (единственно нужное сейчас).

Ведь вот: между ЭВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКИМ и РЕВОЛЮЦИОННО-РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ — пропасть в данный момент. И если не будет наводки мостов и не пойдут по мостам обе наши теперешние, сильные, неподвижности, претворяясь друг в друга, создавая третью силу, РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКУЮ, — «Россия (да и обе неподвижности) свалятся в эту пропасть.

Часа в три лазарет инвалидов, что против нас, высыпал на улицу. Одноногие, калеки, тоже пошли в Думу, и знамя себе устроили красное, и тоже «республика», «земля и воля» и все такое. Мы отворили занесенные сугробами окна (снегу сегодня, снегу намело — небывало!), махали им

красным. Стали они красных лент просить, мы им бросили все, что имели, даже красные цветы гвоздики (стояли у меня с первого представления «Зел. кольца»).

Ваня Пугачев каждый день является к нам из Думы (сидит в Сов<ете> Р<абочих> Д<епутатов>).

Рассуждает: «Дом Романовых достаточно себя показал. Не мужественно Николай себя вел. Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только Родзянке народ не доверился. Вот Керенский и Чхеидзе — этим народ поверил, как они ни в чем не замечены. Это дело совсем иное. А войну сразу прекратить немыслимо, Вильгельм брат двоюродный, если он власть возьмет — он нам опять Романова посадит, очень просто. И опять это на триста лет».

Не вижу что-то другого нашего Ваню — Румянцева (солдат-рабочий). И Сережу Глебова. Последний очень интеллигентен.

Какая сегодня опять белоперистая вешняя пурга. И сиянье.

5 марта. Воскресенье

Вышли газеты. За ними — хвосты. Все похожи в смысле «ангелы поют на небесах и штандарт Времен<ного> правительства скачет». Однако трения не ликвидированы. Меньшинство Сов<ета> Р<абочих> Д<епутатов>, но самое энергичное, не позволяет рабочим печатать некоторые газеты и, главное, становиться на работы. А пока заводы не работают — положение не может считаться твердым.

В аполитических низах, у просто «улицы», переходящей в «демократию», общее настроение: против Романовых (отсюда и против «царя», ибо, к счастью, это у них неразрывно соединено). Потихоньку всплывает вопрос церкви. Ее собственная позиция для меня даже неинтересна, до такой степени заранее могла быть предугадана

во всех подробностях. Кое-где на образах — красные банты (в церкви). Кое-в-каких церквах — «самодержавнейший». А в одной священник объявил притчу: «Ну, братцы, кому башка недорога — пусть поминает, а я не буду». Здесь священник проповедует покорность новому «благоверному правительству» (во имя невмешательства церкви в политику); там — плачет о царе-помазаннике, с благодатью... К такому плачу слушатели относятся разно: где-то плакали вместе с проповедником, а на Лиговке солдаты повели батюшку вон. Не смутился; можете, говорит, убить меня за правду... Не убили, конечно.

Со жгучим любопытством прислушиваюсь тут к аполитической, уличной, широкой демократии. Одни искренно думают, что «свергли царя» — значит, «свергли и церковь» — «отменено учреждение». Привыкли сплошь соединять вместе, неразрывно. И логично. Хотя говорят «церковь» — но весьма подразумевают «попов», ибо насчет церкви находятся в самом полном, круглом невежестве. (Естественной.) У более безграмотных это более выпукло: «Сама видела, написано: долой монахию. Всех, значит, монахов по шапке». Или: «А мы нынче нарочно в церкву пошли, слушали-слушали, дьякон бормочет, поминать не смеет, а других слов для служения нет, так и кончили, почитай, без службы...»

Солдат подхватывает:

Понятное дело. Как пойдут, бывало, частить и старуху, и родичей... Глядь — и обедня...

Пока записываю лишь наблюдения, без выводов. Вернусь.

Город еще полон кипением. Нынче мимо нас шла двухверстная толпа с пением и флагом — «да здравствует совет рабочих депутатов».

6 марта. Понедельник

Устала сегодня, а писать надо много.

Был Н. Д. Соколов, этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный попович, присяжный поверенный — председательствующий в Сов. Раб. депутатов.

Это он, с Сухановым-Гиммером, там «верховодит», и про него П. М. Макаров (тоже присяж. пов., и вся та же «совместная», лево-интеллигентская группа до революции) только что спрашивал: «До сих пор в красном колпаке? Не порозовел? В первые дни был прямо кровавый, нашей крови требовал».

На мой взгляд или «розовеет», или хочет показать здесь, что весьма розов. Смущается своей «кровавостью». Уверяет, что своим присутствием «смягчает» настроение масс. Приводил разные примеры выкручиванья, когда предлагалось броситься или на зверство (моментально ехать расстреливать павловских юнкеров за хранение учебных пулеметов), или на глупость (похороны «жертв» на Дворцовой, мерзлой, площади).

Рассказывал многое — «с того берега», конечно. Уверял, что составлению кабинета «мешали отнюдь не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите, кого хотите. Нам была важна декларация нового правительства. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны. И мы делали уступки. Например, в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал...».

Распространялся насчет промахов пр<авительст>ва и его неистребимого монархизма (Гучков, Милюков).

Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Временным прав<ительств>ом двухтысячной толпы, властного и буйного перманентного митинга, — этого Совета Раб<очих> и Солд<атских> депутатов. Н. Д. Соколов рассказывал мне подробно (полусмущаясь,

полуизвиняясь), что он именно в напряженной атмосфере митинга писал Приказ № 1 (где, что называется, хвачено). Приказ будто бы необходим был, так как, из-за интриг Гучкова, армия, в период междуцарствия, присягнула Михаилу... «Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере у меня не могло выйти иначе, я думал о солдатах, а не об офицерах, ясно, что именно это у меня и вышло более сильно»[41]...

Сей «митинг» столь «властный», что к нему даже Рузский с запросами обращается. Сам себя избравший парламент. Советский Исп<олнительный> Ком<итет> иногда соглашается с пр<авительст>вом — иногда нет. Выходит, что иногда можно слушаться пр<авительст>ва — иногда нет. Они, советские, «стоят на стороне народных интересов», как они говорят, и следят за действиями правительства, которому «не вполне доверяют».

Со своей точки зрения, они, конечно, правы, ибо какие же это «революционные» министры, Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякими возможностями. Если бы только «революционность» митинга-совета восприняла какую-нибудь твердую, но одну линию, что-нибудь оформила и себя ограничила... но беда в том, что ничего этого пока не намечается. И левые интеллигенты, туда всунувшиеся, могут «смягчать», но ничего не вносят твердого и не ведут.

Да что они сами-то? Я не говорю о Соколове, но другие, знают ли они, чего хотят и чего не хотят?

Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный своими, заевшими его, большевиками Гиммерами и Тихоновым, он принялся почему-то за «эстетство»: выбрали они

---

[41] Мое примечание от 10 сент. 17:

— И вовсе не он даже и писал-то, — говорит Ганфман, — а Кливанский из «Дня». Но этот сразу покаялся и скрывает. Н. Д. же полухвастается, ибо только присутствовал.

«комитет эстетов» для укрощения революции; заседают, привлекли Алекс<андра> Бенуа (который никогда не знает, что он, где он и почему он). Был на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков. Но эти — чужаки, а горьковский кружок очень сплочен. Что-то противное, некместное, несвоевременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина — недели через две. «Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергаем нынешнее правительство».

Это по словам Батюшкова. Д. В. резюмирует: «Итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности — путь опоминанья — и путь всезабвенья. Если не

«...предрешена судьба от века», —

то каким мы путем пойдем — будет в громадной степени зависеть от нас самих.

Поворота к оформленью, к творчеству, пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о «свержениях».

Рабочие до сих пор не стали на работу.

7 марта. Вторник

Мороз 11° сегодня. Исключительная зима. Ни одной оттепели не было.

Положение то же. Или, разве, подчеркнуто то же. Сов. Раб. и С. издают приказы, их только и слушаются.

В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это Приказу № 1. Адм<ирал> Непенин телеграфировал: «Балтийский флот, как боевая единица, не существует. Пришлите комиссаров».

Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу, — ему всадили в спину нож.

Здесь, между «двумя берегами», правительственным и «советским», нет не только координации действий (разве для далекого и грубого взора), но почти нет контакта.

Интеллигенция силой вещей оказалась на ЭТОМ берегу, т. е. на правительственном, кроме нескольких: 1) фанатиков, 2) тщеславцев, 3) бессознательных, 4) природно-ограниченных. В данный момент и все эти разновидности уже не владеют толпой, а она ими владеет. Да, Россией уже правит «митинг» со своей митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а-революционное) Вр. пр-во. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит; но Россия — неизвестность.

Контакта с вооруженным митингом у нас, интеллигентов правительственной стороны, очень мало и через отдельных интеллигентов-выходцев, ибо они очень охраняют «тот берег».

Есть еще средняя часть, безвластная абсолютно: распыленные эсеры, например. Они «туда» лишь вхожи. Большинство из них просто в ужасе, как Ив. Разумник и Мстиславский.

Но такое отсутствие контакта — преступная вещь. Сегодня нам в панике звонил Макаров: дайте знать в Думу, чтоб от Сов<ета> Раб<очих> д<епутатов> послали делегатов в Ораниенбаум, на автомобиле: солдаты громят тамошний дворец и никого не слушают.

Любопытно, что П. М. Макаров теперь правительственное лицо: Керенский сделал его комиссаром по охране дворцов (Н. Н. Львов ушел, не желая проводить коренной реформы в ведомстве Двора; что, мол, за революция, лучше просто сберечь гнездо». Хорош. На его место хотят Урусова или Головина Ф. А.). Но хорош и «правительственный» Макаров. Звонит, для контакта

с Советом, — нам! Уж, кажется, ни в какой мере не «официальны». Мы бросились к М-х-у, сообщились с Думой через какую-то «комнату» и Тихонова; потом, вечером, Тихонов зашел к нам в переднюю (видела его мельком) сказать, что все было исполнено.

Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «Дворец отныне национальная собственность», благодарил за его сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз; услыхав милостивую благодарность, — толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь. Керенский был с Макаровым (который это и передавал сегодня вечером у нас). Когда они ехали из дворца в открытом автомобиле — им кланялись и прохожие.

Керенский — сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что один. Он гениальный интуит, однако не «всеобъемлющая» личность: одному же вообще никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке сейчас только один — прямо страшно.

Или будут многие и все больше, — или и Керенский сковырнется.

Роль и поведение Горького — совершенно фатальны. Да, это милый, нежный готтентот, которому подарили бусы и цилиндр. И все это «эстетное» трио по «устройству революционных празднеств» (похорон?) весьма фатально: Горький, Бенуа и Шаляпин. И в то же время, через Тихоно-Сухановых, Горький опирается на самую слепую часть «митинга».

К «бо-зарам» уже прилепились и всякие проходимцы. Например, Гржебин, раскатывает на реквизированных романовских автомобилях, занят по горло,

помогает клеить новое, свободное, «министерство искусств» (пролетарских, очевидно). Что за чепуха. И как это безобразно-уродливо, прежде всего. В pendant[42] к уродливому копанью могил в центре города, на Дворцовой площади, для «гражданского» там хороненья сборных трупов, держащихся в ожидании, — под видом «жертв революции». Там немало и городовых. Офицеров и вообще настоящих «жертв» (отсюда и оттуда) родственники давно схоронили.

Дворцовую же площадь поковыряли, но, кажется, бросят: трудно ковырять мерзлую, замощенную землю; да еще под ней, естественно, всякие трубы... остроумно!

В России, по газетам, спокойно. Но и в Петербурге, по газетам, спокойно. И на фронте, по газетам, спокойно. Однако Рузский просит прислать делегатов.

8 марта. Среда

Сегодня как будто легче. С фронта известия разноречивые, но есть и благоприятные. Советские «Известия» не дурного тона. Правда, есть и такие факты: захватным правом эсдеки издали № «Сельского вестника», где объявили о конфискации земли, и сегодня уже есть серьезные слухи об аграрных беспорядках в Новгородской губернии.

В типографии «Копейки» Бонч-Бруевич наставил пулеметов и объявил «осадное положение». Несчастная «Копейка» изнемогает. Да, если в таких условиях будут выходить «Известия», и под Бончем, то добра не жди. Бонч-Бруевич определенный дурак, но притом упрямый и подколодный.

Ораниенбаумский дворец как будто и не горел, как будто это лишь паника Макарова и Карташева.

Бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей (и пристально заниматься их

[42] В дополнение, под стать (*фр.*).

обсуждением). А я, на этом берегу, — ни о чем, кроме «опасностей революции», не слышу. Неужели я их отрицаю? Но верно ли это, что все (здесь) только ими и заняты? Я невольно уступаю, я говорю и о «митинге» и о Тришке-Ленине (о Ленине — это специальность Дмитрия: именно от Ленина он ждет самого худого), о проклятых «социалистах» (Карташев), о фронте и войне (Д. В.) и о каких-то планомерных «четырех опасностях» Ганфмана.

Я говорю, — но опасностей столько, что если говорить серьезно обо всех, то уже ни минуты времени ни у кого не останется.

Честное слово, не «с заячьим сердцем и огненным любопытством», как Карташев, следила я за революцией. У меня был тяжелый скепсис (он и теперь со мной, только не хочу я его примата), а карташевское слово «балет» мне было оскорбительно...

Но зачем эти рассуждения? Они здесь не нужны. Царь арестован. О Нилове и Воейкове умалчивается. Похорон на Дворцовой площади, кажется, не будет. Но где-нибудь да будут. От чего от чего, а от похорон никогда русский человек не откажется.

9 марта. Четверг

Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать, — все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая... сама по себе радость, огненная, красная и белая. В веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать со всеми, вот когда... (а не в войне).

У нас «двоевластие». И нелепости Совета с его неумными прокламациями. И «засилие» большевиков. И угрожающий фронт. И... общее легкомыслие. Не от легкомыслия ли не хочу я ужасаться всем этим до темноты?

Но ведь я все вижу.

Время острое — я не забываю. Время страшное, я не забываю. И все-таки надо же немного верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает меры, не узнает своих времен?

Бог спасет Россию.

Николай был дан ей мудро, чтобы она проснулась.

Какая роковая у него судьба. Был ли он?

Он, молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский дворец, где его и заперли.

Вернется ли к нам цезаризм, самодержавие, державие? Не знаю; все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всегда лишь конвульсии, лишь петли, которыми заворачивается единый исторический путь.

Россия освобождена — но не очищена. Она уже не в муках родов, — но она еще очень, очень больна. Опасно больна, не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца всегда радость, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать, и дитя.

В самом советском Комитете уже начались нелады. Бонч безумствует, окруженный пулеметами. Грозил Тихонову арестом. В то же время рекомендует своего брата, генерала «контрразведки», «вместо Рузского». Кого-то из членов Комитета уже изобличили в провокаторстве, что тщательно скрывают.

Незавидное прошлое притершегося к большевикам Гржебина никого не интересует: напрасно...

Звонил французский посол Палеолог: «ничего не понимает» и требует «влиятельных общественных деятелей» для информации. Тоже хорош. Четыре года тут сидит и даже никого не знает. Теперь поздно спохватился. Думает (Д. В.), что к нему не пойдут — некогда. Подчас Вр<еменное> правительство действует молниеносно (Керенский, толчки

Сов<ета> Р<абочих> Д<епутатов>). Амнистия, отмена смертной казни, временные суды, всеобщее уравнение прав, смена старого персонала — порою кажется, что история идет с быстротой обезумевшего аэроплана.

Но вот... я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалась. Подхожу к самому сейчас острому вопросу — вопросу о войне.

Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в правительстве? Оно будет молчать.

Вопрос о войне должен, и немедля, найти свою дорогу.

Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна.

Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю, — Керенский. (Но знать — еще ничто. Надо осуществлять знаемое. Керенский теперь — при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он — один.)

Для памяти, для себя, обозначу, хоть кратко, эту сегодняшнюю линию «о войне».

Вот: я ЗА войну. То есть: за ее наискорейший и достойный КОНЕЦ.

Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать нашу Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он.

Война, как таковая, — горькое наследие, но именно потому, что мы так рабски приняли ее и так долго сидели в рабах, — мы виноваты в войне. И теперь надо принять ее, как свой же грех, поднять ее, как подвиг искупленья, и с не прежней, новой, силой донести до настоящего конца.

Ей не будет настоящего конца, если мы сейчас отвернемся от нее. Мы отвернемся — она застигнет и задавит.

Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации: «...немедленное прекращение кровавой бойни...». Что это? «Глупость или измена?» — как спрашивал когда-то Милюков (о другом). Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев — пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда — «бойня»? Прекратить «по соглашению»? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля. Ведь они-то — не согласятся. Да, в этом «немедля» только и может быть: или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление.

Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно, не медля ни дня, объявить, именно от нового русского, нашего правительства, русское новое военное «во имя». Конкретно: необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет наших целей войны. Декларация, прежде всего чуждая всякому побединству. Союзники не смогут против нее протестовать (если бы втайне и хотели), особенно если хоть немного взглянут в нашу сторону и учтут наши «опасности» (им же грозящие).

Наши времена сократились. И наши «опасности» неслыханно, все, возрастают, если теперь, после революции, мы будем тянуть в войне ту же политику, совершенно ту же самую, форменно, как при царе. Да мы не будем — так как это невозможно; это само, все равно, провалится. Значит — изменить ее нужно...

Может быть, то, что я пишу — слишком обще, грубо и наивно. Но ведь я и не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий — и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту, для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет?

Даже если неосуществима. Долг Керенского — пытаться ее осуществить.

Он один. Какое несчастие. Ему надо действовать обеими руками (одной — за мир, другой — за утверждение

защитной силы). Но левая рука его схвачена «глупцами или изменниками», а правую крепко держит Милюков с «победным концом». (Ведь Милюков — министр иностранных дел.)

Если будет крах... не хочу, не время судить, да и не все ли равно, кто виноват, когда уже будет крах! Но как тяжело, если он все-таки придет и, если из-за него выглянут не только глупые и изменческие рожи, но лица людей честных, искренних и слепых; если еще раз выглянет лик думского «блока» беспомощной гримасой.

Но молчу. Молчу.

10 марта. Пятница

А дворец-то ораниенбаумский все-таки сгорел, или горел... Хотя верного опять ничего.

Ал<ександр> Бенуа сидел у нас весь день. Повествовал о своей эпопее министерства «бо-заров» с Горьким, Шаляпиным и — Гржебиным.

Тут все чепуха. Тут и Макаров, и Головин, и вдруг, случайно — какой-то подозрительный Неклюдов, потом споры, кому быть министром этого нового грядущего министерства, потом стычка Львова с Керенским, потом, тут же, о поощрении со стороны Сов<ета> Раб<очих> Деп<утатов>, перманентное заседание художников у Неклюдова (?), потом мысль Д. В., что нет ли тут закулисной борьбы между Керенским и Горьким... Дмитрий вдруг вопит: «Выжечь весь этот эстетизм!» — и, наконец, мы перестаем понимать что бы то ни было... глядим друг на друга, изумившись, раз навсегда, точно открыли, что «все это — капитан Копейкин».

Надо еще знать, что мы только что три часа говорили с другими о совсем других делах, а в промежутке я бегала в заднюю комнату, где меня ждали два офицера (два бывших студента из моих воскресников), слушать довольно

печальные вести о положении офицеров и о том, как солдаты понимают «свободу».

В полку Ястребова было 1600 солдат, потом 300, а вчера уже только 90. Остальные «свободные граждане» — где? Шатаются и грабят лавки как будто.

«Рабочая газета» (меньшевистская) очень разумна, советские «Известия» весьма приглажены и — не идут, по слухам: раскупается большевистская «Правда».

Все «44 опасности» продолжают существовать. Многие, боюсь, неизбежны.

Вот, рядом, поникшая церковь. Жалкое послание Синода, подписанное «8-ю смиренными» (первый «смиренный» — Владимир). Покоряйтеся, мол, чада, ибо «всякая власть от Бога»...

(Интересно, когда, по их мнению, лишился министр Протопопов «духа свята», до ареста в павильоне или уже в павильоне?)

Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку — в лесу у Царского парка, под алтарем строящейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, автомобиль застрял в ухабах где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь. Жгли долго, остатки разбросали повсюду, что сгорело дотла — рассеяли.

Психологически понятно, однако что-то здесь по-русски грязное.

Воейков в Думе, в павильоне. Не унывает, анекдоты рассказывает.

«Русская воля» распоясалась весьма неприлично-рекламно. Надела такой пышный красный бант — что любо-дорого. А следовало бы ей помнить, что «из сказки слова не выкинешь» и никто не забудет, что она — «основана знаменитым Протопоповым».

11 марта. Суббота

Надо изменить стиль моей записи. Без рассуждения, поголее факты. Да вот не умею я. И так трудно, записывая тут же, а не после, отделять факты важные от неважных. Что делать! Это дневник, а не мемуары, и свои преимущества дневник имеет; не для любителей «легкого чтения» только. А для внимательного человека, не боящегося монотонности и мелочей.

С трех часов у нас заседание совета Религиозно-Фил<ософского> О<бщест>ва. Хотим, составить «записку» для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви и государства.

Когда все ушли — пришел В. Зензинов. Он весь на розовой воде (такой уж человек). Находит, что со всех сторон «все улаживается». Влияние большевиков будто бы падает. Горький и Соколов среди рабочих никакого влияния не имеют. Насчет фронта и немцев — говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше.

Уверяет, что Керенский — фактический «премьер». (Если так — очень хорошо.)

Вечером — Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что «и Суханов раскаивается, и они будут за войну», но я им не верю. Мы всячески остерегали Сытина, информировали, как могли.

И к чему кипим мы во всем этом с такой глупой самоотверженностью? Самим нам негде своего слова сказать, «партийность» газетная теперь особенно расцветает, а туда «свободных» граждан не пускают. Внепартийная же наша печать вся такова, что в нее, особенно в данное время, мы сами не пойдем. Вся вроде «Русской воли» с ее красным бантом.

Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовала у Сытина, чтобы он поддержал газету Зензинова, а не Горького, ибо за Зензиновым стоит Керенский.

Горький слаб и малосознателен. В лапах людей — «с задачами», для которых они хотят его «использовать».

Как политическая фигура — он ничто.

12 марта. Воскресенье

С утра, одновременно, самые несовместимые люди. Рассадили их по разным комнатам (иных уже просто отправляли).

Сытин, едва войдя, — ко мне: «Вы правы...» Говорил с горькистами и заслышал большевистскую дуду. Полагаю, впрочем, что они его там всячески замасливали и Гиммер ему пел «раскаянье», ибо у Сытина все в голове перепуталось.

Тут, кстати, под окнами у нас стотысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами: украинцы. И весьма выразительные надписи «федеративная республика» и «самостийность».

Сытин потрясался и боялся, тем более, что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддерживать (идет к нему завтра сам) и в то же время проговорился, что и газету Гиммер-Горький не оставит; подозреваю, что на сотню-другую тысяч уж ангажировался. (Даст ли куда-нибудь — еще вопрос.)

А я — из одной комнаты — в другую, к И. Г. (не нравится он мне, и данная позиция кадетов не нравится; чисто внешнее, неискреннее приспособление к революции, в виде объявления себя партией «народной свободы», республиканцами, а не конституционалистами. Ничего

при этом не понимают, о войне говорят абсолютно старым голосом, как будто ничего не случилось).

Ранним вечером явились В., Г., Карташев, М. и др. — все с этой «запиской» к Вр<еменному> правительству насчет церковных дел.

Могу ли я еще что-нибудь? Просто ложусь спать.

13 марта. Понедельник

Отречение Михаила Ал<ександровича> произошло на Миллионной, 12, в квартире, куда он попал случайно, не найдя ночлега в Петербурге. Приехал поздно из Царского и бродил пешком по улицам. В Царское же он тогда поехал с миссией от Родзянки, повидать Алекс<андру> Федоровну. До царицы не добрался, уже высаживали из автомобилей. Из кабинета Родзянки он и говорил прямым проводом с Алексеевым. Но все было уже поздно.

14 марта. Вторник

Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались.

Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах (Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров), чтобы, напомнив о первых революционерах-офицерах, — смягчить трения в войсках.

Дмитрий, конечно, и туда, и сюда: «Я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман «Декабристы», тут нужно совсем другое...»

— Нет, нет, пожалуйста, вам З. Н. поможет. — Дмитрий согласился, в конце концов.

Керенский — тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчок с моего стола (во время какого-то интеллигентского собрания. И так запустил, что доселе половины волчка

нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками). Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в Религ<иозно>-Филос<офском> собрании, где дальше, за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти — рядом. Лицо Керенского — узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая — спокойное, незначительно приятное (и, видно, очень схожее). Добрые... или нет, какие-то «молчащие» глаза. Этот офицер был — точно отсутствовал. Страшно был — и все-таки страшно не был. Непередаваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху, короткие, волосы Пьеро-Керенского — и реденькие, гладенько-причесанные волосики приятного офицера. Крамольник — и царь. Пьеро — и «charmeur»[43]. С<оциалист>-р<еволюционер> под наблюдением охранки — и Его Величество Император Божьей милостью.

Сколько месяцев прошло? Крамольник — министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги — Истории; и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. Charmeur, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза? Верно, с тем же спокойствием Небытия.

Но я совсем отошла в сторону — в незабываемое впечатление аккорда двух лиц — Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего — и пленительного, и странного.

---

[43] Чародей (*фр.*).

Возвращаюсь. Итак, сегодня — это все тот же Керенский. Тот же... и чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда... Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и, однако, она уже есть. Она чувствуется.

Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть «свысока»), что очень рад, если будет «грамотная» большевистская газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым будто бы теперь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще, ведут себя теперь хорошо».

Мы не возражали, спросили о «дозорщиках». Керенский резко сказал:

Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами.

Относительно смен старого персонала уверяет, что у синодального Львова есть «пафос шуганья» (не похоже), наиболее трусливые Милюков и Шульгин (похоже).

Бранил Соколова.

Дима спросил: «А вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?»

Керенский закипел.

— Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.

Бегал по комнате, вдруг заторопился:

— Ну, мне пора... Ведь я у вас «инкогнито»...

Непоседливый, как и без «инкогнито», — исчез. Да, прежний Керенский, и — на какую-то *линийку* — не прежний.

Быть может, он на одну линийку более уверен в себе и во всем происходящем — *нежели нужно*?

Не знаю. Определить не могу.

На улице сегодня оттепель, раскисло, расчернело, темно. С музыкой и красными флагами идут мимо нас войска, войска...

А хорошо, что революция была вся в зимнем солнце, в «белоперистости вешних пург».

Такой белоперистый день — 1-ое марта, среда, высшая точка революционного пафоса.

И не весь день, а только до начала вечера.

Есть всегда такой вечный миг — он где-то перед самым «достижением» или тотчас после него — где-то около.

15 марта. Среда

Нынче с утра «зампоп» Аггеев. Бодр и всячески действен. Теперь уж нечего ему бояться двух заветных букв: е. н. (епархиальное начальство). От нас прямо помчал к Львову. А к нам явился из Думы.

Говорил, что Львов делает глупости, а петербургское духовенство и того хуже. Вздумало выбирать митрополита.

Аггеев вкусно живет и вкусно хлопочет.

Вечером был Руманов, новые еще какие-то планы Сытина, и ничему я ровно не верю.

Этот тип — Сытин — очень художественный, но не моего романа. И, главное, ничему я от Сытина не верю. Русский «делец»: душа да душа, а слова — никакого.

16 марта. Четверг

Каждый день мимо нас полки с музыкой. Третьего дня Павловский, вчера стрелки, сегодня — что-то много. Надписи на флагах (кроме, конечно, «республики»), — «война до победы», «товарищи, делайте снаряды», «берегите завоеванную свободу».

Все это близко от настоящего, верного пути. И близко от него «декларация» Сов<ета> Раб<очих> и С<олдатских> депутатов о войне — «К народам всего мира». Очень хорошо, что Сов<ет> Р<абочих> Д<епутатов> по поводу войны, наконец, высказался. Очень нехорошо, что молчит Вр<еменное> пр<авительст>во. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут, и даже неизвестно, что и когда оно скажет. Непростительная ошибка. Теперь если и надумают что-нибудь, все будет с запозданием, в хвосте.

«К народам всего мира» — неплохо, несмотря на некоторые места, которые можно истолковать, как «подозрительные», и на корявый, чисто эсдечный, не русский язык кое-где. Но сущность мне близка, сущность, в конце концов, приближается к знаменитому заявлению Вильсона. Эти «без аннексий и контрибуций» и есть ведь его «мир без победы». Общий тон отнюдь не «долой войну» немедленно, а напротив, «защищать свободу своей земли до последней капли крови». Лозунг «долой Вильгельма» очень... как бы сказать, «симпатичен» и понятен, только грешит наивностью.

Да, теперь все другим пахнет. Надо, чтобы война стала совсем другой.

17 марта. Пятница

Синодский обер-прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташева. (Это не без выдумки и хлопот Аггеева, очевидно.)

Карташев, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, он пойдет. Но я думаю тоже, что ему не следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям со времени войны — я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказывала, т. е. высказав — намеренно на нем не настаивала. Пусть делает, как хочет. Однако я убеждена, что это со всех сторон шаг ложный.

Карташев, бывший церковник, за последние десять лет, перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренно, за края церкви «православной» — отошел от последней и жизненно. Из профессоров Духовной Академии сделался профессором светским. Порывание жизненной этой связи было у него соединено с отрывом внутренним, оба отрыва являлись действием согласным, и оба стоили ему недешево. Надо при этом знать, что Карташев — человек типа «пророческой», в широком, именно религиозном смысле и в очень современном духе. В нем громадная, своеобразная, сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственностью, политикой... в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое «двоение» он часто и сам признает.

Теперь, вступая в контакт с «государственной» стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренний, — он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда?

Наблюдая, слушая, вижу: он смотрит, сам, на это странно; вот этой своей приставной стороной: смотрит «узко политически» «послужить государству» — и точка. Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви религиозно? Ведь она для него не «министерство юстиции»? И он зряч к церкви; он знает, что сейчас внутренней пользы церкви, в смысле ее движения, принести нельзя. Значит, урегулировать просто ее отношения с новым государством? Но на это именно Карташев не нужен. Нужен: или искренний, простой церковник, честный, вроде Е. Трубецкого, или, напротив, такой же прямой, — дельный и простой, — политик, не Львов — Львов — дурак. И то, если б стать обер-прокурором... «Товарищем» же Львову, человек такой самобытной и громадной

ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташев, — это со всех сторон затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря — жалко: он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно умен, порывист — и сдержан, вибрирует, как струна, слаб здоровьем; нервно-работоспособен; при неистовой его добросовестности погрязнет дотла в государственно-синоидально-поповских делах и делишках.

И во всяком случае будет потерян для своего, для глубины, для своей сущности.

(Прибавлю, что «политика» его — кадетирующая, военная, национальная.)

Львов уже возил его в Синод, знакомя с делами. Карташев встретил там жену Тернавцева: «красивый брюнет» — арестован.

Опять полки с музыкой и со знаменами «ярче роз».

Сегодня был напечатан мой крамольный «Петербург», написанный 14 дек<абря> 14 года.

«И в белоперистости вешних пург
Восстанет он...»

Странно. Так и восстал.

18 марта. Суббота

Не дают работать, целый день колесо. А., М., Ч., потом опять Карташев, Т., Аггеев...

И все — *неприятно*.

Карташев, конечно, пошел в «товарищи» Львова; как его вкусно, сдобно, мягко и безапелляционно насаживал на это Агтеев!

Ничего не могу сказать об этом, кроме того, что уже сказала.

В лучшем случае у Карташева пропадет время, в худшем — он сам для настоящего религиозного делания.

М. мне очень жаль. Столько в нем хорошего, верного, настоящего — и бессильного. Не совсем понимаю его сегодняшнее настроение, унылое, с «охлократическим» страхом. М. точно болен душой — как болен телом.

Газеты почти все — панические. И так чрезмерно говорят за войну (без нового голоса, главное), что вредно действуют.

Долбят «демократию», как глупые дятлы. Та, пока что, обещает (кроме «Правды», да и «Правда» завертелась) — а они долбят.

Особенно неистов Мзура из «Веч<ернего> времени». Как бы об этом Мзуре чего в охранке не оказалось... Я все время жду.

Нет, верные вещи надо уметь верно сказать, притом чисто и «власть имеюще».

А правительство (Керенский) — молчит.

19 марта. Воскресенье

Весенний день, не оттепель — а дружное таяние снегов. Часа два сидели на открытом окне и смотрели на тысячные процессии.

Сначала шли «женщины». Несметное количество; шествие невиданное (никогда в истории, думаю). Три, очень красиво, ехали на конях. Вера Фигнер — в открытом автомобиле. Женская и цепь вокруг. На углу образовался затор, ибо шли по Потемкинской войска. Женщины кричали войскам — «ура».

Буду очень рада, если «женский» вопрос разрешится просто и радикально, как «еврейский» (и тем падет). Ибо он весьма противен. Женщины, специализировавшиеся на этом вопросе, плохо доказывают свое «человечество». Перовская, та же Вера Фигнер (да и мало ли) занимались не «женскими», а общечеловеческими вопросами, наравне с людьми, и просто были наравне с людьми. Точно можно,

у кого-то попросив, — получить «равенство»! Нелепее, чем просить у царя «революцию» и ждать, что он ее даст из рук в руки, готовенькую. Нет, женщинам, чтобы равными быть, — нужно равными становиться. Другое дело внешне облегчить процесс становления (если он действительно возможен). Это — могут женщинам дать мужчины, и я, конечно, за это дарование. Но процесс будет долог. Долго еще женщины, получив «права», не будут понимать, какие они с ними получили «обязанности». Поразительно, что женщины, в большинстве, понимают «право», но что такое «обязанность»... не понимают.

Когда у нас поднимался вопрос «польский» и т. п. (а вопросы в разрезе национальностей проще и целомудреннее «полового» разреза) — не ясно ли было, что думать следует о «вопросе русском», остальные разрешатся сами — им? «Приложится». Так и «женские права».

Если бы заботу и силы, отданные «женской» свободе, женщины приложили бы к общечеловеческой, — они свою имели бы попутно, и не получили бы от мужчин, а завоевали бы рядом с ними.

Всякое специальное — «женское» движение возбуждает в мужчинах чувства весьма далекие именно от «равенства». Так, один самый обыкновенный человек, — мужчина, — стоя сегодня у окна, умилялся: «И ведь хорошенькие какие есть!» Уж, конечно, он за всяческие всем права и свободы. Однако на «женское шествие» — совсем другая реакция.

Вам это приятно, амазонки?

После «баб и дам» — шли опять неисчислимые полки.

Мы с Дмитрием уехали в Союз писателей, вернулись — они все идут.

В Союзе этом — какая старая гвардия! И где они прятались? Не выписываю имен, ибо — все и все те же, до Марьи Валентиновны Ватсон с ее качающейся головой.

О «целях» возрождающегося Союза не могли договориться. «Цели» вдруг куда-то исчезли. Прежде надо было «протестовать», можно было выражать стремление к свободе слова, еще к какой-нибудь, — а тут хлоп! Все свободы даны, хоть отбавляй. Что же делать?

Пока решили все «отложить», даже выбор совета.

Вечером были у Х. Много любопытного узнали о вчерашнем заседании Совета Раб<очих> Депутатов.

Богданов (группа Суханова же) торжественно провалился со своим предложением реорганизовать Совет.

Предложение самое разумное, но руководители толпы не учли, что, потакая толпе, они попадают к ней в лапы. Речь свою Богданов засладил мармеладом и тут: вы, мол, нам нужны, вы создали революцию... и т. д. И лишь потом пошли всякие «но» и предложение всех переизбрать. (Указывал, что их более тысячи, что это даже неудобно...)

«Лейб-компанейцы» отнюдь этого не желают. Вот еще! Вершили дела всего российского государства — и вдруг возвращайся в ряды простых рабочих и солдат.

Прямо заявили: вы же говорили только что, что мы нужны? Так мы расходиться не желаем.

Заседание было бурное. Богданов стучал по пюпитру, кричал: «Я вас не боюсь!» Однако должен был взять свой проект обратно. Кажется, вожаки смущены. Не знают, как и поправить дело. Опасаются, что Совет потребует перевыборов Комитета и все эти якобы властвующие будут забаллотированы.

Зала заседаний — непривлекательна. Публику пускают лишь на хоры, где сидят и «караульные» солдаты. Сидят в нижнем белье, чай пьют, курят. В залах везде такая грязь, что противно смотреть.

Газета Горького будет называться «Новая жизнь» (прямо по стопам «великого» Ленина в 1905-6 году). Так как редакция против войны (ага, безумцы! Это теперь-то!),

а высказывать это в виду общего настроения будто бы невозможно (врут; а не врут — так в «настроение» вцепятся, его будут разъедать!), то газета будто бы этого вопроса вовсе не станет касаться (еще милее! О «бо-зарах» начнут писать? Какое вранье!).

Сытин, конечно, исчез. Это меня «не радует — не ранит», ибо я привыкла ему не верить.

22 марта. Среда

Солдаты буйствовали в Петропавловке, ворвались к заключенным министрам, выбросили у них подушки и одеяла. Тревожно и в Царском. Керенский сам ездил туда арестовывать Вырубову — спасая ее от возможного самосуда?

Но вот нечто хуже: у нас прорыв на Стоходе. Тяжелые потери. Общее отношение к этому — еще не разобрать. А ведь это начинается экзамен революции.

Еще хуже: правительство о войне молчит.

Сытин на днях, по-сытински цинично и по-мужицки вкусно, толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить «землю». Улыбаясь, суживая глаза, успокаивал: «Ну, что ж, у нас есть Волга, Сибирь... эка если Питер возьмут!»

Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (он там в Земсоюзе, что *ли*). Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «весело»! Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет *ли*?) Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно: «Что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?»

Союзные посольства в тревоге: и Стоход — и фабрики до сих пор не работают.

Лучше бы подумали, что нет декларации правительственной до сих пор. И боюсь, что пр<авительст>во терроризировано союзниками в этом отношении. О, Господи! Не понимают они, на свою голову, нашего момента.

Потому что не понимают нас. Не взглянули вовремя со вниманием. Что — теперь!

25 марта. Суббота

Пропускаю дни.

Правительство о войне (о целях войны) — молчит.

А Милюков, на днях, всем корреспондентам заявил опять, прежним голосом, что России нужны проливы и Константинополь. «Правдисты», естественно, взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, нужны ли эти чертовы проливы нам или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову, — во сто раз непростимее его фатальная *бестактность.* Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента, на свою же голову! (И хоть бы только на свою.)

Керенский должен был официально заявлять, что это личное мнение Милюкова, а не пр<авительст>ва. То же заявил и Некрасов. Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к «укрепление» пр-ва, к поднятию «престижа власти». А декларации нет как нет.

В четверг Х. говорил, что Сов<ет> Раб<очих> Деп<утатов> требует Милюкова к ответу (источник прямой — Суханов).

Вчера поздно, когда все уже спали и я сидела одна, — звонок телефона. Подхожу — Керенский. Просит: «Нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство... Вы, З. Н., я знаю, встаете поздно...» — «А Дм<итрий> Вл<адимирович> болен, я попрошу Дм<итрия> Серг<ееви>ча прийти, непременно...» — подхватываю я. Он объясняет, как пройти.

И сегодня утром Дмитрий туда отправился. Не так давно Дмитрий поместил в «Дне» статью под заглавием «14 марта». «Речь» ее отвергла, ибо статья была тона примирительного и во многом утверждала декларацию советов о войне. Несмотря на то, что Дмитрий в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу, и строго это подчеркивал, — «Речь» не могла вместить; она круглый враг всего, что касается революции. Даже не судит — отвергает без суда. Позиция непримиримая (и слепая). Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается, и в самые неподходящие моменты.

Но Дмитрий в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться.

К сожалению, Дмитрий вернулся от Керенского какой-то растерянный и растрепанный, и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом за разумом, согласен, что правительственная декларация необходима. Однако не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии. (Там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее?) Что декларация пр-вом теперь вырабатывается; но что она вряд ли понравится «дозорщикам» и что, пожалуй, всему пр-ву придется уйти (поэтому?..). О Совете говорил, что это «кучка фанатиков», а вовсе не вся Россия, что нет «двоевластия» и пр-во одно. Тем не менее тут же весьма волновался по поводу этой «кучки» и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного.

Дмитрий, конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского вовсю пугать; говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету (там сидел и глухарь Водовозов), хватался за виски: «Нет, нет, мне придется уйти».

Рассказ бестолковый, но, кажется, и свидание было бестолковое. Хотя я все-таки очень жалею, что не пошла с Дмитрием.

Макаров сегодня жаловался, что этот «тупица» Скобелев с наглостью требует Зимнего дворца под Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Да, действительно!

Нет покоя, все думаю, какая возможна бы мудрая, новая, крепкая и достойная декларация пр-ва о войне, обезоруживающая всякие Советы — и честная. Возможна?

Америка (выступившая против Германии) мне продолжает нравиться. Нет, Вильсон не идеалист. Достойное и реально-историческое поведение. Во времени и в пространстве, что называется.

Были похороны «жертв» на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый. Лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет, «два миллиона» (как говорили) народу, и в порядке, никакой Ходынки не случилось.

Я (вечером, на кухне, осторожно). Ну, что же там было? И как же так, схоронили, со святыми упокой, вечной памяти даже не спели, зарыли — готово?

Ваня Румянцев (не Пугачев, а солдат с завода, щупленький). Почему вы так думаете, Зинаида Николаевна? От каждого полка был хор, и пели все, и помолились как лучше не надо, по-товарищески. А что самосильно, что попов не было, так на что их? Теперь эта сторона взяла, так они готовы идти, даже стремились. А другая бы взяла, они этих самых жертв на виселицу пошли провожать. Нет уж, не надо...

И я молчу, не нахожу возраженья, думаю о том, что ведь и Толстого они не пошли провожать, и не только не «стремились», а даже молиться о нем не молились... начальство запретило. Тот же Аггеев, из страха перед «е. н.», как он сам признался, даже на толстовское заседание

Рел<игиозно>Фил<ософского> О<бщест>ва не пошел. (После смерти Толстого.) Я никого не виню, я лишь отмечаю.

А Гришку Питирим соборне отпел и под алтарем погреб.

Безнадежно глубоко (хотя фатально-несознательно) воспринял народ связь православия и самодержавия.

Карташев пропал на целую неделю. Весь в бумагах и мелких консисторских делишках. Да и что можно тут сделать, даже если б был не тупой и упрямый Львов? Как жаль! То есть как жаль, во всех отношениях, что Карт, туда пошел.

5 апреля. Среда

Вот как долго я здесь не писала.

Даже не знаю, что записано, что нет. А в субботу, — 8-го, мы уезжаем опять в Кисловодск. (Возьму книгу с собой.) Теперь очень трудно ехать. И не хочется. (Надо.) В субботу же, через час после нашего отъезда, должны приехать (едут через Англию и Швецию) — наши давние друзья эмигранты. Ел., Х., Борис Савинков (Ропшин). Когда-нибудь я напишу десятилетнюю историю наших глубоких с ними отношений. Ел. и Борис люди поразительно разные. Я обоих люблю — и совершенно по-разному. Зная их жизнь в эмиграции, непрерывно (т. е. с перерывами нашего пребывания в России) общаясь с ними за последние десять лет, — я жгуче интересуюсь теперь их ролью в революционной России. Борис в начале войны часто писал мне, но сношения так были затруднены, что я почти не могла отвечать.

Они оба так любопытны, что, повторяю, здесь говорить о них между прочим — не стоит. Тремя словами только обозначу главную внутреннюю сущность каждого: Ел. — светлый, раскрытый, общественный (коллективный) человек.

Борис Савинков — сильный, сжатый, властный индивидуалист. Личник. (Оба, в своем, часто крайние.) У первого доминируют чувства, у второго — ум. У первого — центробежность, у второго — центростремительность.

По этим внутренним линиям строится и внешняя жизнь каждого, их деятельность. Принцип «демократичности» и «аристократичности» (очень широко понимая). Они — друзья, старые, давние. Могли бы, — но что-то мешает, — дополнять друг друга; часто сталкиваются. И не расходятся окончательно, не могут. К тому же Ел. так добр, кроток и верен в любви, что лично и не может совсем поссориться с давним другом-соработником.

Как, чем, в какой мере, на каких линиях будут нужны эти «революционеры» уже совершившейся русской революции? Силою вещей до сих пор оба (я их почти как символы тут беру) были разрушителями. Рассуждая теоретически — принцип Ел. был более близок к «созиданию», к его возможностям. Но... где савинковская твердость? Нехватка.

Суживая вновь принципы, символы, до лиц, отмечу, что относительно лиц данных придется учитывать и десятилетнюю эмиграцию. Последние же годы ее — полная оторванность от России. И, кажется, насчет войны они там особенно не могли понимать положения России. Оттуда. Из Франции.

Я так пристально и подробно останавливаюсь на личностях в моей записи потому, что не умею верить в события, совершающиеся вне всякого элемента личных воль. «Люди что-то весят в истории», этого не обойдешь. Я склонна преувеличивать вес, но это мои ошибки; приуменьшить его — будет такой же ошибкой.

Из других возвращающихся эмигрантов близко знаю я еще Б. Н. Моисеенко (и брат его С. Н., но он, кажется,

не приезжает, он на Яве). Чернова не видела случайно; однако имею представление об этом фрукте. Его в партии терпеть не могли, однако считали партийным «лидером», чему я всегда изумлялась: по его «литературе» — это самоуверенный и самоупоенный туляк. Авксентьев — культурный. Эмиграция его отяжелила, и он тут вряд ли заблестит. Но человек, кажется, весьма ничего себе, порядочный.

Х-ие остановятся в нашей квартире, на Сергиевской. Савинков будет жить у Макарова.

Что, однако, случилось?

Очень много важного. Но сначала запишу факты мелкие, случаи, так сказать, собственные. Чтобы перебить «отвлечения» и «рассуждения». (Ибо чувствую, опять в них влезу.)

Поехали мы, все трое, по настоянию Макарова, в Зимний Дворец, на «театральное совещание». Это было 29 марта. Головин, долженствовавший председательствовать, не прибыл, вертелся, вместо него, бедный Павел Михайлович.

Мы приехали с «Детского подъезда». В залу с колоннами било с Невы весеннее солнце. Вот это только и было приятно. В общем же — зрелище печальное.

Все «звезды» и воротилы бывших «императорских», ныне «государственных» театров, московских и петербургских.

Южин, Карпов, Собинов, Давыдов, Фокин... и масса других.

Все они, и все театры, зажелали: 1) автономии, 2) субсидий. Только об этом и говорили.

Немирович-Данченко, директор не государственного, а Художественного театра в Москве, — выделялся и прямо потрясал там культурностью.

Заседание тянулось, неприятно и бесцельно. Уже смотрели друг на друга глупыми волками. Наконец, Дима вышел, за ним я, потом Дмитрий, и мы уехали.

А вечером, у нас, было «тайное» совещание с Головиным, Макаровым, Бенуа и Немировичем.

Последнего мы убеждали идти в помощники к Головину, быть, в сущности, настоящим директором театров. Ведь в таком виде — все это рухнет... Головину очень этого хотелось. Немирович и так, и сяк... Казалось — устроено, нет: Немирович хочет «выждать». В самом деле, уж очень бурно, шатко, неверно, валко. Останется ли и Головин?

На следующий день Немирович опять был у нас, долго сидел, пояснял, почему хочет «годить». Пусть театры «поавтономят»...

Далее.

Приехал Плеханов. Его мы часто встречали за границей. У Савинкова не раз и в других местах. Совсем европеец, культурный, образованный, серьезный, марксист несколько академического типа. Кажется мне, что не придется он по мерке нашей революции, ни она ему. Пока — восторгов его приезд будто не вызвал.

Вот Ленин... Да, приехал-таки этот «Тришка» наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но... он приехал через Германию. Немцы набрали целую кучу таких «вредных» тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте.

Ленин немедленно, в тот же вечер, задействовал: объявил, что отрекается от социал-демократии (даже большевизма), а называет себя отныне «социал-коммунистом».

Была, наконец, эта долгожданная, запоздавшая, декларация пр-ва о войне.

Хлипкая, слабая, безвластная, неясная. То же, те же, «без аннексий», но с мямленьем, и все вполголоса, и жидкое «оборончество» — и что еще?

Если теперь не время действовать смелее (хотя бы с риском), то когда же? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел (и ненавидит) войну.

Тех «действий обеими руками» Керенского, о которых я писала, из декларации не вытекает. Их и не видно. Незаметно реальной и властной заботы об армии, об установлении там твердых линий «свобод», в пределах которых сохраняется сила армий как сила. (Ведь Приказ № 1 еще не парализован. Армию свободно наводняют любые агитаторы. Ведь там не чувствуется новой власти, а только исчезновение старой!)

Одна рука уже бездействует. Не лучше и с другой. За мир ничего явного не сделано. Наши «цели войны» не объявлены с несомненной определенностью. Наше военное положение отнюдь не таково, чтобы мы могли диктовать Германии условия мира, куда там! И, однако, мы должны бы решиться на нечто вроде этого, прямо должны. Всякий день, не уставая, пусть хоть полуофициально, твердить о наших условиях мира. В сговоре с союзниками (вдолбить им, что нельзя упустить этой минуты...), но и до фактического сговора, даже ради него, — все-таки не мямлить и не молчать, — диктовать Германии «условия» приемлемого мира.

Это должно делать почти грубо, чтобы было понятно всем (всем — только грубое и понятно). Облекать каждодневно в реальную форму, выражать денно и нощно согласие на немедленный, справедливый и бескорыстный мир — хоть завтра. Хоть через час. Орать на весь фронт и тыл, что если час прошел и мира нет — то лишь потому, что Германия на мир не соглашается, не хочет

мира и все равно полезет на нас. И тогда все равно не будет мира, а будет война — или бойня.

В конце концов «условия» эти более или менее известны, но они не сказаны, поэтому они не существуют, нет для них одной формы. Первый звук, в этом смысле, не найден. Да его сразу и не найдешь, — но нужно все время искать, пробовать.

Да, великое горе, что союзники не понимают важности момента. У них ничего не случилось. Они думают в прежней линии и о себе — и о нас. Пусть они заботятся о себе, я это понимаю. Но для себя же им нужно учитывать нас!

Был В. Зензинов, я с ним долго говорила и о «декларации» пр-ва, и обо всем этом. Декларацией, как он говорил, он тоже не удовлетворен (кажется, и никто, нигде не удовлетворен, даже в самом пр-ве). На мои «дикие» предложения и проекты «подиктовать» условия мира он только глядел полуопасливо.

Общая робость и мямленье. Что хранит правительство? Чего кто боится? Ну, Германия все это отвергнет. Ну, она даже не ответит. Так что же?

Быть может, я мечтаю. Я говорю много вздору, конечно, — но я стою за линию и буду утверждать, что она, в общем, верна. Скажу (шепотом, про себя, чтобы потом не очень стыдиться) еще больше. В стороне от союзников (если они так нисколько не сдвинутся) можно бы рискнуть вплоть до мысли о «сепаратном» мире. Это во всяком случае заставило бы их задуматься, взглянуть внимательнее в нашу сторону. А то они слишком спокойны. Не знают, что мы — во всяком случае не Европа. Странно думать о России и видеть ее во образе... Милюкова.

Впрочем, я Бог знает куда залетела. Сама себя перестала понимать. В голове все самые известные вещи...

Но форма — это не мое дело, всякий оформит лучше меня, — и можно найти форму, от которой не отвертелись бы союзники.

Довольно, пора кончать. Будь что будет. Я хочу думать, хочу, — что будет хорошее. Я верю Керенскому. Лишь бы ему не мешали. Со связанными руками не задействуешь. Ни твердости, ни власти не проявишь (именно власть нужна).

Пока — кроме СЛОВ (притом безвластных и слов-то) ничего от пр-ва нашего нет.

Кисловодск

17 апреля

Идет дождь. Туман. Холодно. Здесь невероятная дыра, полная просто нелепостями. Прислужьи забастовки. Трусящие, но грабящие домовладельцы. Тоже какой-то «солдатский совет».

Милы — дети, гимназистки и гимназисты. Только они светло глядят вперед.

23 апреля. Воскресенье

Грандиозный разлив Дона; мост провалился, почта не ходит. Мы отрезаны. Смешно записывать отрывочные сведения из местных газет и случайного петербургского письма. У меня есть мнения и догадки, но как это сидеть и гадать впустую?

Отмечу то, что вижу отсюда: буча из-за войны разгорается.

Иностранная «нота», как бы от всего пр-ва, но явно составленная Милюковым (голову даю на отсечение), возбудила страсти совершенно ненужным образом. Было соединенное заседание пр<авительст>ва и Сов<ета> Р<абочих> и С<олдат>, после чего пр-во дало «разъяснение», весьма жалкое.

Кажется, положение острое. (Издали.)

2 мая

Однако дела неважны. Здесь — забастовки, с самыми неумеренными требованиями, которые длятся, длятся и кончаются тем, что «Совет» грозит: «У нас 600 штыков!», после чего «требования принимаются».

В Петербурге 21-го было побоище. Вооруженные рабочие стреляли в безоружных солдат.

Мы знаем здесь... почти ничего не знаем. Железнодорожный мост не исправлен. Газеты беспорядочны. Письма запаздывают. Из этого хаоса сведений можно, однако, вывести, что дела ухудшаются: Гучков и Грузинов ушли, в армии плохо, развал самый беспардонный везде. Пожалуй, уж и все пр-во ушло во славу ленинцев и черносотенцев.

Тревожно и страшно — вдали. Гораздо хуже, чем там, когда в тот же момент все знаешь и видишь. Тут точно оглох.

4 мая

Беспорядочность сведений продолжается. Знаем, что ушел Милюков (достукался), вместо него Терещенко. Это фигура... никакая, «меценат» и купчик-модерн. Очевидно, его взяли за то, что по-английски хорошо говорит. Вместо Гучкова — сам Керенский. Это похоже на хорошее. Одна рука у него освободилась. Теперь он может поднять свой голос.

«Побединцы» в унынии и панике. Но я далеко еще не в унынии и от войны. Весь вопрос, будет ли Керенский действовать обеими руками. И найдет ли он себе необходимых помощников в этом деле. Он один в верной линии, но он — один.

9 мая

В Петербурге уже «коалиционное» министерство. Чернов (гм! гм!), Скобелев (глупый человек), Церетели (порядочный, но мямля) и Пешехонов (литератор!).

Посмотрим, что будет. Нельзя же с этих пор падать в уныние. Или так вихляться под настроением, как Дмитрий.

Попробуем верить в грядущее.

20 мая. Суббота

Завтра Троица. Погода сырая. Путь не восстановлен. Телеграфа нет из-за снежной бури по всей России.

При общем тяжелом положении тыла, при смутном состоянии фронта, — жить здесь трудно. Но не поддаюсь тяжести. Это был бы грех сознания.

Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. Не совсем так, как я себе рисовала, отчетливых действий «обеими руками» я не вижу (может быть, отсюда не вижу?), но говорит он о войне прекрасно.

О Милюкове и Гучкове теперь все, благородные и хамы, улица, интеллигенты и партийники, говорят то, что я говорила несколько лет подряд (а теперь не стала бы говорить). Обрадовались! Нашли время! Теперь поздно. Не нужно.

Кающийся кадет, министр Некрасов, только что болтал где-то о «бесполезности правого блока». (Этого Некрасова я знаю. Бывал у нас. Считался «левым» кадетом. Не замечателен. Кажется, очень хитрый и без стержня.)

Милюков остался совершенно в том же состоянии. Ни разучился, ни научился. Сейчас, уязвленный, сидит у себя и новому пр-ву верит «постольку-поскольку»... Ну, Бог с ним. Жаль ведь не его. Жаль того, что он имеет и что не умеет отдать России.

Керенский — настоящий человек на настоящем месте. The right man on the right place[44], как говорят умные англичане. Или — The right man on the right moment?[45] А если

---

[44] Человек на своем месте (*англ.*).

[45] Человек в нужный момент (*англ.*).

только for one moment?[46] Не будем загадывать. Во всяком случае, он имеет право говорить о войне, за войну — именно потому, что он против войны (как таковой). Он был «пораженцем» — по глупой терминологии «побединцев». (И меня звали «пораженкой».)

18 июня. Воскресенье

Через неделю, вероятно, уедем. Положение тяжелое. Знаем это из кучи газет, из петербургских писем, из атмосферного ощущения.

Вот главное: «коалиционное» министерство, совершенно так же, как и первое, власти не имеет. Везде разруха, развал, распущенность. «Большевизм» пришелся по нраву нашей темной, невежественной, развращенной рабством и войной, массе.

Началась «вольница», дезертирство. Начались разные «республики» — Кронштадт, Царицын, Новороссийск, Кирсанов и т. д. В Петербурге «налеты» и «захваты», на фронте разложение, неповиновение и бунты. Керенский неутомимо разъезжает по фронту и подправляет дела то там, то здесь, но ведь это же невозможно! Ведь он должен создать систему, ведь его не хватит, и никого одного не может хватить.

В тылу — забастовки, тупые и грабительские — преступные в данный момент. Украина и Финляндия самовольно грозят отложиться. Совет Раб<очих> и С<олдатских> Депут<атов>, даже общий съезд советов почти так же бессильны, как пр-во, ибо силою вещей поправели и отмежевываются от «большевиков». Последние на 10 июня назначили вооруженную демонстрацию, тайно подготовив кронштадтцев, анархистов, тысячи рабочих и т. д. Съезд Советов вместе с пр-вом заседали всю ночь, достигли

[46] На время (*англ.*).

отмены этой страшной «демонстрации» с лозунгом «долой все», предотвратили смертоубийство, но... только на этот раз, конечно. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещаниями. А бунт подымается именно бессмысленный и тупой. Наверху видимость борьбы такая: большевики орут, что правительство, хотя объявило войну чисто оборонительной, допускает возможность и наступления с нашей стороны; значит, мол, лжет, хочет продолжать «без конца» ту же войну, в угоду «союзническому империализму». Вожаки большевизма, конечно, понимают, сами-то, грубый абсурд положения, что при войне оборонительной не должно никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах быть наступления, даже с намерениями возвратить свои же земли (как у нас). Вожаки великолепно это понимают, но они пользуются круглым ничегонепониманием тех, которых намерены привести в бунтовское состояние. Вернее — из пассивно-бунтовского состояния перевести в активно-бунтовское. Какие же у них, собственно, цели, для чего должна послужить им эта акция — с полной отчетливостью я не вижу. Не знаю, как они сами это определяют. Даже неясно, в чьих интересах действуют. Наиболее ясен тут интерес германский, конечно.

Очень стараются большевики «литературные», из окружения Горького. Но перед ними я подчас вовсе теряюсь. Не верится как-то, чтобы они сознательно жаждали слепых кровопролитий, неминучих, чтобы они действительно не понимали, что говорят. Вот я давно знаю Базарова. Это умный, образованный и тихий человек. Что у него теперь внутри? Он написал, что даже не сепаратного мира «мы хотим», но... сепаратной войны. Честное слово. Какая-то новая война, Россия против всего мира, одна, — и это «немедленно». Точно не статья Базарова, а сонный бред папуаса; только ответственный, ибо слушают его тучи под-папуасов, готовых одинаково на все...

Главные вожаки большевизма — к России никакого отношения не имеют и о ней меньше всего заботятся. Они ее не знают — откуда? В громадном большинстве не русские, а русские — давние эмигранты. Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах... право, не знаю точно, своих или германских, только не в интересах русского народа. Это — наверно.

Цинически-наивный эгоизм дезертиров, тупо-невежественный («я молодой, мне пожить хочется, не хочу войны»), вызываемый проповедью большевиков, конечно, хуже всяких «воинственных» настроений, которые вызывала царская палка. Прямо сознаюсь — хуже. Вскрывается животное отсутствие совести.

Немилосердна эта тяжесть «свободы», навалившаяся на вчерашних рабов. Совесть их еще не просыпалась, и проблеска сознания нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да еще шевелится темный инстинкт широкой русской «вольницы» (не «воли»).

Хочется взывать к милосердию. Но кто способен дать его сейчас России? Несчастной, невиновной, опоздавшей на века России, — опять, и здесь, опоздавшей?

Оказать им милосердие — это сейчас значит: создать власть. Человеческую, — но настоящую власть, суровую, быть может, жестокую, — да, да, — жестокую по своей прямоте, если это нужно.

Такова минута.

Какие люди сделают? Наше Вр<еменное> пр<авительст>во — Церетели, Пешехонов, Скобелев? Не смешно, а невольно улыбаюсь. Они только умели «страдать» от «власти» и всю жизнь ее ненавидели. (Не говорю уже о личных их способностях.) Керенский? Я убеждена, что он понимает момент, знает, что именно это нужно: «взять на себя и дать им», но... я далеко не убеждена, что он:

1) сможет взять на себя и 2) что, если бы смог взять, — тяжесть не раздавила бы слабых плеч.

Не сможет потому уже, что хотя и понимает, — но и в нем сидит то же впитанное отвращение к власти, к ее непременно внешним, обязательно насильническим, приемам. Не сможет. Остановится. Испугается.

Носители власти должны не бояться своей власти. Только тогда она будет настоящая. Ее требует наша историческая минута. И такой власти нет. И, кажется, нет для нее людей.

Нет сейчас в мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свалились лохмотья, почти сами, и вот, под ними голый человек, первобытный — но слабый, так как измученный, истощенный. Война выела последнее. И война тут. Ее надо кончить. Оконченная без достоинства — не простится.

А что, если слишком долго стыла Россия в рабстве? Что, если застыла, и теперь, оттаяв, не оживает, — а разлагается?

Не могу, не хочу, нельзя верить, что это так. Но время единственное по тяжести. Война, война. Теперь все силы надо обратить на войну, на ее поднятие на плечи, на ее напряженное заканчивание.

Война — единое возможное искупление прошлого. Сохранение будущего. Единое средство опомниться. Последнее испытание.

13 июля. Четверг

Еще мы здесь, в Кисловодске. Не могу записать всего, что было в эти дни годы. Запишу кратко.

18 июня началось наше наступление на юго-западе. В этот же день в Спб. была вторая попытка выступления большевиков, кое-как обошедшаяся. Но тупая стихия, раздражаемая загадочными мерзавчиками, нарастала, нарывала...

День радости и надежды 18 июня быстро прошел. Уже в первой телеграмме о наступлении была странная фраза, которая заставила меня задуматься: «...теперь, что бы ни было дальше...»

А дальше: дни ужаса, 3, 4 и 5-го июля, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадтцы-анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улицы. Было открыто, что это связано с немецкой организацией (?). (По безотчетности, по бессмыслию и ничегонепониманию делающих бунт это очень напоминало уличные беспорядки в июле 14 года, перед войной, когда немецкая рука вполне доказана.)

Ленин, Зиновьев, Ганецкий, Троцкий, Стеклов, Каменев — вот псевдонимы вожаков, скрывающие их неблагозвучные фамилии. Против них выдвигается формальное обвинение в связях с германским правительством.

Для усмирения бунта была приведена в действие артиллерия. Вызваны войска с фронта.

(Я много знаю подробностей из частных писем, но не хочу их приводить здесь, отсюда пишу лишь «отчетно».)

До 11-го бунт еще не был вполне ликвидирован. Кадеты все ушли из пр-ва. (Уйти легко.) Ушел и Львов.

Вот последнее: наши войска с фронта самовольно бегут, открывая дорогу немцам. Верные части гибнут, массами гибнут офицеры, а солдаты уходят. И немцы вливаются в ворота, вослед убегающего стада.

Они — трусы даже на улицах Петербурга; ложились и сдавались безоружным. Ведь они так же не знали, «во имя» чего бунтуют, как (до сих пор!) не знают, во имя чего воевать. Ну и уходи. Побунтовать все-таки не так страшно, дома и свой брат, а немцы-то ой-ой!

Я еще говорила о совести. Какая совесть там, где нет первого проблеска сознания?

Бунтовские плакаты особенно подчеркивали, что бунт был без признака смысла — у его делателей. «Вся власть советам». «Долой министров-капиталистов». Никто не знал, для чего это. Какие это министры-капиталисты? Кадеты?.. Но и они уже ушли. «Советов» же бунтовщики знать не хотели. Чернова окружили, затрещал пиджак, Троцкий-Бронштейн явился спасителем, обратившись к «революционным матросам»: «Кронштадтцы! Краса и гордость русской революции!..» Польщенная «краса» не устояла, выпустила из лап звериных Чертовский пиджак, ради столь милых слов Бронштейна.

Уж правда ли все происходящее?

Похоже на предутренний кошмар.

Еще: обостряется голод, форменный.

Что прибавить к этому? Слова правительства о «решительных действиях». Опять слова. Кто-то арестован, кто-то освобожден... Окровавленные камни и те вопиют против большевиков, но они пока безнаказанны. Пока?..

Вот что еще можно прибавить: я все-таки верю, что будет, будет когда-нибудь хорошо. Будет свобода. Будет Россия. Будет мир.

19 июля. Среда

Вовек проклятая сегодня годовщина. Трехлетие войны.

Но сегодня ничего не запишу из совершающегося. Сегодня хоть в трех словах, для памяти, о здешнем. И даже не о здешнем, а просто отмечу, что мы несколько раз видели генерала Рузского (он был у нас). Маленький, худенький старичок, постукивающий мягко палкой с резиновым наконечником. Слабенький, вечно у него воспаление легких. Недавно поправился от последнего. Болтун невероятный, и никак уйти не может, в дверях стоит, а не уходит. Как-то встретился у нас с кучей молодых офицеров, которые приглашали нас читать на вечер Займа Свободы.

Кстати, тут же приехали в Кисловодск и волынцы (оркестр). Вечер этот, сказать между прочим, состоялся в Курзале, мы участвовали. (Я давным-давно отказываюсь от всех вечеров, годы, но тут решила изменить правилу — нельзя.)

Рузский с офицерами держал себя... отечески-генеральски. Щеголял этой «отечественностью»... ведь революция! И все же оставался генералом.

Я спрашивала его о Родзянковской телеграмме в феврале. Он стал уверять, что «Родзянко сам виноват. Что же он вовремя не приехал? Я царю сейчас же вечером (или за обедом) сказал, он на все был согласен. И ждал Родзянку. А Родзянко опоздал».

А скажите, генерал, — если только это не нескромный вопрос, почему вы ушли весной?

Не я ушел, это «меня ушли», — с готовностью отвечал Рузский. — Это Гучков. Приехал он на фронт — ко мне...

Пошла длиннейшая история его каких-то несогласий с Гучковым.

А тут сейчас же и сам он ушел, — заключил Рузский.

Говорил еще, что немцы могут взять Петербург в любой день — в какой только пожелают.

Где Борис Савинков? Первое письмо от него из Петербурга я получила давно, несколько иронического тона в описании быта новых «товарищей» министров, очень сдержанное, без особых восторгов относительно революционного аспекта. В конце спрашивал: «Я все думаю, свои ли мы?»

Действительно, ведь с начала войны мы ничего толком не знаем друг о друге.

Затем было второе письмо: он уже комиссаром 7-й армии, на фронте. Писал о войне, — и мне отношение понравилось: чувствуется серьезность к серьезному вопросу. На мой вопрос о Керенском (я писала, что мы ближе

всего к позиции Керенского) ответил: «Я с Керенским всей душой...» Было какое-то «но», должно быть, неважное, ибо я его не помню. По-моему, Савинков должен был находиться там, где происходило наступление. В газетах часто попадается его имя, и в очень хорошем виде.

Савинков, именно такой, какой он есть, очень может (или мог бы) пригодиться.

26-го июля

С каждым днем все хуже.

За это время кризис правительства дошел до предела. Керенский подал в отставку. Все испугались, заседали ночами, решили просить его остаться и самому составить кабинет. Раньше он пытался сговориться с кадетами, но ничего не вышло: кадеты против декларации 8 июля (какая это?). Затем история с Черновым, который открыто ведет себя максималистом. (По-моему — Чернов против Керенского: задыхается от тщеславной зависти.)

Трудно знать все отсюда. Пишу, что ловлю, для памяти.

Итак — кадеты отказались войти «партийно» (допустили вхождение личное, на «свою совесть»), Чернов подал в отставку, мотивируя, что он оклеветан и восстановить истину ему легче, не будучи министром. Отставка принята. Это все до 23-го июля включительно.

А сегодня — краткие и дикие сведения по телеграммам: правительство Керенским составлено — неожиданное и (боюсь) мертворожденное. Не видно его принципа. Веет случайностью, путаностью. Противоречиями.

Премьер, конечно, Керенский (он же военный министр), его фактический товарищ («управляющий военным ведомством») — наш Борис Савинков (как? когда, откуда? Но это-то очень хорошо). Остались: Терещенко, Пешехонов, Скобелев, да недавний, несуществующий, Ефремов, явились Никитин (?), Ольденбург и — уже совершенно непонятным

образом — опять явился Чернов. Чудеса; хорошо, если не глупые. Вместо Львова — Карташев. (Как жаль его. Прежде только бессилие, а теперь, сверх него, еще и ответственность. Из этого для него ничего доброго, кроме худого, не выйдет.)

Ушел, тоже не понять почему, Церетели.

Нет, надо знать изнутри, что это такое.

На фронте то же уродство и бегство. В тылу крах полный. Ленина, Троцкого и Зиновьева привлекают к суду, но они не поддаются судейской привлекательности и не намерены показываться. Ленин с Зиновьевым прозрачно скрываются, Троцкий действует в Совете и ухом не ведет.

Несчастная страна. Бог, действительно, наказал ее: отнял разум.

И куда мы едем? Только ли в голод, или еще в немцев и, сверх того, в царство Бронштейнов и Нахамкесов? Какие перспективы!

Писала ли я, что милейшей дубинке Н. Д. Соколову отлился подвиг Приказа № 1? Поехал на фронт с увещеваниями, а воспитанные его приказом товарищи-солдаты вдрызг увещателя исколотили. Каской по черепу. Однако не видно плодов учения. Только выйдя из больницы, заявил во всех газетах, что он «большевиком никогда не был» (?).

Чхенкели ограбили по дороге в Коджоры, чуть не убили.

Во время июльского мятежа какие-то солдаты, в тумане обалдения, несли плакат: «Первая пуля Керенскому».

Как мы счастливы. Мы видели медовый месяц революции и не видели ее «в грязи, во прахе и в крови».

Но что мы еще увидим!

1 августа. Вторник

В пятницу (тяжелый день) едем. Русские дела все те же. Как будто меньше удирание от немцев со времени восстановления смертной казни на фронте. Но только «меньше»,

ибо восстановили-то слепо, слабо, неуверенно, точно крадучись. Я считаю, что это преступно. Или не восстановляй, или так, чтобы каждый солдат знал с полной несомненностью: если едешь вперед — может быть, умрешь, может быть, нет, на войне не всех убивают; если идешь назад, самовольно, — умрешь наверно...

Только так.

Очень плохи дела. Мы все отдали назад, немцы грозят и югу, и северу. Большевики (из мелких, из заваляющих) арестованы, как, например, Луначарский. Этот претенциозно-беспомощный шут хлестаковского типа достаточно известен по эмиграции. Савинков любил копировать его развязное малограмотство.

Чернова свергнуть не удалось (что случилось?), и он продолжает максимальничать. Зато наш Борис по всем видимостям ведет себя молодцом. Как я рада, что он у дел! И рада не столько за него, сколько за дело.

Учр. собрание отложено. Что еще будет с этим пр-вом — неизвестно.

Но надо же верить в хорошее. Ведь «хорошее» или «дурное» — не предопределено заранее, не написано; ведь это наши человеческие дела; ведь от нас (в громадной доле) зависит, куда мы пойдем: к хорошему или дурному. Если не так, то жить напрасно.

Петербург

8 августа. Вторник

Сегодня в 6 часов вечера приехали. С приключениями и муками, с разрывом поезда.

Через два часа после приезда у нас был Борис Савинков. Трезвый и сильный. Положение обрисовал крайне острое.

Вот в кратких чертах: у нас ожидаются территориальные потери. На севере — Рига и далее, до Нарвы,

на юге — Молдавия и Бессарабия. Внутренний развал экономический и политический — полный. Дорога каждая минута, ибо это минуты — предпоследние. Необходимо ввести военное положение по всей России. Должен приехать (послезавтра) из Ставки Корнилов, чтобы предложить, вместе с Савинковым, Керенскому принятие серьезных мер. На предполагающееся через несколько дней Московское совещание правительство должно явиться не с пустыми руками, а с определенной программой ближайших действий. Твердая власть.

Дело, конечно, ясное и неизбежное, но... что случилось? Где Керенский? Что тут произошло? Керенского ли подменили, мы ли его ранее не видели? Разрослось ли в нем вот это — останавливающееся перед прямой необходимостью: «взять власть», начало, я еще не вижу. Надо больше узнать. Факт, что Керенский — боится. Чего? Кого?

9 августа. Среда

Утром был Карташев (о нем, нынешнем «министре исповеданий» потом. Безотрадно). Были и другие люди. Затем, к вечеру, опять приехал Борис.

В эту ночь очень серьезно говорил с Керенским. И — подал в отставку. Все дело висит на волоске.

Завтра должен быть Корнилов. Борис думает, что он, пожалуй, вовсе не приедет.

Что же сталось с Керенским? По рассказам близких — он неузнаваем и невменяем. Идея Савинкова такова: настоятельно нужно, чтобы явилась, наконец, действительная власть, вполне осуществимая в обстановке сегодняшнего дня при такой комбинации: Керенский остается во главе (это непременно), его ближайшие помощники-сотрудники — Корнилов и Борис. Корнилов — это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии; Керенский и Савинков — защита свободы. При

определенной и ясной тактической программе, на которой должны согласиться Керенский и Корнилов (об этой программе скажу в свое время подробнее), нежелательные элементы в пр-ве вроде Чернова выпадают автоматически.

Савинков понимает и положение дел, — и вообще все, — самым блистательным образом. И я должна тут же, сразу, сказать: при всей моей к нему зрячести я не вижу, чтобы Савинковым двигало сейчас его громадное честолюбие. Напротив, я утверждаю, что главный двигатель его во всем этом деле — подлинная, умная любовь к России и к ее свободе. Его честолюбие — на втором плане, где его присутствие даже требуется.

Вижу я это, помимо взора на предмет, — взора, совпадающего с Савинковым, — по тысяче признаков. Нет стремления создать из Керенского с его помощниками форменную «диктатуру»: широкие полномочия Корнилова и Савинкова ограничены строгими линиями принятой, очень подробной, тактической программы. Если Савинков хочет быть одним из этих «помощников» Керенского, то ведь он и может им действительно быть. Тут его место. И данный миг России — (ее революции) тоже его, — российского революционера-государственника (суженного, конечно, и подпольной своей биографией, и долгой эмиграцией, однако данная минуточка требует именно такого, пусть суженного; она сама узко-остра).

Когда еще, и где, может до такой степени понадобиться Савинков? Горючая беда России, что все ее люди не на своих местах; если же попадают случаем — то не в свое время: или «рано», или «поздно».

На Корнилова Савинков тоже смотрит очень трезво. Корнилов — честный и прямой солдат. Он, главным образом, хочет спасти Россию. Если для этого пришлось бы заплатить свободой, он заплатил бы, не задумываясь.

— Да и заплатит, если будет действовать один и после очередных разгромов, — говорит Савинков. — Он любит свободу, я это знаю совершенно твердо. Но Россия для него первое, свобода — второе. Как для Керенского (поймите, это факт, и естественный) свобода, революция — первое, Россия — второе. Для меня же (м. б., я ошиблась), для меня эти оба сливаются в одно. Нет первого и второго места. Неразделимы. Вот потому-то я хочу непременно соединить сейчас Керенского и Корнилова. Вы спрашиваете, останусь ли я действовать с Корниловым или с Керенским, если их пути разделятся. Я представляю себе, что Корнилов не захочет быть с Керенским, захочет против него, один, спасать Россию. В ставке есть темные элементы; они, к счастью, ни малейшего влияния на Корнилова не имеют. Но допустим... Я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него, без Керенского, не верю. Я это в лицо говорил самому Корнилову. Говорил прямо: тогда мы будем врагами. Тогда и я буду в вас стрелять, и вы в меня. Он, как солдат, понял меня тотчас, согласился. Керенского же я признаю сейчас как главу возможного русского правительства, необходимым; я служу Керенскому, а не Корнилову; но я не верю, что и Керенский, один, спасет Россию и свободу; ничего он не спасет. И я не представляю себе, как я буду служить Керенскому, если он сам захочет оставаться один и вести далее ту колеблющуюся политику, которую ведет сейчас. Сегодня, в нашем ночном разговоре, подчеркнулись эти колебания. Я счел своим долгом подать в отставку. Он ее не то принял, не то не принял. Но дело нельзя замазывать. Завтра я ее повторю решительно.

Я свела многое из слов Савинкова вместе. Начинаю кое-что улавливать.

Поразительно: Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом.

Завел (живет — в Зимнем дворце!) «придворные» порядки, что отзывается несчастным мещанством, parvenu[47]. Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от «успеха» в смысле шаляпинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что «идет книзу». Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было, а теперь он окончательно ослеп (теперь, когда ему надо выбирать людей!). Он и Савинкова принял за «верного и преданного ему душой и телом слугу» — только. Как такого «слугу» и вывез его, скоропалительно, с собой — с фронта. (Кажется, они были вместе во время июньского наступления.) И заволновался, забоялся, когда приметил, что Савинков не без остроты... Стал подозревать его... в чем? А тут еще миленькие «товарищи» с.-ры, ненавидящие Савинкова-Ропшина...

А Керенский их боится. Когда он составлял последнее министерство, к нему пришла троица из Ц<ентрального> И<сполнительного> Ком<итета> эс-эровской п<артии> с ультиматумом: или он сохраняет Чернова, или партия с-ров не поддерживает пр-во. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его.

Да, ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром (юстиции тогда), в нем уже чувствовалась, абсолютно неуловимая, перемена. Что это было? Что-то... И это «что-то» разрослось...

10 августа. Четверг

Безумный день. Часов в 8 вечера приехал Савинков. Сказал, что все кончено. Что он решил со своей отставкой.

47 Выскочка (*фр.*).

Просил вызвать Карташева. (Карт<ашев> несколько в курсе дела и Савинкову сочувствует.)

— Но Карташев теперь, наверно, в Зимнем дворце, — возражаю я.

— Нет, дома, вечернее заседание отменено.

Звоню. Карташев дома, обещает прийти. Узнаем от Бориса следующее.

Корнилов, оказывается, сегодня приехал. Телеграмму, где Керенский «любезно» разрешал ему не приезжать, «если неудобно», — получить не успел.

С вокзала отправился прямо к Керенскому. Неизвестно, что было говорено на этом первом заседании; но Корнилов приехал, тотчас после него, — к Савинкову, и с какою-то странною подозрительностью.

Час разговора, однако, совершенно рассеял эту подозрительность. И Корнилов подписал знаменитую записку (программу) о необходимых мерах в армии и в тылу. Подписал ее и Савинков. И приехавший с Корниловым помощник Савинкова в бытность его комиссаром — Филоненко. (Неизвестный нам, но почему-то Борис очень стоит за него.)

После этого Керенский опять потребовал к себе Корнилова, отменив общее прав-ное заседание, а допустив лишь Терещенку и еще кого-то.

А Савинков поехал к нам. Корнилов сегодня же уезжает обратно. Савинков отправится провожать его в вагон, часам к 12 ночи.

— Хотите, я прочту вам записку? — предложил Борис. — Она со мной, у меня в автомобиле.

Сбегал, принес тяжелый портфель. И мы принялись за чтение.

Прочел ее нам Савинков всю, полностью. Начиная с подробнейшего, всестороннего отчета о фактическом состоянии фронта (потрясающе оно даже внешне!) и кончая

таким же отчетливым изложением тех немедленных мер, какие должны быть приняты и на фронте, и в тылу. Эта длиннейшая записка, где обдумано и взвешено каждое слово, найдет когда-нибудь своего комментатора — во всех случаях не пропадет. Я скажу лишь главное: это без спора тот minimum, который еще мог бы спасти честь революции и жизнь России при ее данном, неслыханном, положении.

Дима, впрочем, находит, что «кое-что в записке продумано недостаточно, а кое-что поставлено слишком остро, напр., милитаризация железных дорог». Но важен ее принцип: «соединение с Корниловым, поднятие боеспособности армии без помощи советов, оборона, как центральная пр-ная деятельность, беспощадная борьба с большевиками».

Я думаю, что да, будет еще с Керенским торговля... Но, кажется, это и в деталях minimum, вплоть до милитаризации железных дорог и смертной казни в тылу (какое же иначе общее военное положение?). Воображаю, как заорут «товарищи!» (А Керенский их боится, вот это надо помнить.)

Они заорут, ибо увидят тут «борьбу с Советами» — безобразным, уродливо разросшимся явлением, рассадником большевизма, явлением, перед которым и ныне «демократические лидеры» и подлидеры, не большевики, благоговейно склоняются. Какая-то непроворотимая, глупая преступность!

Они будут правы, это борьба с Советами, хотя прямо в записке ничего не сказано об уничтожении Советов. Напротив, Борис сказал даже, что «нужно сохранить войсковые организации, без них невозможно». Но никакие комитеты не должны, конечно, вмешиваться в дела командования. Их деятельность (выборных организаций) ограничивается.

А все же это (наконец-то!) борьба с Советами. И как иначе, если вводится серьезная настоящая борьба с большевиками?

К половине чтения записки пришел Карташев. Дослушали вместе.

Сегодня Карташев видел Керенского, т. е. потребовал впуска к нему в кабинет не официального. (Вот как теперь! Не прежний свой брат интеллигент, вечно вместе на частных собраниях!) Сказал, говорит, ему все, что хотел сказать, и ушел, ответа намеренно не требуя. Да кстати тут пришел полковник Барановский («нянька» Керенского, по выражению Карташева), и лучше было удалиться.

Уже почти в 12 часов ночи мы кончили записку. Борис очень скоро уехал — на вокзал, провожать Корнилова. Карташев, пользуясь отменой заседания, ушел в один старый «интеллигентский» кружок (где — отсюда слышу — они будут болты болтать и гадать, какими еще аудиенциями «надавить» на Керенского)...

...А что говорят с-эры? Лучшие, самые лучшие, из честных честные? Вот: «Чернов — негодяй, которому мы за границей и руки не подавали, но... мы сидим с ним рядом в Центр. Комит. партии и партия ультимативно отстаивает его в правительстве. Громадное большинство в Цент. Ком. партии с.-р. — или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский — определенный, форменный провокатор. Но вот — мы его оправдали (большинством двух голосов). Да, у нас многие — просто германские агенты, получающие большие деньги... Но мы молчим. Многих из нас тянет уехать куда-нибудь... Но мы не можем и не хотим уйти из партии. Чистка ее невозможна. Кто будет чистить? Мы, «призывисты», стоим за Россию, за войну, но... мы дали свои имена максималистской, интернационалистской, черновской газете «Дело народа».

Ручаюсь честью, что не прибавила ни одного слова своего, все это точнейшая сводка подлинных слов. Если, в ужасе, не хочешь ни понимать, ни верить, умоляешь, если так, отколоться с честной частью партии, оставить Чернова — возражают:

— Вот Плеханов откололся, ушел в чистоту, кое-кто ушел с ним, — и какое влияние имеет эта группа? От нас откололась «Воля народа», правые оборонцы, кто их газету читает? А имя Чернова — вы не знаете, что оно значит для крестьян. Чернов и, да, но он может в один день 13 речей произнести!

Бред, бред, бред. Какое зрелище!.. Да что тут говорить! Бред.

11 августа. Пятница

Едва живу опять от усталости. И что это будет, с этим Московским совещанием? Трехтысячная бессмыслица. Чертова болтовня.

В 7 часов уже приехал Борис.

Сегодня он официально понес бумагу об отставке Керенскому.

— Вот мое прошение, г. министр. Оно принято?

— Да.

Небрежно бросил бумагу на стол. Раздражен, возбужден, почти в истерике.

(Ведь вот зловредный корень всего: Керенский не верит Савинкову, Савинков не верит Керенскому, Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит. Мелкий факт: вчера Корнилов ехал по вызову, однако мог думать, что и для ареста: приехал, окруженный своими зверями-текинцами.)

Сцена продолжается.

После того, как прошение было «принято», Савинков попросил позволения сказать несколько слов «частным

образом». Он заговорил очень тихо, очень спокойно (это он умеет), но чем спокойнее он был, тем раздраженнее Керенский.

— Он на меня кричал, до оскорбительности высказывая недоверие...

Савинков уверяет, что он, хотя разговор был объявлен «частным», держал себя «по-солдатски» перед начальственной истерикой г. министра. Охотно верю, ибо тут был свой яд. Керенский пуще бесился и положения не выигрывал.

Но выходит полная нелепица. Керенский не то подозревает его в контрреволюционстве, не то в заговоре — против него самого.

— Вы — Ленин, только с другой стороны! Вы — террористы! Ну, что ж, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства, ну что ж! Теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности.

На последнее Борис все тем же тихим голосом возразил, что он уже «докладывал г. министру»: после отставки он уйдет из политики, поступит в полк и уедет на фронт.

Внезапно кинувшись в сторону, Керенский стал спрашивать, а где Борис был вчера вечером, когда Корнилов поехал к нему?

Если вы меня допрашиваете, как прокурор, то я вам скажу: я был у Мережковских.

Затем «г. министр» вновь бросился на контрреволюцию и стал бессмысленно грозить, что сам устроит всеобщую забастовку, если свобода окажется в опасности (???).

По привычке всегда что-нибудь вертеть в руках (вспомним детский волчок с моего стола, половина которого так и пропала под шкафами), тут Керенский вертел карандаш, да кстати «прошение» Савинкова. Карандаш нервно чертил на прошении какие-то буквы. Это были все те же: «К», «С», потом опять «К»... После многих еще

частностей, упреков Керенского в каком-то «недисциплинарном» мелком поступке (не то Савинков из Ставки не в тот день приехал, не то в другой туда выехал), после препирательства о Филоненко: «Я не могу его терпеть. Я ему уже совершенно не доверяю». На что Савинков отвечал: «А я доверяю и стою за него», — после всех этих деталей (быть может, я их путаю) — Керенский закончил выпадом, очень характерным. Теребя бумагу, исчерченную «К», «С» и «К», — резко заявил, что Савинков напрасно возлагает надежды на «триумвират»: есть «К», и оно останется, а другого «К» и «С» — не будет.

Так они расстались. Дело, кажется, хуже, чем — ...сейчас, когда я это пишу, после 2-х ночи, — внезапно телефонный звонок.

— Allo!

— Это вы, З. Н.?

— Да. Что, милый Б. В.?

— Я хотел с вами посоветоваться. Сейчас узнал, что Керенский хочет, чтобы я взял назад свою отставку. Что мне делать?

— Как это было? Он сам?..

— Нет, но я знаю это официально. Он уехал сегодня в Москву, на совещание.

Конечно, первое мое слово было за то, чтоб он остался, чтобы еще продолжать борьбу. Дело слишком важно...

— Хорошо, я подумаю...

С головокружительной быстротой все меняется.

Керенский мечется, словно в мышеловке.

Завтра Совещание.

12 августа. Суббота

Борис был, как всегда. Керенскому он дал знать, что согласен остаться на известных условиях.

На Керенского будто бы повлияла телеграмма Корнилова, который требовал, чтобы Сав<инко>ва не удалять, а также то, что все кадеты явились к нему с отставками, едва он их умаслит. Не знаю...

Любопытно составлял Керенский свое последнее (летом) министерство. В Царском. Савинков сам писал лист. Там был прежде всего Плеханов. Затем бабушка Брешковская (вместо Чернова, как имя). Бабушке была послана срочная телеграмма, и Керенский волновался, что она вовремя не приедет, только через 24 часа. Вместе, Керенский с Савинковым, ездили на автомобиле к Плеханову.

Плеханов согласился.

Затем, в ночь, Керенский поехал в Спб., в Зимний дворец.

И — говорит Савинков — тут же к нему зашмыгали всякие «либерданы» (кличка мелкой сошки из кучек «Либера» и «Дана»). Один — в очках, другой — в pince-nez, третий — без ничего; под конец явилась знаменитая делегация из Гоца, Зензинова и еще кого-то, с ультиматумом насчет Чернова. И к утру от списка не осталось ни черта. Савинкову было поручено послать Плеханову телеграмму с отказом и встретить на вокзале Брешковскую с извинением: напрасно, мол, тревожились.

Таким образом и составилось «коалиционное» министерство, которого из Кисловодска «нельзя было понять». Нельзя, не зная, что происходит за кулисами.

Да, везде и всегда кулисы...

13 августа. Воскресенье

Сегодня первый раз, что Борис у нас не был. Совещание в Москве открылось (там — частичная забастовка, у нас — тихо).

Керенский сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка, — обыкновенную

свою речь: пафотическую, местами недурную. Только уже несовременную, ибо опять не деловую, а «праздничную». (Праздник у нас, подумаешь!) Затем говорил Авксентьев, затем Прокопович. И затем... мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пусты, да и завтра не будет газет — «товарищи»-наборщики «праздничают».

Ввергнувшись сразу в пучину здешних «дворцовых» дел, я не успела ничего сказать о бытовом Петербурге и внешнем виде его. Он, действительно, весьма нов.

Часто видела я летний Петербург. Но в таком сером, неумытом и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого.

Наш «быт» сводится к заботе о «хлебе насущном». После юга мы сразу перешли почти на голодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет!

14 августа. Понедельник

Днем был Л.

Рассказывал, как он, по нынешней его должности «комиссара печати» (или вроде), закрывал и арестовывал «Правду» после июльских дней. Много любопытного также рассказывал о нынешней «придворности» Керенского...

Л. с досадой говорил о нем. Очень за Савинкова. Просил его познакомить с ним.

Московское Сов<ещание>, по-видимому, скрипит и трещит. Все полно глупыми слухами, как дымом... которого, однако, нет без огня. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, не встреченный Керенским, и даже будто бы вопреки категорическому приказу Керенского не являться, — торжественным кортежем

проследовал к Тверской, и толпы народа кричали «ура». Затем он выступал на совещании. Тоже овация. А кучке, демонстративно молчащей, кричали: «Изменники! Гады!»

Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию.

Керенский — вагон, сошедший с рельс. Вихляется, качается болезненно и — без красоты малейшей. Он близок к концу, и самое горькое, если конец будет без достоинства.

Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, я помню, как он в первые дни свободы «клялся» перед Советами быть всегда «демократией», как он одним взмахом пера «навсегда» уничтожил смертную казнь... Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный, и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающей голову «Правде»:

Плачет, смеется,
В любви клянется,
Но кто поверит —
Тот ошибется...

Праведный ужас: ведь если соединиться с Корниловым и Савинковым, ведь это измена «клятвам Совету», и опять «смертная казнь» — «измена моей весне». Я клялся быть с демократией, «умереть за нее» — и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм, хотя при большей глубине ума и души — он не последний. Т. е. это драма, а не трагедия.

Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или въедь вместе с Корниловым, Савинковым и знаменитой программой, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вмещаю, и потому ухожу. И уйти... уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны... для

Керенского. Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье... Третьего нет, и Керенский найдет «беспутность», найдет бесславную гибель... и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек обязан быть героичен, обязан выбрать, или...

Или — что? Ничего. Посмотрим. Увидим. Не время еще задавать «последние» вопросы. Один из них хотела я задать себе: а понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко — РОССИЯ?

Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает, все военное ведомство и министерство пока остановилось.

От этого «канительного» состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в «Привал комедиантов». Утешается, что там он — писатель и поэт Ропшин. А то, говорит, я уж и забыл... (Это жаль, он очень талантлив.)

Ну, посмотрим, посмотрим.

17 августа. Четверг

С понедельника не писала. Бронхит. А погода стоит теплая, еще летняя. Надо бы скорее на нашу дачу ехать, последние дни. Но уж очень и здесь заварено, как-то уехать трудно. Дача, положим, недалеко (около той же Сиверской, где нас «постигла» война), в имении князя Витгенштейна. Газеты — в тот же день, имеется телефон, прекрасный дом. Разрыва с Петербургом как будто и нет, — как я люблю старинные парки осенью! — а все же и отсюда не оторвешься. Сиверская мне напоминает «беду войны», только теперешняя дача называется как-то пророчески-современно «Красная дача»... (Она и в самом деле вся красная.)

А что случилось?

Борис бывал все дни. В том же состоянии ожиданья.

Московское Сов<ещание> развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. П<равительст>во «говорило» о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда...

Вчера Борис сидел недолго.

Был последний вечер неизвестности — утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский.

Борис обещал известить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь.

И сегодня, часу в седьмом — телефон. Ротмистр Миронович. Сообщает мне, «по поручению управляющего военным ведомством», что «отставка признана невозможной», он остается.

Прекрасно.

А около восьми, перед ужином, является и сам Борис. Вот что он рассказывает.

К Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович и Туманов. Очень долго и, по видимости, бесплодно, с ним разговаривали. Он — ни с чем не соглашается. Филоненку ни за что не хочет оставить. (Тут же и телогрей его Барановский; он тоже за Савинкова, хотя и робеет.) Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савинкова, — Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ... обыкновенная его манера. Отставку Савинкова, которую они опять ему преподнесли (для «резолюции», что ли? Неужели ту, исчерченную?) — небрежно бросил к себе в стол. Так ни с чем они и ретировались.

Между тем в это же время Савинков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими

защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к «г. министру».

Свидание произошло наедине, даже без Барановского.

— Он мне сказал, — повествует Савинков, — и довольно спокойно, вот что: «На московском совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана — оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в Ставке зародилось движение контрреволюционное, — теперь вы не имеете права уходить из правительства, свобода и родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними...» Я так же спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны — ко мне и к моим помощникам... «Я вынужден оставить Филоненко», — перебил меня Керенский. Так и сказал — «вынужден». Все, более или менее, выяснилось. Однако мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною. — Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли?

Он подошел ко мне, странно улыбнулся... «Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я... больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить...»

Савинков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех...

В 4 часа было общее заседание пр-ва. И там Савинкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко. Авксентьев кислился. Чернова не было вовсе.

На заседании — вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани. Требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в эту же сторону. Образовали

комиссию, в нее включился тотчас и Савинков. Он надеется завтра предложить к подписи целый список лиц для ареста.

Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще «торговаться», что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает:

Первая линия окопов взята.

Их четыре... — возражаю я осторожно.

Записка Корнилова ведь еще не подписана. Однако — если не ждать вопиющих непоследовательностей, — должна быть подписана.

Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя —

«...Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И надо! — твердит глубина неизмеренная
Моей любви».

Есть души, которые, услыхав повелительное «Иди, убей», — умирают, не исполняя.

(Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы личные здесь не пример. Здесь они отступают.)

В Савинкове — да, есть что-то страшное. И ой-ой, какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием.

Сейчас он, после всего этого дня, сидел за моим столом (где я пишу) и вспоминал свои новые стихи (рукописи у него за границей). Записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были «хорошие» стихи, чтобы мне понравились. (Ропшин-поэт — такой же мой «крестник», как и Ропшин-романист. Лет 6 тому назад я его толкнула на стихи, в Каннах, своим сонетом, затем терцинами.)

Знаете, я боюсь... Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом. И я боюсь... Гораздо больше, чем Корнилова.

Я улыбаюсь невольно.

Ну что ж, надо же и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал: «Только дурак решительно ничего не боится»?..

Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение, со словами:

...«Убийца в Божий град не внидет...
Его затопчет Рыжий Конь...»

Он прочел (забыл совсем) и вдруг странно посмотрел:

— Да, да... так это и будет. Я знаю, что я... умру от покушения.

Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого.

18 августа. Пятница

Сегодня мы на обед позвали Савинкова и, по уговору с ним Л., Дмитрий позвал, попозже, Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савинкова. (Крылышки бы не обжег.)

Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился (теперь уж не сможет так ездить к нам, влез в каторжную работу).

Л. попросил его подвезти; Р. пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву, что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше.

Конечно, так всего лучше — и естественнее для совести Керенского. Это — принятие «первого» пути, конечно (власть К. К. С.), но это смягчение форм, которые для Керенского и несвойственны. Пусть он отдает себя на делание нужное, положит на него свою душу. Такая душа спасается и спасет, ибо это тоже «героизм».

20 августа. Воскресенье

Вчера была К. Ушла, опять пришла и дожидалась у меня Ел. и Зензинова с заседания своего Ц. К. в одном из дворцов.

Явились только после 2-х. (Дмитрий давно лег спать.) Некогда было говорить ни о чем. С весны Зензинов опять изменился, потемнел; полевев, «жертвенность» его приняла тупой и упрямый оттенок, неприятный.

Центр<альный> Ком<итет> партии требует Савинкова к ответу, очевидно, из-за Корниловской записки. Тот самый Ц. К., где «громадное большинство или немецкие агенты, или ничтожество». (Между прочим, так — чуть ли не председателем или вроде — подозрительный старикашка Натансон, приехавший через Германию.)

Сегодня утром приехал Д. В. с дачи. Затем всякие звонки. Пришел Карташев — вчера вернулся из Москвы. Приехал к вечеру и Савинков, которому я днем успела сообщить, что его требуют в Ц. К., влекут к ответу.

Конечно, он, Савинков, не пойдет туда для объяснений. Он даже права не имеет говорить о правительственной политике перед — хотя бы не уличенными — германскими агентами. Я думаю, формально сошлется на проезд многих через Германию.

Но, конечно, будут... уговоры подчиниться постановлению Ц. К. и явиться на допрос. Расспросы о подробностях «записки», есть ли там уничтожение выборного начала в армии и т. д.

Продолжаю не понимать. Позиция партии с-ров сейчас, несомненно, преступная. А лично, в самых честных, самых чистых (говорю только о них) младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать...

Что они думают о «комбинации» и о принципе «записки»?

О, какие детски-искренние, преступно-путаные речи! Они, сами, вовсе не против «серьезных мер». Даже так: если Каледин с казаками спасет Россию — пусть. И тут же: комбинация Керенский — Корнилов — Савинков — пуф, авантюра, вводить военное положение в тылу — нельзя,

«репрессивные» меры невозможны, милитаризация железных дорог — невводима; нельзя «превращать страну в казармы» и грозить смертной казнью. Наконец, если только эта «записка» будет Керенским подписана, — министерство взорвется, все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами, первые (наша партия) пойдем «ПОДЫМАТЬ ВОССТАНИЕ».

За точность слов ручаюсь[48]. Воочию вижу полную картину слепого «партийного» плена. Добровольного кандального рабства. Сила гипноза, очарования, «большинства». Партия с-эров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь («землица?»). У них (у лучших) наивное торжество: вся Россия стала эс-эровской! Все «массы» с нами!

Торжествуя, «большинство» и максимальничает; максимализм лучшего меньшинства — только от невозможности не быть со «всеми».

Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри «править» Ц. К., а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность!

Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное (и о чем почти не говорили!). Это что немцы перешли Двину, Рига, наверно, будет взята — если только уже не взята в данный момент.

21 августа. Понедельник

Взята.

Мы отходим на линию Чудского озера — Псков. Очень хорошо. Правительство отнеслось к этому фаталистически вяло. Ожидали, мол.

---

[48] И более ни за что. Вряд ли все это было сознательной тактикой партии. Скорей настроением. Кто не был в то время «в настроениях»? И я тоже, конечно. Мои настроения понятны. Верны ли были мои выводы — другой вопрос. Выписываю просто, как было записано, без поправок. (*Примеч. 1928 г.*)

Города не разобрать. Что — он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами: «Немедленный мир!» Все, значит, идет последовательно. Дальше.

Была у К. (погода летняя, жаркая). Сидит сычом Вол. Зензинов, обложенный газетами (своими; другие ведь, честный и умный «День» например, — «не имеют никакого влияния»).

Никнет аскетическим профилем; недоумело:

— Вот, Ригу взяли...

— Ну, так вам что? — резко говорю я. — А вы спешите пользоваться «влиянием», идите на Выборгскую требовать немедленного мира с немедленной землей.

Пошла оттуда обедать на Фурштадтскую, запуталась в казарменных переулках; они страшны даже: грязь, мусор, разваленные кучи «гарнизона», толстомордые солдаты на панели и подоконниках, семечки, гогот и гармоника. Какая тебе еще Рига! Мы не «империалисты», что о Риге думать. Погуляем здесь. А потом домой, чтоб «землицу»...

Сейчас (поздно вечером) мне звонил Л. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтоб передать Савинкову и военное, и морское министерство. (К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский; подолгу говорил с ним.)

Далее Л. сообщил, что, для подкрепления, он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность.

Ах, все это, все это — поздно! Опять, как вечно у нас: «рано! рано!» до тех пор, пока делается: «поздно».

Все согласны, что революция у нас произошла не вовремя. Но одни говорят, что «рано», другие, что «поздно». Я, конечно, говорю — «поздно». Увы, да, поздно. Хорошо, если не «слишком», а только «немного» поздно.

Царя увезли в Тобольск (наш Макаров, П. М., его и вез). Не «гидры» ли боятся (главное и, кажется, единственное занятие которой — «подымать голову»)? Но сами-то гидры бывают разные.

Штюрмер умер в больнице? Несчастный «царедворец». Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками. Как он был «очарователен» с нами и... с Иоанном Кронштадтским! Какие обеды задавал!

Стыдно сказать — нельзя умолчать: прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такта. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить.

Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?

22 августа. Вторник

Дождь проливной; явился Л. Еще не написал письма Керенскому, хочет вместе с нами.

Стали мы помогать писать (писал Л.). Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать, — но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или «властвовать», или передать фактическую власть «более способным», вроде Савинкова, а самому быть «надпартийным» президентом российской республики (т. е. необходимым «символом»).

Подписались все. Запечатали моей печатью, и Л. унес письмо.

Не успел Л. уйти — другие, другие, наконец, и М. По программе — с головной болью. В это время в нас из-под крыши повалил дым. Улицу запрудили праздные пожарные. Постояли, напустили своего дыма и уехали, а дымы сами понемногу рассеялись.

Пришел Д. В. из своей «Речи», рассказывает:

— Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Н. Д. Соколов: «Ах, я и не знал, что вы в городе. Вы домой? Я вас подвезу». Я говорю — нет, Н. Д., я не люблю казенных автомобилей; я ведь никакого отношения к власти не имею...

«Что вы, это случайно, а мне нужно бы с вами поговорить...» Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он, сознательно или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами лани: «В таком случае я хочу длинного и серьезного разговора, я слишком дорожу вашим мнением, я вам позвоню». Так мы и расстались. Голова у него до сих пор в ермолке, от удара солдатского.

Я долго с М. говорила.

Вот его позиция: никакой революции у нас не было. Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ оказался просто голым. Оттого и лозунги старые, вытащенные наспех из десятилетних ящиков. Новые рождаются в процессе борьбы, а процесса не было. Революционное настроение, ища выхода, бросается на призраки контрреволюции, но это призраки, и оно — беспредметно...

Кое-какая доля правды тут есть, но с общей схемой согласиться нельзя. И во всяком случае я не вижу действенного отсюда вывода. Как прогноз — это печально; не ждать ли нам второй революции, которая, сейчас, может быть только отчаянной — омерзительной?

К концу вечера пришли Ел. и К. С Ел. и М. говорили довольно интересно.

М. опять излагал свою теорию о «небытии» революции, но затем я перевела на данный момент, с условием обсуждать сейчас нужные действия исключительно с точки зрения их целесообразности.

Сбивался, конечно, М. на обобщения и отвлеченности. Однако можно было согласиться, что есть два пути: воздействие внутреннее (разговоры, уговоры) и внешнее (военные меры). Первое, сейчас, неизбежно переливается в демагогию. Демагогия — это беспредельная выдача векселей, заведомо неоплатных, непременно беспредельна (всякая попытка поставить предел — уничтожает работу). М. отвергал и целесообразность этого «насилия над душами». Путь второй (нынешние меры, «насилие над телами») — конечно, лишь отрицательный, т. е. могущий не двинуть вперед, но возвратить сошедший с рельс поезд — на рельсы (по которым уже можно двигаться вперед). Но он не только бывает целесообразен: в иные моменты он один и целесообразен.

Собеседники соглашались со всем, но схватились за последнее: вот именно теперь — не момент. В принципе они совсем не против, но сейчас — за демагогию, которая нужна «как оттяжка времени». Ну, да, словом — «рано»... (вплоть до «поздно»).

Звучало это мутно, компромиссно... Бояться насилия над телами и нисколько не бояться насилия над душами?

Мне припомнилось: «Не бойтесь убивающих тело и более уже ничего не могущих сделать...»

...Потом я спрашивала Ел., что же Борис? Как суд над ним в Ц. К.? Пойдет? (Нынче он уехал в Ставку дня на три.)

Борис, оказывается, отвечает формально: не могу, по моему фактическому положению, объясняться с откровенностью перед людьми, среди которых есть подозреваемые в сношениях с врагом.

Ну что же, ясно, что он прав.

23 августа. Среда

Вечером Д. В., оставшийся в городе, часов около 12 сидел в столовой (пишу по его точной записи и рассказу).

Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савинков, который всегда так приходил. (Дверь от столовой близко, а звонок прислуге очень далеко.)

Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савинков — на фронте, в Ставке, а потому окликнул:

— Кто там?

— Министр.

Голоса Дима не узнает. Открывается дверь на полуосвещенное pallier[49].

Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенским.

Кер. Я к вам на одну минуту...

Дим. Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу.

Кер. Ничего, я все равно на одну минуту, вы им передадите, что я благодарю их и вас всех за письмо.

Переходят в гостиную. Керенский шагает во всю длину. Д. В. за ним.

Дим. Письмо написано коротко, без мотивов, но это итог долгих размышлений.

Кер. А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают.

Дим. Но выбрать надо. Или вы берите на себя перед «товарищами» позор обороны и тогда гоните в шею Чернова, или заключайте мир. Я вот эти дни все думаю, что мир придется заключить...

Кер. Что вы говорите?

Дим. Да как же иначе, когда войну мы вести не можем и не хотим. Когда ведешь войну, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа.

---

[49] Лестничная клетка (*фр.*).

Кер. Да, потому что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу.

Дим. Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым.

Кер. (со злобой). А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова...

...Ну что я могу сделать, когда... Чернов — мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из «Новой жизни», а о рабочих массах.

Дим. И у них новый прием. Я слышал, что они пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все идет по-нашему, мы требовали, чтобы 18 июня не начинали наступления...

Кер. Да, да, это и я слышал.

Дим. Так принимайте же меры! Громите их! Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий.

Кер. Ну, конечно, опора в демократии, да ведь мы ничего социалистического и не делаем. Мы просто ведем демократическую программу.

Дим. Ее не видно. Она никого не удовлетворяет.

Кер. Так что же делать с такими типами, как Чернов?

Дим. Да властвуйте же наконец! Как президент — вы должны составлять подходящее министерство.

Кер. Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет.

Дим. Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти.

Кер. Да, трудно, трудно... Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить З. Н. и Д. С.

Далее Д. В. прибавляет:

«Ушел так же стремительно, как и пришел. Перемена в лице у него громадная. Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после вспрыскивания.

Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретил его ласково и вообще «подбодрял».

...Все, говорит Д. В., там в панике, даже Зензинов. Весь город ждет выступления большевиков. Ощущение, что никакой власти нет.

Карташев в панике сугубой, фаталистической: «Все пропало».

...Странен темп истории. Кажется — вот-вот что-то случится, предел... Ан — длится. Или душит, душит, и конца краю не видать, — ан хлоп, все сразу валится, и не успел даже подумать, что, мол, все валится, — как оно уже свалено, конечно, лежит.

В общем, конечно, знаешь, — но ошибаешься в днях, в неделях, даже в месяцах.

Пишу 31 августа (Четвер<г>)

Дни 26 августа, 29-го и 30-го — ошеломляющие по событиям. (Т. е. начиная с 26 августа.)

Утром я выбежала в столовую: «Что случилось?» Д. В.: «А то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург».

В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное-то было явно через 2-3 часа, т. е. что лопнул нарыв вражды Керенского к Корнилову (не обратно). Что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов. И наконец, третье: что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара.

Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами — неизвестностями, перед явными X-ами, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет, — я пытаюсь слепить из кусочков действительности образ того, что произошло на самом деле.

И пока намеренно воздерживаюсь от всякой оценки (хотя внутри она уже складывается). Только то, что знаю сейчас.

26-го в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из Ставки Вл. Львов (бывший об. прокурор Синода). Перед своим отъездом в Москву и затем в Ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из Ставки. Было назначено вечернее заседание; но, когда министры стали собираться в Зимний дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, без Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строками, и, весь бледный и «вдохновенный», объявил, что «открыт заговор ген. Корнилова», что это тотчас будет проверено и ген. Корнилов немедленно будет смещен с должности главнокомандующего как «изменник».

Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, «поверивший» на слово г-ну премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савинков, тем более, что он лишь в этот день сам вернулся из Ставки, от Корнилова. Савинкова взял Керенский к прямому проводу, соединились с Корниловым: Керенский заявил, что рядом с ним стоит В. Львов (хотя ни малейшего Львова не было), запросил Корнилова: «Подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и стоящий перед проводам Львов». Когда выползла лента с совершенно покойным «да» — Керенский бросил все, отскочил назад, к министрам, уже в полной истерике, с криками об «измене», о «мятеже», о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в Ставке.

Тут я подробностей еще не знаю, знаю только, что Керенский приказал Савинкову продолжать разговор с Корниловым и на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами пр-ва прибудет, как условлено, в Ставку, — отвечать: «Приеду 27-го». Приказал так ответить — уже посреди всей

этой бучи, уже крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это «необходимая уловка», чтобы пока — Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто (???). Карташев присутствовал при разговоре этом, стоял у провода.

Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедше-истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не будучи в состоянии ни толку добиться, ни каким бы то ни было способом уяснить себе, в чем дело, ни задержать поток действий Керенского хоть на одну минуту. Кажется, все сплошь хватали Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения, — напрасно! Он визжал свое, не слушая и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов, к нему обращенных.

По отрывочным выкликам Керенского и по отрывочным строкам невидимого Львова (арестован), набросанным тут же, во время свиданья, — выходило как будто так, что Корнилов как будто послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требованием какой-то диктатуры, или директории, или чего-то вроде этого. Кроме этих, крайне сбивчивых, передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений; Корнилов только подтвердил «то, что говорит Львов», а «что говорил Львов» — никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал.

До утра воскресенья это не выходило из стен дворца; на другой день министры (чуть ли там не ночевавшие) вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумное решение, но... Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он уже послал приказ об отставке Корнилова. Ему велено немедля сложить с себя верховное командование. Это командование принимает на себя сам

Керенский. Уже написана (Некрасовым, «не видевшим, но уверовавшим») и разослана телеграмма «всем, всем, всем», объявляющая Корнилова «мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть» и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец, для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов мятежник и изменник, и заговорщик, — открыл им Керенский: «С фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий», они уже идут. Необходимо организовать оборону «Петрограда и революции».

Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить — «верующий» Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник объявил им все, вплоть до всероссийского текста о гнусном «мятеже» и об опасности, грозящей «революции» от корниловской дивизии.

И «революционный Петроград» с этой минуты забыл об отдыхе: единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще — легко представить, что началось. «Правительственные войска» (тут ведь не немцы, бояться нечего) весело бросились разбирать железные дороги, «подступы к Петрограду», красная гвардия бодро завооружалась, кронштадтцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского (с крейсера «Аврора»).

Корнилов, получив нежданно-негаданно, — как снег на голову, — свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указания, что он «послал Львова к Керенскому», — должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции.

Он там называет вещи своими именами... «Телеграмма министра председателя является со всей своей первой части сплошной ложью. Не я послал В. Львова к Вр<еменному> правительству, а он приехал ко мне, как посланец Мин<ист>ра Пред<седателя>»... «так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества»...

Не ставит. Решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов... Ибо не все еще знаю. Но это я знаю, ведь уже с первого момента всем видно было, что НЕТ НИКАКОГО КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА. Я фактически не знаю, что говорил Львов, и вообще не знаю (кто знает?) этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие «ультиматумы». Дурацкий вздор, чтоб Корнилов ни с того ни с сего послал их с Львовым! А что касается «мятежных дивизий», идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравое соображение, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами, — догадаться: эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург с ведома Керенского, быть может, даже по его условию с Корниловым через Савинкова (который только что ездил в Ставку) ибо: 1) на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта, 2) бесспорно ожидался в Петербурге — самим Керенским — большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта.

Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского — с его полного ведома или по его форменному распоряжению.

Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что... это уже почти не вина, это какой-то Рок.

«Керенский в эти минуты был жалок», — говорит Карташев.

Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие (да и можно ли понять?), чующие, что перед ними совершается непоправимое, — и бессильные что-нибудь сделать.

Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об «измене» главнокомандующего, — все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом «сдать должность». Лихорадочно и весело «революционный гарнизон» стал готовиться к бою с «мятежными» дружинами, которые повел Корнилов на Петроград. Время ли, да и кому было задумываться над простым вопросом: как это «повел» Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в Ставке? И что это за «войска» — много ли их? Годные весьма для приструнивания «большевистских» здешних трусов, для укрепления существующей власти, но что же это за несчастный «заговорщик», посылающий горсточку солдат для борьбы и свержения всероссийского правительства, чуть ли не для «насаждения монархизма»?

Полагаю, если бы черные элементы Ставки имели на Корнилова серьезное влияние, если бы Корнилов вместе с ними начал «заговор», — он был бы немного иначе обставлен, не столь детски (хотя успех его и тогда для меня еще под сомнением).

Но продолжаю пока летучие факты.

«Кровопролития» не вышло. Под Лугой, и еще где-то, посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное правительство» и встречаются с «врагом», который

идет «защищать Временное правительство» тоже — и то же. Ну, постояли, подумали; ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься.

Однако торжественный клич дня: «Полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками».

Да, произошло громадной важности событие, но все целиком оно произошло здесь, в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумца, отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто НЕ БЫЛО НИЧЕГО.

Здесь все началось, здесь будет и доигрываться. Сюда должны быть обращены взоры. Я — созерцатель и записчик — буду смотреть со вниманием на здешнее. Кто хочет и еще надеется действовать — пусть тоже пытается действовать здесь.

Но что можно еще сделать?

Наш Борис (пишу внешние факты) был назначен петерб. ген.-губернатором. Пробыл три дня. Сегодня уже ушел от всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская «демократия». Такая удача привалила — «корниловщина»! — да чтоб тут сразу и ненавистного Савинкова не сбросить?

Но и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не «поднимают голову», они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги.

Во весь рост.

1 сентября. Пятница

Встали. Стоят. Скоро поднимутся на цыпочки, еще выше станут.

За это время все министры только и делают, что подают в отставку. (Я их понимаю, — ничего-то не понимая!)

Чернов сразу ушел «по политическим обстоятельствам» (?). Остальные перемещались, уходили, приходили, то скопом, то в одиночку... Керенский между тем, не уставая, громил «изменника» на всю Россию, отрешал, предавал суду и т. д. Назначил Алексеева под себя и сам сделался главнокомандующим. Почему мне вспоминается Николай II? Не похоже — и странно соединено, в каком-то таинственном аккорде (как их два лица, когда-то, рядом — в моем зеркале). И еще... Последние акты всех трагедий почти всегда похожи, сходствуют — при разности. Последние акты.

Керенский стал снова тяпать «коалицию» (судя по газетам; подтверждений не имею, но, очевидно, так). Совсем было стяпал с тремя кадетами, затем Барышниковым, Коноваловым... Но тут опять явились будто бы «товарищи от Ц. К.», прекратили все. В смятении полу-назначенные и полу-оставшиеся министры потекли из Зимнего дворца. Кого назад покличут?

Большевикам широко открыли двери тюрьмы (немного их там и оставалось, но все же — всему остатку). Они требуют «всех долой»: кадетов и буржуазию немедленно арестовать; Алексеева, который послан арестовывать Корнилова, — арестовать, и т. д.

Теперь их требования фактически опираются на Керенского, который сам опирается... на что? На свое бывшее имя, на свою репутацию в прошлом? Оседает опора...

Дело идет к террору. В газетах появились белые места, особенно в «Речи» (кадеты ведь тоже считаются «изменниками»).

«Новое время» вовсе закрыли.

Ни секунды я не была «на стороне Корнилова», уже потому, что этой «стороны» вовсе не было. Но и с Керенским — рабом большевиков, я бы тоже не осталась.

Последнее — потому, что я уже совершенно не верю в полезность каких-либо действий около него. Зная лишь внешние голые факты — объясняю себе поступок Бориса, остававшегося у Керенского (лишь через 3 дня удаленного), двояко: быть может, он еще верил в действие, а если верить — то, конечно, оставаться здесь, у истока происшествия, на месте преступления; быть может также, Борис, учитывая всеобщую силу гипноза «корниловщины», сотворения бывшим небывшего, увидел себя (если б сразу ушел) в положении «сторонника Корнилова» — против Керенского. То (пусть призрачное) положение — именно то, которое он для себя отвергал. Если Корнилов захочет один спасать Россию, пойдет против Керенского... — «это невероятно, но допустим, — я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю»... (Это он говорил в начале августа.) И вышло как по нотам. «Невероятное» (выступление Корнилова) не случилось, но оказалось «допустимым». Как бы случившимся. И Борис не мог как бы остаться с Корниловым.

А то, что он остался с Керенским, уж само собой вышло тоже «как бы».

Теперь или ничего не делать (деятелям), или свергать Керенского. Х. тотчас возражает мне: «Свергать! А кого же на его место? Об этом надо раньше подумать». Да, нет «готового» и «желанного», однако эдак и Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь. Если выбор — с Керенским или без Керенского валиться в яму (если уж «поздно»), то, пожалуй, все-таки лучше без Керенского.

Керенский — самодержец-безумец и теперь раб большевиков.

Большевики же все, без единого исключения, разделяются на:

1) тупых фанатиков;

2) дураков природных, невежд и хамов;

3) мерзавцев определенных и агентов Германии:
Николай II — самодержец-упрямец...
Оба положения имеют один конец — крах.

7 сентября. Среда

Данный момент: устроить правительство Керенского так и не позволили, — Советы, окончательно обольшевичевшиеся, черновцы и всякие максималисты, зовущие себя почему-то «революционной демократией». Назначили на 12-е число свое великое совещание, а пока у нас «совет пяти», т. е. Керенского с четырьмя ничтожествами. Некоторые бывшие министры не вовсе ушли — остались «старшими дворниками», т. е. управляющими министерствами «без входа» к Керенскому (!). Только Чернов ушел плотно, чтобы немедля начать кампанию против того же Керенского. Он хочет одного: сам быть премьером. Ну, в «социалистическом министерстве», конечно: в коалиции с... большевиками. После съедения Керенского.

Я сказала, что теперь «всякий будет *лучше* Керенского». Да, «всякий» *лучше* для борьбы с контрреволюцией, т. е. с большевиками. Чернов — объект борьбы: он сам — контрреволюция, как бы сам большевик.

«Краса и гордость» непрерывно орет, что она «спасла» Вр<еменное> пр<авительст>во, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен — неизвестно, ибо никакого прежнего пр-ва уже и нет, один Керенский. А Керенского эта «краса», отнюдь не скрываясь, хочет съесть.

Петербург в одну неделю сделался неузнаваем. Уж был хорош! — но теперь он воистину страшен. В мокрой черноте кишат, — буквально, — серые горы солдатского мяса; расхлястанные, грегочущие и торжествующие... люди? Абсолютно праздные, никуда не идущие даже, а так, шатущие и стоящие, распущенно самодовольные.

Вот у Бориса и Л. (они за это время уже успели как-то соединиться).

Картина всего происшедшего, нарисованная раньше нас, в общем так верна, что я почти ничего не имею прибавить. Корнилов как не был «мятежником», так им и не сделался. В момент естественного возмущения Корнилова всей «провокацией» черные элементы Ставки пытались, видимо, использовать это возмущение известным образом. Но влияние их на Корнилова было всегда так ничтожно, что и в данный час не оказало действия. Говорят, что знаменитые телеграммы-манифесты редактированы Завойко. Но это абсолютно безразлично, ибо они остаются настоящим, истинным криком благородного и сильного человека, пламенно любящего Россию и свободу. Если бы Корнилов не послал этих телеграмм, если бы он сразу, бессловно, покорился и тотчас, по непонятному, единоличному приказу Керенского стал «сдавать должность», — как знающий за собой вину «изменник», — это был бы не Корнилов.

И если б теперь он не понял, что «провокация» остается провокацией, но что дело обернулось безнадежно, что разъяснить ничего нельзя; если б он сейчас еще пытался бороться или бежать — это был бы не Корнилов. Я думаю, Корнилов так спокойно дождался Алексеева, приехавшего смещать и арестовывать его, — именно потому, что слишком уверен в своей правоте и смотрит на суд как на прямой выход из темной и недоразуменной запутанности оплетших его нитей. Это опять похоже на Корнилова. Боюсь, что тут ошибется его честная и наивная прямота. Еще какой будет суд. Ведь если он будет настоящий, высветляющий, — он должен безвозвратно осудить — Керенского.

Борис рассказывает: только в ночь на субботу, 26-е, он вернулся из Ставки от Корнилова. Львова там видел мельком. Весь день пятницы провел в «торговле» с Корниловым

из-за границ военного положения. Керенский поручил Савинкову выторговать Петроградский «округ», и Савинков, с картой в руках, выключал этот «округ», сам, говорит, понимая, что делаю идиотскую и почти невозможную вещь. Но так желал Керенский, обещая, что «если, мол, эта уступка будет сделана...». С величайшими трудами Савинкову удалось добиться такого выключения. С этим он и вернулся от совершенно спокойного Корнилова, который уже имел обещание Керенского приехать в Ставку 27-го. Все по расчету, что «записка» (в которую, кроме вышесказанного ограничения, были внесены и некоторые другие уступки по настоянию Керенского) будет принята и подписана 26-го. Ко времени ее объявления — 27–28 — подойдут и надежные дивизии с фронта, чтобы предупредить беспорядки (3–5 июля, во время первого большевистского выступления, Керенский рвал и метал, что войска не подошли вовремя, а лишь к 6-му).

Весь этот план был не только известен Керенскому, но при нем и с ним созидался.

Только одна деталь, относительно корниловских войск, о которой Борис сказал:

Это для меня неясно. Когда мы уславливались точно о посылке войск, я ему указал, чтобы он не посылал, во-первых, своей «дикой» дивизии (текинцев), и, во-вторых, — Крымова. Однако он их послал. Я не понимаю, зачем он это сделал...

Но возвращаюсь к подробностям дня субботы. Утром Борис тотчас сделал обстоятельный доклад Керенскому. Ничего определенного в ответ не получил, ушел. Через несколько часов вернулся, опять с тем же — и опять тот же результат. Тогда Борис настоятельно попросил позволения сказать г. министру несколько слов наедине. Все вышли из кабинета. И в третий раз Савинков представил весь свой доклад, присовокупив: «Дело очень серьезно...»

На это Керенский бросил бумаги в стол, сказав, что «хорошо, он решит дело в вечернем заседании Вр<еменного> правительства».

Но ранее этого заседания, за час, приехал Львов... и воспоследовало то, что воспоследовало.

Истерика, в эти часы, Керенского трудно описуема. Все рассказы очевидцев сходятся.

Не один Милюков был туда привезен: самые разнообразные люди все время пытались привести Керенского в разум хоть на одну секунду, надеясь разъяснить «чертово недоразумение», — тщетно; Керенский уже ничего не слышал. Уже было сделано, сказано, непоправимое.

Однако голым безумием да истерикой не объяснишь действий Керенского. Заведомой злой хитростью, расчетливо и обманно схватившейся за возможность сразу свалить врага, — тоже. Керенский — не так хитер и ловок, недальновиден. Внезапным, больным страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение, — опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов: и безумия, и расчетливого обмана, и страха. Сплелись в один роковой узор и были покрыты тем «Керенским вдохновением», когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух... какой подвернется, темный или светлый. Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного «вождя».

Я все отвлекаюсь. Я ведь еще не подчеркнула, что до сих пор то, из-за чего как будто запылал сыр-бор, совершенно не выяснено. Какой «ультиматум» привез от Корнилова Львов? Где этот ультиматум? И что это, наконец, — «диктатура»? Чья, Корнилова? Или это «директория»? Где доказательство, что Корнилов послал Львова к Керенскому, а не Керенский его — к Корнилову?

Где, наконец, сам Львов?

Это, — одно, известно: Львов, арестованный Керенским, так с тех пор и сидит. Так с тех пор никто его и не видел, и никому он ничего не говорил, ничего не объяснил. Потрясающе!

Я спрашивала Карташева: он ведь перед своим отъездом в Ставку был у Керенского? Разговор их неизвестен. Но почему хоть теперь не спросить у Керенского, в чем он заключался?

Карташев, оказывается, спрашивал.

Керенский уверяет, что тогда Львов бормотал что-то невразумительное и понять было нельзя.

Керенский «уверяет». А теперь уверяет, что вернувшийся Львов так вразумительно сказал о «мятеже», что сразу все сделалось бесповоротно ясно и в ту же минуту надлежало оповестить Россию: «Всем, всем, всем! Русская армия под командой изменника!»

Нет, моя голова может от многого отказаться, но не от здравого смысла. И перед этим последним требованием я пасую, отступаю, немею.

Не понимаю. И только боюсь... будущего.

Ведь уже через два часа после объявления «корниловского мятежа» Петербург представлял определенную картину. Победители сразу и полностью использовали положение.

Что касается Савинкова, то я с приблизительной точностью угадала, почему не мог он не остаться с Керенским, на своем месте. Не было двух сторон, не было «корниловской» стороны. Если б Савинков ушел от Керенского — он ушел бы «никуда»; но этому никто не поверил бы: его уход был бы только лишним доказательством бытия корниловского заговора. (Так же, как если б Корнилов — убежал.)

На своем новом посту генерал-губернатора Савинков сделал все, что мог, чтобы предотвратить хоть возможность недоразуменной бойни между идущими фронтовыми войсками и нелепо рвущимся куда-то гарнизоном (подстегивали большевики).

Через три дня Керенский по телефону, без объяснений причин, сообщил Савинкову, что он «увольняется от всех должностей».

Не соблюдены были примитивные правила приличия. Не до того. Да ведь все равно не скроешь больше, кто настоящая теперь власть над нами и... над Керенским.

Последнее свиданье «г. министра» с прогнанным «помощником» кратко и дико. Керенский его целовал, истеричничал, уверял, что «вполне ему доверяет»... Но Савинков сдержанно ответил на это, что «он-то ему больше уже ни в чем не доверяет»[50].

---

[50] *Примечание 1929 года.* В связи со всем, что в этой книге записано о *«деле Корнилова», будет* небезынтересно остановиться на свидетельстве (сильно запоздавшем!) одного из его главных участников — А. Ф. Керенского. После двенадцати лет молчания Керенский решился, наконец, «вспомнить» эти страшные дни. В «Воспоминаниях» его (Совр. зап., июль 1929 г.) есть кое-что поразительное, непонятное, достойное отметы. Цепь своих действий Керенский передает весьма согласно моей записи, и даже в описании своих «состояний» кое-где приближается к моему рассказу, напр. при роковом визите Львова: «Не успел Львов кончить, я уже не размышлял, а действовал...»... «Я выхватил бумажку у него из рук (что-то тут же набросанное) и спрятал ее в карман своего френча...» и т. п. Не обошлось, положим, и тут, в фактической стороне, без искажений и своеобразных умолчаний (см. мою запись от 19 окт. 17 г. — объяснения только что выпущенного Львова). Обходя молчанием одни факты, касаясь иных вскользь (знаменитой записки Корнилова, роли Савинкова) — Керенский зато говорит о «монархическом заговоре», о намерении Корн, свергнуть Вр. пр. и убить его, Керенского, — как о *факте несомненном,* доказательств, впрочем, не приводит, и большинство людей, доносивших ему о заговоре, не названы. Утверждение, хотя бы бездоказательное, хотя бы ведущее к великой путанице в рассказе, — со стороны Керенского еще понятно, в виду цели мемуариста — оправдать себя, свою роль в этой темной истории. Но уже совершенно непонятно, для чего Керенский, не останавливаясь, начинает рисовать картины действительности в таком абсолютно должном виде, что невольно поражаешься: ведь слишком известен всем их подлинный вид. С каким расчетом, — или в каком состоянии, — можно сегодня серьезно писать, например, что в августе 17 года России уже

10 сентября. Воскресенье

Все дальнейшее развивается нормально. Травля Керенского Черновым началась. И прямо, и перекидным огнем. Вчера были прямые шлепки грязи («Керенский — подозрителен» и т. п.), а сегодня — «Керенский — жертва» в руках Савинкова, Филоненко и Корнилова, гнусных мятежников и контрреволюционеров», пытавшихся «уничтожить демократию» и превратить «страну в казарму». Эти «гнусные черносотенные замыслы», интриги, подготовление восстания и мятежа велись «за спиною Керенского», говорит Чернов (сегодня, а завтра в «деле Чернова» опять пойдет непосредственная еда и Керенского).

не грозило ни малейшей опасности от большевиков, «загнанных в подполье», что Вр. прав. вполне овладело армией, страной, рабочими, крестьянами, что только «мятеж» Корнилова всю страну «мгновенно» вернул к анархии (и воскресил большевиков)?! Таково исходное положение мемуаров Керенского...

Но *правда* имеет объективную силу. И, повинуясь ей, против Керенского встали даже такие друзья, которые, в недавней защите его против «корниловщины» моего дневника, не постеснялись заподозрить подлинность записи. Ныне о странном рисунке положения Керенского в «Последн. нов.» говорится: «Просто даже неловко доказывать, что оно не имеет ничего общего с той реальной действительностью, которая была тогда, в августе 17 г.». И далее, после указаний на все противоречия, в которых запутался Керенский: «И для слепого ясно, что с самого начала революции до октября 17 г. в России реальна была лишь одна опасность, опасность левая».

Да, «и для слепого ясно»... И для него ясно, чего стоят «воспоминания» Керенского, возлагающего всю вину за падение России на погибшего Корнилова, на его «мятеж», в котором Керенский «сразу увидел смертельную опасность для государства»... хотя, по его же словам, в тех же «воспоминаниях», нисколько этой опасности «не боялся» (???).

От меня, впрочем, далека теперь мысль «возлагать» какие-нибудь теперь вины и на Керенского. Меня интересует, как всегда, только правда. В сознательном или бессознательном состоянии отступает от нее Керенский — я не догадываюсь, да это и не имеет значения. Во всяком случае — отступил он от правды без всякой пользы и для себя, и для журнала, напечатавшего «воспоминания». — *З. Г.*

Ах, дорогие товарищи, вы ничего не знали? Ни о записке, ни о колебаниях Керенского, ни о его полусогласиях — вы не знали? Какое жалкое вранье! Не выбирают средств для своих целей.

Президиум Совета Раб. и Солд. (Чхеидзе, Скобелев, Церетели и др.) на днях, после принятия большевистской резолюции, ушел. Вчера был поставлен на переизбрание и — провалился. Победители — Троцкий, Каменев, Луначарский, Нахамкес — захлебываются от торжества. Дело их выгорает. «Перевернулась страница»... да, конечно...

Керенский давно уехал в Ставку и там застрял. Не то он переживает события, не то подготовляет переезд пр-ва в Москву. Зачем? Военные дела наши хуже нельзя (вчера — обход Двинска), однако теперь и военные дела зависят от здешних (которые в состоянии, кажется, безнадежном). Немцы, если придут, то в зависимости от здешнего положения. И все же не раньше весны. Слухам о мире даже «на наш счет» — мало верится, хотя они растут.

Я делаю ошибку, увлекаясь подробностями происходящего, так как всего, что мы видим и слышим, всего, что делается, меняясь каждый час, — записать я не имею просто физической возможности. Будем же сухи и кратки.

Два слова о Крымове (которого Борис, уславливаясь с Корн, о присылке войск, просил не посылать и который почему-то был все-таки послан).

Когда эти защитные войска были объявлены «мятежными» и затем «сдавшимися», Крымов явился к Керенскому. Выйдя от Керенского — он застрелился... «Умираю от великой любви к родине...» Беседа их с Керенским неизвестна. (Опять «неизвестна»! Как разговор с Львовым.)

Этот Крымов участвовал в очень серьезном и военно-фронтовом заговоре против Николая II перед революцией. Заговору помешала только разразившаяся революция.

А насчет Львова, который так и сидит, так и невидим, так и остается загадочнейшим из сфинксов, — пустили версию, что он «клинически помешанный». Я думаю, это сами г-да министры, которые продолжают ничего не понимать — и не могут так продолжать ничего не понимать. Не могут верить, что Корнилов послал Львова к Керенскому с ультиматумом (разум не позволяет); и не смеют поверить, что он никакого ультиматума не привозил (честь не позволяет), ведь если поверили, что не привозил, — то как же они кроют обман или галлюцинацию Керенского, ездят в Зимний дворец, не уходят и не орут во все горло о том, что произошло?

А такой выход, что «Львов — помешанный», что-то наболтал, на что-то, случайно, натолкнул, Керенский вскипел и поторопился, конечно, но... и т. д. — такой выход несколько устраивает положение, хотя бы временно... А ведь и правительство-то «временное»...

Я это отлично понимаю. Многие разумные люди, истомленные атмосферой нелепого безрассудства, с облегчением схватились за этот лжевыход. Ибо — что меняется, если Львов сумасшедший? Тем страшнее и стыднее: от случайного бреда помешанного перевернулась страница русской истории. И перевернул ее поверивший сумасшедшему. Жалкая была бы картина!

Но и она — попытка к самоутешенью. Ибо я твердо уверена (да и каждый трезвый и честный перед собой человек), что:

1) нисколько Львов не сумасшедший;

2) никаких он ультиматумов не привозил.

Поздно веч. 10-го же

Дай Бог завтра вырваться на дачу. Эти дни сплошь Борис, Ляцкий и всякие другие. Страшная обида, что мы уезжаем

(далеко ли?), особенно в виду планов Бориса с газетой. В них боюсь верить; во всяком случае об этом — после.

Сейчас мне рассказывали (с омерзением) знакомые, как 3–5 июля у них «скрывался» дрожащий Луначарский, до «поганости» перетрусивший, и все трясся, куда бы ему уехать, и все врал, нагадив.

Часа в 4 сегодня был Карташев — только что подал в отставку. Опять! Если опять с тем же результатом... Ведь уж сколько их подавали...

Мотивировал, что «при засилии крайних социалистических элементов»... и т. д.

Терещенко уговаривал: ах, подождите, приедет Керенский — мы вместе подадим, будет демонстрация. Этот никогда даже и не подаст.

Вечером Карташев уехал в Москву, чтобы там сдать дела своему товарищу С. Котляровскому. Жаль, Карташев тут очень вмешал свое юное кадетство, к которому относится прозелитически-горячо. Il est plus miluqué, que Milukoff[51].

Но и за то спасибо, что освободился... если освободился. Останется!

18 сент. Понедельник

...«Демократическое Совещание» в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства нет. Дем. Сов. хочет еще родить какой-то «предпарламент». Чем все кончится — можно предугадать, но... смертельная лень предугадывать.

20 сентября. Среда

Затяжная скука (несмотря на всю остроту, невероятную, положения).

---

[51] Он больше милюковец, чем сам Милюков (*фр.*).

Вчера Борис. У него теперь проект соединения с казаками (и если не выйдет с ними газета — ехать на Дон). На это соединение я гляжу весьма сомнительно. Не только для нас, но и для него. Жечь корабли надо, но разумно ли все? И какую такая газета будет иметь «видимость»? Целесообразно ли рыть хотя бы «видимую» пропасть между собою и праведно отказывающеюся частью эсэров, стоящих на верном пути? Не следует ли сейчас говорить самые правые вещи — в левых газетах? Не это ли только имеет значение?

Демокр<атическое> Сов<ещание> позорно провалилось. Сначала незначительным большинством (вчера вечером) высказалось «за коалицию». Потом идиотски стало голосовать — «с к. д.» или «без». И решило — «без». После этого внезапно громадным большинством все отменило. И наконец, решило не разъезжаться, пока «чего-нибудь не решит».

Сидит... в количестве 1700 человек, абсолютно глупо и зверски.

И Керенский сидит... ждет. Правительства нет.

Сейчас был Карташев, приехавший из Москвы.

Он как бы ушел... а в сущности нет. Занимается ведомством, отставка его не принята, «соборники» и синодчики всполошились, как бы к церкви не был приставлен «революционер», «социалист», т. е. «не верующий в нее». Послали митр. Платона к Керенскому, с просьбой оставить им Карташева. (Т. е. не революционера, не социалиста, верующего в церковь.)

Мне все так же, если не больше, жаль Карташева, его ценность.

Он весь в кадетском прозелитизме (его вечная «добросовестность»). И совершенно наивно говорит: «конечно, если верующий — (тут подразумевается «верующий

в Бога») — то только и может быть кадет. Какой же социалист — религиозный...»

Звонит *Л.* Не может приехать, сидит в типографии, где у него «начались большевистские беспорядки» (?).

Свидание наше с «казаками» по поводу газеты будет завтра, у нас. Хорошо, если б они не понадобились. А газета нужна.

Д. В. от всего отстраняется. Дмитрий весь в мгновенных впечатлениях, линии часто не имеет.

Позднее, 20-го же

Л.-таки был. Арестовал кучу самых погромных прокламаций. Грозил закрыть типографию.

Привез показания Савинкова по Корниловскому делу. Они очень точны и правдивы. Ничего нового для этой книги. Только детали.

Говорили много о Савинкове. *Л.* недурно его нащупывает.

Гораздо позднее, около 1 часу, телефонировал Борис. На собрании «Воли народа», где он только что был, получилось странное сообщение: что будто президиум Дем. Совещания голосовал «коалицию» и большинством 28 голосов (59 и 31) высказался против, после чего будто бы Керенский «сложил полномочия». Удивляюсь, не разбираюсь, спрашиваю:

— Что же теперь будет?

— Да ничего... будет Авксентьев.

(Борис мог бы ответить мне совершенно так, как, в 16 году, кажется, или раньше, ответил мне на подобный же вопрос Керенский, после роспуска Думы: «Будет то, что начинается с *а*...» И, конечно, сегодня А большое (Авксентьев) гораздо менее вероятно, нежели *а* маленькое... Будет не А...вксентьев, но а...нархия, все равно, «сложил»

уже Керенский с себя какие-то «полномочия» или еще нет. Да и весть-то чепушистая».)

Вероятно, это в связи с дневным происшествием: Керенский прислал в президиум извещение — намерен сформировать кабинет и завтра его объявить.

На это было отвечено строго и внушительно, чтобы и думать не сметь. Ни-ни. Ни в коем случае.

21 сентября. Четверг

Два казака. Настоящие, здоровенные, под притолоку головами. У одного — обманно-юношеское лицо с коротким и тупым носом, с низким лбом под седеющими кудрями — лицо римской статуи. Другой — губы вперед, черные усы, казак и казак.

Не глупые (по-моему — хитрые), не сложные, знающие только здравый смысл. Знающие свое, такое далекое всяким «нам» с нашими интеллигентскими извилинами, далекое всяким газетам, всякому Струве, Амфитеатрову... да и самой «политике» в настоящем смысле слова.

Это те «правофланговые», с которыми faute de mieux[52] хочет соединиться Борис для газеты. В их газете уже сидит Амфитеатров, но они смотрят на него столь же невинными глазами, как и на газету, и на нас.

Были, кроме них и Бориса, — Карташев, Л., М. и Филоненко.

Два слова о Филоненко, из-за которого, между прочим, тоже воевал Борис с Керенским, отстаивал его. Этот Филоненко уже не в первый раз у нас, его и раньше Савинков привозил на газетные совещания. (Я просила привезти его, ибо хотела видеть, в чем штука, что за человека Борис так яростно отстаивает.)

---

[52] За неимением лучшего (*фр.*).

Должна сказать, что он производит очень неприятное впечатление. И не только на меня, но на всех нас, даже на Л. Небольшой черный офицер, лицо и голова — не то что некрасивы, но есть напоминающее «череп». Беспокойливость взгляда и движений (быть может, после корниловской истории он несколько «не в себе», недаром писал в газеты какие-то декадентски-невразумительные и «лирические» письма; а может, и они — наигранные). Присматриваясь и разбираясь, вне «впечатлений», нахожу: он очень неглуп, даже в известном смысле тонок, и совершенно не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю, и уж, конечно, никакого его «дна» не знаю, однако вижу, что у него два дна. Почему так стоит за него Борис? Филоненко его ставленник, он был его помощником на фронте... Это ничего бы не значило, но Филоненко так умно, тонко и непрерывно выражает полную преданность идеям, задачам и самому Борису, что... Борис должен этому поддаваться. Его и вообще-то «преданностью» весьма можно связывать, но когда это грубо и человек глупый и маленький — то кроме маленькой личной приятности и маленьких неудобств из этого ничего не выходит. И Борис уже только смотрит свысока на этих вассалов. Филоненко же не таков; он, повторяю, так умно «предан», что не сразу разберешься. А это «tare»[53] Бориса — весить людей, отчасти, и по их отношению к себе.

Я предполагаю (насколько видно), что Филоненко поставил свою карту на Савинкова. Очень боится (все больше и больше), что она будет бита. Другой же карты пока у него нет, и он еще не хочет отвлекаться для поисков ее. Но, конечно, исчезнет, решив, что проиграл.

---

[53] Недостаток (*фр.*).

Мы нисколько не скрыли от Бориса, что Филоненко нам не нравится. Он даже обещал к нам его не привозить без дела[54].

Что касается казаков и казачьей газеты, то я — против. Это не средство для достижения целей Бориса. Действовать «право» — надо, но действительна эта правизна лишь из левого угла.

Карташев бредит новым блоком направо — без предела. Нет, если спасать все-таки «стенающую тварь» — нужна мера. А без меры — прежде всего не выйдет.

Никаких «полномочий» Керенский и не думал «складывать». Изобретают теперь «предпарламент», и чтобы пр-во (будущее) перед ним отвечало. Занятие для предпарламента готово одно (других не намечается): свергать правительства. Керенский согласен.

Большевики, напротив, ни с чем не согласны. Ушли из заседания.

Предрекают скорую резню. И серьезную. Конечно! Очень серьезную.

На улице тьма, почти одинаковая и днем, и ночью. Склизь.

Уехать бы завтра на дачу. Там сияющие золотом березы и призрак покоя.

Призрак, ибо и там все думаешь об одном, и пишутся такие стихи, как «Гибель»: «Близки кровавые зрачки... дымящаяся пеной пасть... Погибнуть? Пасть?»...

Впрочем, последний раз я не стихами только занималась: М. дал мне свое «воззвание» против большевиков.

---

[54] С Фил. нам еще пришлось свидеться гораздо позднее, чуть не через год. Он уже разошелся с Сав. (чего мы не знали) и был в Спб. нелегально. К моему впечатлению тогда прибавилось еще одно, неожиданное: никогда не видали мы человека с таким бесстрашием, смелостью — до дерзости. Это в нем было (хотя и не послужило к тому, чего он хотел). (*Примеч. 1928 г.*)

Длинные, скучные страницы... А по-моему — следовало бы манифест; резкий и краткий, от молчаливой интеллигенции. «Ввиду преступного слабоволия правительства...»

Но, конечно, я понимаю: ведь это опять лишь слова. И даже на слова, такие определенные, уже не способна интеллигенция. Какой у нее «меч духа!» Ни черта не выйдет, тем более что тут М. С ним как-то особенно не выходит.

30 сентября. Суббота

Со дня последней записи мы уже ездили на Красную дачу и вновь приехали в Петербург. Нас вызвали из-за газеты (уже не казачьей). Не пишу обо всех этих канителях, собраниях, свиданиях с Савинковым и Л., ибо это кухня, и какой выйдет обед, и выйдет ли, — еще неизвестно.

Сегодня немцы сделали десант на Эзель-Даго. В стране нарастающая анархия.

Позорное Демократическое Совещание своим очередным позором и кончилось. На днях откроется этот «предпарламент» — водевиль для разъезда.

«Дохлая» правительственная коалиция всем одинаково претит. Карташев идет по той наклонной плоскости, на которую вступил весной. Его ценность все равно, уже наверно, будет потеряна. Но мне его жалко и как человека. И чем заразился?

Сохранившие остаток разума и зрения видят, как все это кончится.

Все — вплоть до «Дня» — грезят о штыке («да будет он благословен»), но — поздно! поздно! Говорится: «Пуля — дура, штык — молодец»; и вот, опоздали мы со штыком, дождемся мы «пули-дуры».

Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели Советами. Троцкий — председатель.

Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге — еще не определено. Будет.

8 октября. Воскресенье. Кр. дача

Нужно иметь недюжинные силы, чтобы не пасть духом. Я почти пала. Почти...

Керенский настоял, чтобы пр-во уезжало в Москву. И с «Предпарламентом», который, под именем «Совета Российской Республики», вчера открылся в Мариинском дворце. (Я и не написала, что у нас объявлено: пусть Россия называется республикой. Ну что ж, «пусть называется». Никого «слово» не утешило, ровно ничего не изменило.)

Открытие нового места для говорения было кислое. Председатель — Авксентьев. Внедрили туда и к.-д., и «цензовые элементы».

На первом же заседании Троцкий, с пособниками, устроил базарный скандал, после которого большевики, с угрозами, ушли. (Это их теперешняя тактика везде.)

А «Совет Р.» — тоже разошелся, до вторника. И то барские языки устали.

Внешнее положение — самое угрожающее. Весь Рижский залив взят с островами. Но вряд ли до весны немцы и при теперешнем положении двинутся на Петербург.

Или разве, если Керенский отъездом пр-ва ускорит дело. Отдаст Петербург сначала на бойню большевистскую, а потом и немцам. Уж очень хочется ему улепетнуть от своих августовских «спасителей». Еще выпустят ли? Они уже начали возмущаться.

Будет у нас, наконец, чистая «Петроградская» республика, сама себе голова анархическая.

Когда история преломит перспективы, — быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично. И я умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский был тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас — малодушный и несознательный человек;

а так как фактически он стоит наверху — то в падении России на дно кровавого рва повинен — он. Он. Пусть это помнят.

Жить становится невмоготу.

19 октября. Четв. (давно Спб.)

Собственно все, даже мелкие течения жизни сейчас важны, и вся упущенная мною хронология. Но почему-то, от «революционной привычки», что ли, я впала в тупую скуку, и лень записывать. Особенная, атмосферная скука. Душенье.

Резких изменений пока еще нет. Предпарламент на днях оскандалился, вроде Дем. Сов.: не мог вынести резолюцию по обороне. Борис выбран в этот, как он говорит, «предбанник» (Учр<едительное> собр<ание> — будет баня!) от казаков. Вообще он с «казачьем» что-то варит (уж не газетное, с газетой всякая возня в других аспектах).

Быть может, это и недурно, быть может, казаки и пригодились бы для известного момента... если б знать, какие у них силы и что у них на уме. Даже не в смысле их «правости»; в «делах» — правости сейчас никакой не надо бояться. Они хороши бы как сила внешняя для опоры средней массы демократов-оборонцев (кооператоров, крест. сов. и т. д.).

Но боюсь, что и Борис не вполне все знает о казаках. Они загадочные. Керенского терпеть не могут.

Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий (их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс — анархисты и погромщики просто), — держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «Вся власть советам» (т. е. большевикам). Назначили самовольно съезд советов, сначала на 20-е, когда и объявили было знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое — на 25 октября. Ленин каждодневно в «Рабочем пути»

(б. «Правда»), совершенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его, как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что пр-во «собирается» его арестовать. Вид: Керенский, во всем своем «дохлом» окружении, кричит Ленину:

— Антропка-а-а... Иди сюда-а... Тебя тятька высечь хочии-ит!

Оповещенный Антропка и не думает идти, хотя, в отличие от Антропки тургеневского, не затихает, голос подает все время и ни в какую порку не верит. И прав...

Это мы еще сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещенным намерениям «власти». Стоит этой власти что-либо пропикать, как знай: именно этого не будет. Просто замнется. С переездом пр-ва в Москву: уже замялось. Хотя я думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ниоткуда не одобрен, решил пришипиться и удрать молчком — ища ветра в поле! Притом ищи пешком, ибо всякое пассажирское движение проектируется приостановить. Или это тоже вранье и дороги просто сами собой остановятся? Ну, Керенский все-таки удерет, в последнюю минуту.

Было у нас много разных «газетных» заседаний, бывали мы у Л. и у Бориса, но вот отмечу один недавний вечер, как не лишенный любопытности.

У Глазберга (крупного дельца) из Вас<ильевского> Остр<ова>, по инициативе М., вкупе с теми интеллигентскими кружками (ныне раздробленными остатками, непристроенными или полупристроенными к пр-ву), что процветали у нас до революции. Ну, и всякого жита по лопате. Цель — посовещаться о «возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков». Замечательно, что самого М. не было: уехал зачем-то в Новгород. Лекции, что ли, читать... (Вовремя!) Доклады-

вала его проекты Z. Y. Тут явился на сцену и мой резкий манифест с Красной дачи.

Мы с Борисом и Л. приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова (она в «предбаннике», а муж ее, Прокопович, чего-то министр). Был ничего не понимающий и от всего отставший Батюшков. (Между прочим: после всех дебатов, после ужина, когда Борис, сидевший со мной рядом, уехал — он меня спросил: «А это кто такой?»)

Был Карташев, Макаров, конечно, кн. Андроников и т. д.

Ни малейшей тени «коллективизма» не вышло, конечно. О предмете, т. е. большевиках и о данной минуте, говорил только Борис, предлагавший как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий манифест и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь определенное реагирование.

Карташев совершенно безотносительно занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то «национальной» партии со Струве; говорили и другие — вообще, но со слезой; а больше всех меня поразила Кускова, эта «умная» женщина, отличающаяся какой-то исключительной политической и жизненной индивидуальностью. И знаю я это ее свойство, и каждый раз поражаюсь.

Она говорила длинно-предлинно, и смысл ее речи был тот, что «ничего не нужно», а нужно все продолжать, что интеллигенция делала и делает. Подробно и не без умиления рассказывала о митингах, и «как слушают, даже солдаты», и о том, что где на оборону или вообще какой-нибудь сбор, «то ни один солдат мимо не пройдет, каждый положит»... ну и дальше все в том же роде. Назад она везла, нас в своем министерском автомобиле и еще определеннее высказывалась все в том же духе. Допускала, что «может быть, и нужна борьба с большевиками, но это дело не наше, не интеллигентское (и выходило так, что и не

«правительственное»), это дело солдатское, может быть, и Бориса Викторовича дело, только не наше». А «наше» дело, значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать...

Да где она?! Да когда это все?! Завтра эти «солдатики» в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги? Я не слепая, я знаю, что от этих пушек никакие и манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас вовремя поднять голос, чтобы знали, на стороне каких мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга; отвечать за одни пушки, как за свои. Как за свое дело. А не то что «пусть там разные» Борисы Викторовичи с большевиками как хотят, а мы свою, внутреннюю, мирно-демократическую, возродительную линийку, ниточку будем тащить себе.

И вот все оно и правительство — подобное же. Из этих же интеллигентов-демократов, близоруких на 1 №, без очков.

Я уж потом замолчала. Потом она увидит, скоро. Пушка далеко стреляет.

За ужином вышел чуть не скандал. Дмитрий стал очень открыто и верно (совсем не грубо) говорить о Керенском. Князь Андроников почти разрыдался и вышел из-за стола: «Не могу, не могу слушать этого о светлом человеке!»

Ну, все в подобном роде. Великолепный, по нынешним временам, ужин. Фрукты, баранки белые, вино. Глазберг — хозяин. Результат — никчемный.

Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул, — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать. Да и то не торопятся. Можно и так погодить. Еще посмотрим.

Но ни дыма, ни камней — определенно не видят. Точно их нет.

Дело Корнилова неудержимо высветляется. Медленно, постепенно обнажается эта история от последних клочков здравого смысла. Когда я рисовала картину вероятную, в первые часы, — затем в первые недели, — картина, в общем, оказывалась верна, только провалы, иксы, неизвестные места мы невольно заполняли, со смягчением в сторону хоть какого-нибудь смысла. Но по мере фактического высветления темных мест — с изумлением убеждаешься, что тут, кроме лжи, фальши, безумия, — еще отсутствие здравого смысла в той высокой степени... на которую сразу не вскочишь.

Львов, только что выпущенный, много раз допрашиваемый, нисколько не оказавшийся «помешанным» (еще бы, он просто глупый), говорит и печатает потрясающие вещи. Которых никто не слышит, ибо дело сделано, «корниловщина» припечатана плотно; и в интересах не только «победителей», но и Керенского с его окружением, — эту печать удержать, к сделанному (удачно) не возвращаться, не ворошить. И всякое внимание к этому темному пятну усиленно отвлекается, оттягивается. Козырь, попавший к ним, большевики — (да и Черновцы, и далее) — из рук не выпустят, не дураки! А кто желал бы тут света, те бессильны; вертятся щепками в общем потоке. Но здесь я запишу протокольно то, что уже высветилось.

Львов ездил в Ставку по поручению Керенского. Керенский дал ему категорическое поручение представить от Ставки и от общественных организаций их мнения о реконструкции власти в смысле ее усиления. (Это собственные слова Львова, а далее цитирую уже прямо по его показаниям.)

«Никакого ультиматума я ни от кого не привозил и не мог привезти, потому что ни от кого таких полномочий

не получал». С Корниловым «у нас была простая беседа, во время которой обсуждались различные пожелания. Эти пожелания я, приехав, и высказал Керенскому». Повторяю, «никакого ультимативного требования я не предъявлял и не мог предъявить, Корнилов его не предъявлял, и я этого от его имени не высказывал, и я не понимаю, кому такое толкование моих слов и для чего понадобилось?»

«Говорил я с Керенским в течение часа; внезапно Керенский потребовал, чтобы я набросал свои слова на бумаге. Выхватывая отдельные мысли, я набросал их, и мне Керенский не дал даже прочесть, вырвал бумагу и положил в карман. Толкование, приданное написанным словам «Корнилов предлагает», — я считаю подвохом» (курс, везде подл.).

«Говорить по прямому проводу с Корниловым от моего имени я Керенского не уполномочивал, но, когда Керенский прочел мне ленту в своем кабинете, я уже не мог высказаться даже по этому поводу, т. к. Керенский тут же арестовал меня». «Он поставил меня в унизительное положение; в Зимнем дворце устроены камеры с часовыми; первую ночь я провел в постели с двумя часовыми в головах. В соседней комнате (б. Алекс<андра> III) Керенский пел рулады из опер...»

Что, еще не бред? Под рулады безумца, мешающие спать честному дураку-арестанту, — провалилась Россия в помойную яму всеобщей лжи.

В рассказе у меня тогда была одна неточность, не меняющая дела ничуть, но для добросовестности исправляю ту мелочь. Когда Керенский выбежал к приезжающим министрам с бумажкой Львова («не дал прочесть»... «попробовал набросать»... «выхватывая отдельные мысли, я набросал»...) — в это время Львов еще не был арестован, он уехал из дворца; Львов приехал тотчас после разговора

по прямому проводу, и тогда, без объяснений, Керенский и арестовал его.

Как можно видеть, — высветления темных пятен отнюдь не изменяют первую картину (см. запись от 31 авг.). Только подчеркивают ее гомерическую и преступную нелепицу. Действительно, чертова провокация!

21 октября. Суббота

Завтра, 22-го, в воскресенье, назначено грандиозное моленье казачьих частей с крестным ходом. Завтра же «день Советов» (не «выступление», ибо выступление назначено на 25-е, однако «экивочно» обещается и раньше, если будет нужно). Казачий ход, конечно, демонстрация. Ни одна сторона не хочет «начинать». И положение все напряженнее — до невыносимости.

Керенский забеспокоился. Сначала этот ход разрешил. Потом, сегодня, стал метаться, нельзя ли запретить, но так, чтобы не от него шло запрещение. Погнал Карташева к митрополиту. Тот покорно поехал, ничего не выгорело.

А тут еще сегодня Бурцев хватил крупным шрифтом в «Общем деле»: «Граждане, все на ноги! Измена!» Только что, мол, узнал, что военный министр Верховский предложил, в заседании комиссии, заключить сепаратный мир. Терещенко будто бы обозвал все пр<авительст>во «сумасшедшим домом». «Алексеев плакал»...

Карташев вьется: «Это бурцевская чепуха, он раздувает мелкий инцидент...» Но Карташев вьется и мажет по своему двойному положению правительственного и кадетского агента. Верховский (о нем все мнения сходятся) полуистеричный вьюн, дрянь самая зловредная.

Я не знаю, когда — завтра или не завтра, начнется прорезыванье нарыва. Не знаю, чем оно кончится, я не смею желать, чтобы оно началось скорее. И все-таки желаю. Так жить нельзя.

И ведь когда-нибудь да будет же революционная борьба и победа... даже после контрреволюционной победы большевиков, если и эта чаша горечи нас не минует, если и это испытание надо пройти. А думаю — надо...

Вчера у нас было «газетное» собрание, Борис очень настаивал, чтобы следующее назначить поскорее, во вторник. Я согласилась, хотя какое тут собрание, что еще во вторник будет!.. Вот книга! Чуть сядешь за нее — какой-нибудь дикий телефон!

Сейчас больше 2-х ночи. Подхожу к аппарату. Чепуха, масса голосов, в конце концов мы оказываемся втроем.

Я. Allo! Кто звонит?

Голос. Вам что угодно?

Я. Мне ничего не угодно, ко мне звонят, и я спрашиваю: кто?

Гол. Я звоню 417-21.

Друг. гол. Я здесь, это Пав. Мих. Макаров, я звонил к вам, Зин. Ник-на...

1 голос (радостно). Пав. Мих., я звоню к вам! Началось выступление большевиков — на Фурштадтской...

П. М. Да и на Сергиевской...

Голос. Откуда вы знаете? Значит, правительству было известно?..

П. М. Да с кем я говорю?

(*А я все слушаю*.)

Первый голос стал изъяснять свои официальные титулы, которые я забыла. Говорит, будто из Зимнего дворца. Выходило как-то, что он спешит известить П. М-ча от пр<авительст>ва о выступлении большевиков, а П. М. уже знает от того же пр<авителъст>ва, которое... неизвестно что. Наконец, запыхавшийся голос от нас отстал. Спрашиваю П. М-ча, зачем же он-то ко мне звонил.

— Вы слышали?

— Да, но что же делать? А вы еще что-нибудь хотели сказать мне?

— Я хотел попытаться, не найду ли у вас Бориса Викторовича. Его нигде нет...

Далее оказывается: Керенский телефонограммой отменил-таки завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. (Они ненавидят Керенского.) А большевики, между тем, и моленья не ожидая, — выступили?

Скучная ночь. Я заперла, на всякий случай, окна. Мы как раз около казарм, на соединении Сергиевской и Фурштадтской.

Пока что — улица тиха и черна самым обыкновенным образом.

24 октября. Вторник

Ничего в ту ночь и на следующий день не произошло. Сегодня, после все усиливающихся угроз и самого напряженного состояния города, после истории с Верховским и его ухода, положение следующее.

Большевики со вчерашнего дня внедрились в Штаб, сделав «военно-революционный комитет», без подписи которого «все военные приказания недействительны». (Тихая сапа!)

Сегодня несчастный Керенский выступал в предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны (а до сих пор все уговаривал!) и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки пр<авительст>ва. Нашел у кого просить и когда!

Имел очередные рукоплескания, а затем... началась тягучая, преступная болтовня до вечера, все — «вырабатывали» разные резолюции; кончилось, как всегда, полуничем, левая часть (не большевики, большевики давно ушли, а вот эти полубольшевики) — пятью голосами победила,

и резолюция такая, что предпарламент поддерживает пр-во при условиях: земля — земельным комитетам, активная политика мира и создание какого-то «комитета спасения».

Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же самое время: Выборгская сторона отложилась, в Петропавл. крепости весь гарнизон «за Советы», мосты разведены. *Люди*, которых мы видели:

Х. — в панике и не сомневается в господстве большевиков.

П. М Макаров — в панике, не сомневается в том же; прибавляет, что довольно 5-ти дней этого господства, чтобы все было погублено; называет Керенского предателем и думает, что министрам не следует ночевать сегодня дома.

Карташев — в активной панике, все погибло, проклинает Керенского.

Гальперн говорит, что все пр-во в панике, однако идет болтовня, положение неопределенное. Борис — ничего не говорит. Звонил мне сегодня об отмене сегодняшнего собрания (еще бы!), П-лу М-чу велел сказать, что домой вернется «очень» поздно (т. е. не вернется).

Все как будто в одинаковой панике, и ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо ни свечей, ни керосина нет.

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Временное правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит.

Было днем такое положение: что резолюция предпарламента как бы упраздняет пр<авительст>во, как будто оно

уходит с заменой «социалистическим». Однако авторы резолюции левые, интернационалисты потом любезно пояснили: нет, это не выражение «недоверия к пр<авительст>ву» (?), а мы только ставим своим свои условия (?).

И — «правительство» остается. «Правительство продолжает борьбу с большевиками» (т. е. не борьбу, а свои поздние, предательские глупости).

Сейчас большевики захватили «Пта» (Петр<оградское> Телегр<афное> Агентство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.

Словом, готовится «социальный переворот», самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час.

Ведь шло все, как по писаному. Предпоследний акт начался с визга Керенского 26–27 августа; я нахожу, что акт еще затянулся — два месяца! Зато мы без антракта вступаем в последний. Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога.

Сейчас скучно уже потому, что слишком все видно было заранее.

Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет — нигде — элемента борьбы. Разве лишь у тех горит «вдохновение», кто работает на Германию.

Возмущаться ими — не стоит. Одураченной темнотой — нельзя. Защищать Керенского — нет охоты. Бороться с ордой за свою жизнь — бесполезно. В эту секунду нет стана, в котором надо быть. И я определенно вне этой унизительной... «борьбы». Это пока что не революция и не контрреволюция, это просто — «блевотина войны».

Бедное «потерянное дитя», Боря Бугаев[55], приезжало сюда и уехало вчера обратно в Москву. Невменяемо.

[55] Андрей Белый.

Безответственно. Возится с этим большевиком — Ив. Разумником (да, вот куда этого метнуло!) и с «провокатором» Масловским... «Я только литературно!» Это теперь, несчастный! Другое «потерянное дитя», похожее, — А. Блок. Он сам сказал, когда я говорила про Борю: «И я такое же потерянное дитя». Я звала его в Савинскую газету, а он мне и понес «потерянные» вещи: что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!), я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир назло английским империалистам... Честное слово! Положением России доволен — «ведь она не очень и страдает»... Слова «отечество» уже не признает... Все время оговаривался, что хоть он теперь и так, но «вы меня ведь не разлюбите, ведь вы ко мне-то по-прежнему?» Спорить с ним бесполезно. Он ходит «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все «большевики». (Но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет!)

С Блоком и с Борей (много у нас этих самородков!) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают, и потому произносят слова, в 3-х измерениях прегнусно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну («прежде всего, — весело!» — говорил он), был исключительно ярым антисемитом («всех жидов перевешать») и т. д. Вот и относись к этим «потерянным детям» по-человечески!

Электричество что-то не гаснет. Верно потому, что большевики заседают «перманентно». Сейчас нам приносили свежие большевистские прокламации. Все там гидры, «поднявшие головы»; гидра и Керенский — послал передавшихся броневиков. Заверения, что «дело революции (тьфу, тьфу!) в твердых руках».

Ну, черт с ними.

25 октября. Среда

Пишу днем, т. е. серыми сумерками. Одна подушка уже навалилась на другую подушку: город в руках большевиков.

Ночью, по дороге из Зимнего дворца, арестовали Карташева и Гальперна. 4 часа держали в Павловских казармах, потом выпустили, несколько измывшись.

Продолжаю при электричестве

Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка.

На окраинах листки: объявляется, что «правительство низложено». Прокоповича тоже арестовали на улице, и Гвоздева, потом выпустили. (Явно пробуют лапой, осторожно... Ничего!) Заняли вокзалы, Мариинский дворец (высадив без грома «предбанник»), телеграфы, типографии «Русской воли» и «Биржевых». В Зимнем дворце еще пока сидят министры, окруженные «верными» (?) войсками.

Последние вести таковы: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь оттуда привезти помощь, но...

Электричество погасло. Теперь 7 ч 40 минут вечера. Продолжаю с огарком...

Итак: но если даже Лужский гарнизон пойдет (если!), то пешком, ибо эти живо разберут пути. На Гороховой уже разобрали мостовую, разборщики храбрые.

Казаки опять дали знать (кому?), что «готовы поддержать Вр<еменное> пр<авительст>во». Но как-то кисловато. Мало их, что ли? Некрасов, который, после своей неприглядной роли 26 августа, давно уж «сторонкой ходит», чуя гибель корабля, — разыскивает Савинкова. Ну, теперь его не разыщешь, если он не хочет быть разысканным.

Верховский, по-видимому, передался большевикам, руководит.

Очень красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и сегодняшними грязными, темно-серыми склизкими тучами.

Данный, значит, час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки «пр<авительст>ва» сидят в Зимнем дворце. Карташев недавно телефонировал домой в общеуспокоительных тонах, но прибавил, что «сидеть будет долго».

Послы заявили, что большевистского правительства они не признают: это победителей не смутило. Они уже успели оповестить фронт о своем торжестве, о «немедленном мире», и уже началось там — немедленно! — поголовное бегство.

Очень трудно писать при огарке. Телефоны еще действуют, лишь некоторые выключены. Позже, если узнаю что-либо достоверное (не слухи, коих все время — тьма), опять запишу, возжегши свою «революционную лампаду» — последний кривой огарок.

В 10 ч вечера (Электричество только что зажглось.)

Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышная здесь. Звонят, что будто бы крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни), обстреливали Зимний дворец. Дворец будто бы уже взят. Арестовано ли сидевшее там пр-во — в точности пока неизвестно.

Город до такой степени в руках большевиков, что уже «директория», или нечто вроде, назначена: Ленин, Троцкий — наверно; Верховский и другие — по слухам.

Пока больше ничего не знаю. (Да что знать еще, все ясно.)

Позднее. Опровергается весть о взятии б<ольшевика>ми Зимнего дворца. Сраженье длится. С балкона видны сверкающие на небе вспышки, как частые молнии. Слышны глухие удары. Кажется, стреляют и из дворца, по Неве и по «Авроре»? Не сдаются. Но — они почти голые: там лишь юнкера, ударный батальон и женский батальон. Больше никого.

Керенский уехал раным-рано, на частном автомобиле. Улизнул-таки. А эти сидят, не повинные ни в чем, кроме своей пешечности и покорства, под тяжелым обстрелом.

Если еще живы.

26 октября. Четверг

Торжество победителей. Вчера, после обстрела, Зимний дворец был взят. Сидевших там министров (всех до 17, кажется) заключили в Петропавловскую крепость. Подробности узнаем скоро.

В 5 ч утра было дано знать в квартиру Карташева. Сегодня около 11 ч Т. с Д. В. отвезли ему в крепость белье и провизию. Говорят, там беспорядок и чепуха.

Вчера, вечером, Городская Дума истерически металась, то посылая «парламентеров» на «Аврору», то предлагая всем составом «идти умирать вместе с правительством». Ни из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло. Маслов, министр земледелия (соц.), послал в Гор. Думу «посмертную» записку с «проклятием и презрением» демократии, которая посадила его в пр-во, а в такой час «умывает руки».

Луначарский из Гор. Думы просто взял и пошел в Смольный. Прямым путем.

Однако пока что на съезде от большевиков отгородились почти все, даже интернационалисты и Черновцы. Последние отозвали своих из «военно-рев. комитета». (Все началось с этого комитета. Если Черновцы там были, — значит, и они начинали.)

Позиция казаков: не двинулись, заявив, что их слишком мало и они выступят только с подкреплением. Психологически все понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контрреволюционерами?..

Но дело не в психологиях теперь. Остается факт — объявленное большевистское правительство: где премьер — Ленин-Ульянов, министр иностр. дел — Бронштейн, призрения — г-жа Коллонтай и т. д.

Как заправит это пр-во — увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-тысячной банды гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников.

Все газеты (кроме «Биржевых» и «Р. воли») вышли было... но по выходе были у газетчиков отобраны и на улицах сожжены.

Газету Бурцева «Общее дело» накануне своего падения запретил Керенский. Бурцев тотчас выпустил «Наше общее дело», и его отобрали, сожгли — уже большевики, причем (эти шутить не любят) засадили самого Бурцева в Петропавловку. Убеждена, что он нисколько не смущен. Его вечно, при всех случаях, все правительства, во всех местах земного шара — арестовывают. Он приспособился. Вынырнет.

Мы отрезаны от мира и ничего, кроме слухов, не имеем. Ведь все радио даже получают — и рассылают — большевики.

К Х. из крепости телефонировали, что просят доктора, — Терещенко и раненный вчера при аресте Рутенберг: «А мы другого доктора не знаем».

Погадавши, подумавши... Х. решил ехать, спросил автомобиль и пропуск. Еще не возвращался.

Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними... вовсе не «большевики», а вся беспросветно-глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слово «мир». Но хотя — черт их знает, эти «партии», Черновцы, например, или новожизненцы (интернационалисты)... Ведь и они о той же,

большевистской, дорожке мечтали. Не злятся ли теперь и потому, что «не они», что у них-то пороху не хватило (демагогически)?

Позже

Х. вернулся. Видел Терещенку, Рутенберга и Бурцева, да кстати и Щегловитова с Сухомлиновым. Карташева увидит завтра. Терещенко простужен (в Трубецком бастионе, где они сидят, не топили, а там сырость), кроме того, с непривычки трусит. Рутенберг и Бурцев абсолютно спокойны. Еще бы, еще бы. Рутенберг — старый террорист (это он убил Талона), а о Бурцеве я уж говорила. Маслов в тяжелом нервном состоянии («социалист» называется! но, впрочем, я его не знаю).

Х. говорит, что старая команда ему как отцу родному обрадовалась. Они под большевиками просто потому, что «большевики взяли палку». Новый комендант довольно растерян. Все обеспокоены — «что слышно о Керенском»?

Непрерывные слухи об идущих сюда войсках и т. д. — очень похожи на легенду, необходимую притихшим жителям завоеванного города. Я боюсь, что ни один полк уже не откликнется на зов Керенского — поздно.

Сейчас легенда сформировалась в целое сражение где-то или на станции Дно (блаженной, милой памяти Марта!), или в Вырицах.

27 октября. Пятница

Целый день народ, не могла писать раньше. То же захватное положение. Газеты, социалистические, но антибольшевистские, вышли под цензурой, кроме «Новой жизни», остальные запрещены. В «Известиях» (Совета) изгнана редакция, посажен туда больш<евик> Зиновьев. «Гол<ос> солдата» — запрещен. Вся «демократия», все отгородившиеся от б<ольшеви>ков и ушедшие с пресловутого

съезда организации собрались в Гос. Думе. Дума объявила, что не разойдется (пока не придут разгонять, конечно!) и выпустила № «Солдатского голоса» — очень резко против захватчиков. Номер раскидывали с думского балкона. Невский полон, а в сущности все «обалдевши», с тупо раскрытыми ртами. В Думе и Некрасов, ловко не попавший в бастион.

Интересны подробности взятия министров. Когда, после падения Зимнего дворца (тут тоже много любопытного, но — после), их вывели, около 30 человек, без шапок, без верхней одежды, в темноту, солдатская чернь их едва не растерзала. Отстояли. Повели по грязи, пешком. На Троицком мосту встретили автомобиль с пулеметом; автомобиль испугался, что это враждебные войска, и принялся в них жарить; и все они, — солдаты первые, с криками, — должны были лечь в грязь.

Слухи, слухи о разных — «новых правительствах» в разных городах. Каледин, мол, идет на Москву, а Корнилов, мол, из Быхова скрылся. (Корнилов-то уж бегал из плена посерьезнее, германского... почему бы не уйти ему из большевистского?)

Уже не слухи, — или тоже слухи, но упорные, — что Керенский, с какими-то фронтовыми войсками, в Гатчине. И Лужский гарнизон сдался без боя. От Гатчины к Спб. наши «победители» уж разобрали путь, готовятся.

Захватчики, между тем, спешат. Троцкий-Бронштейн уж выпустил «декрет о мире». А захватили они решительно все.

Возвращаюсь на минуту к Зимнему дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с «Авроры», которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если б не холостыми, то Дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирающих сзади

солдатских банд, как могли (и перебили же их), пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством.

Когда же хлынули «революционные» (тьфу, тьфу!) войска, Кексгольмский полк и еще какие-то, — они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести — то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба... Нет, слишком стыдно писать...

Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали...

«Министров-социалистов» сегодня выпустили. И они... вышли, оставив своих коалиционистов-кадет в бастионе.

28 октября. Суббота

Только четвертый день мы под «властью тьмы», а точно годы проходят. Очень тревожно за тех, кто остался в крепости, когда «товарищи-социалисты» ушли. Караул все меняется, черт знает, на что он не способен. Там чепуха, свиданий никому не дают, потом одним фуксом дали, потом опять всех высадили... Весь день нынче возимся с Гор<одской> Думой («комитет спасения»). Д. В. там даже был.

С утра слухи о сражении за Моск. Заставой: оказалось, вздор. Днем будто аэроплан над городом разбрасывал листки Керенского (не видала ни листков, ничего). Последнее и подтверждающееся: прав, войска и казаки уже были в Царском, где гарнизон, как лужский и гатчинский, или сдавался, или, обезоруженный, побрел кучами в Спб. Почему же они были в Царском, — а теперь в Гатчине, на 20 верст дальше?

Командует, говорят, казачий генерал Краснов и слух: исполняет приказы только Каледина (и Каледин-то за тысячу верст!), а Керенский, который с ними, — у них будто бы «на веревочке». По выражению казака-солдата: «Если что не по-нашему, так мы ему и голову свернем».

Как значительны войска — неизвестно. Здешние стягивают на вокзалы своих — силы «петроградского гарнизона» (шваль) и красногвардейцев. Эти храбрые, но все сброд, мальчишки.

Генерал Маниковский, арестованный с правительством, освобожден, хотя еще сегодня утром большевики хотели его расстрелять. Он говорил сегодня, что с казаками и с Керенским находился также и Борис. (Очень вероятно. Не сидит же он сложа руки.)

Сейчас льет проливной дождь. В городе полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам, ожидая сражения. Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь «вр. комитет», т. е. Бронштейны-Ленины, переехал из Смольного... не в загаженный, ограбленный и разрушенный Зимний дворец — нет! а на верную «Аврору»... Мало ли что...

Очень важно отметить следующее.

Все газеты, оставшиеся ($^{3}/_{4}$ запрещены), вплоть до «Нов<ой> жизни», отмежевываются от большевиков, хотя и в разных степенях. «Нов<ая> ж<изнь>», конечно, менее других. Лезет, подмигивая, с блоком и тут же «категорически осуждает» — словом, обычная подлость. «Воля народа» резка до последней степени. Почти столь же резко и «Дело» Чернова. Значит: кроме групп с. д. и главная группа — с-эры Черновцы — от большевиков отмежевываются? Но... в то же время намечается у последних с-эров,

очень еще прикрыто, желание использовать авантюру для себя. (Широкое движение, уловимое лишь для знающего все кулисы и мобили.)

То есть: левые, за большевиками, партии, особенно с-эры Черновцы, как бы переманивают «товарищей» гарнизона и красногвардейцев (и т. д.): большевики, мол, обещают вам мир, землю и волю, и социалистическое устройство, но все это они вам не дадут, а могут дать — и дадим в превосходной степени! — мы. У них только обещания, а у нас это же — немедленное и готовое. Мы устроим настоящее социалистическое правительство без малейших буржуев, мы будем бороться со всякими «корниловцами», мы вам дадим самый мгновенный «мир» со всей мгновенной «землей». С большевиками же, товарищи дорогие, и бороться не стоит; это провокация, если кто говорит, что с ними нужно бороться; просто мы возьмем их под бойкот. А так как мы — все, то большевики от нашего бойкота в свое время и «лопнут, как мыльный пузырь».

Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает... не хочу и определять, что именно, однако очень много и, между прочим, ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ.

Вместо того чтобы помочь поднять опрокинутый полуразбитый вагон, лежащий на насыпи верх колесами, — отогнав от вагона разрушителей, конечно, — напрячь общие силы, на рельсы его поставить, да осмотреть, да починить, — это наша упрямая «дура», партийная интеллигенция, — желает только сама усесться на этот вагон... Чтобы наши «зады» на нем были — не большевистские. И обещает никого не подпускать, кто бы ни вздумал вагон начать поднимать... А какая это и без того будет тяжкая работа!

Нечего бездельно гадать, чем все кончится. Шведы — (или немцы?) — взяли острова, близок десант в Гельсингфорсе. Все это по слухам, ибо из Ставки вестей не шлют,

вооруженные большевики у проводов, но... быть может, просто — «вот приедет немец, немец нас рассудит»...

Господи, но и это еще не конец!

29 октября. Воскресенье

Узел туже, туже... Около 6 часов прекратились телефоны — станция все время переходила то к юнкерам, то к большевикам, и, наконец, все спуталось. На улицах толпы, стрельба. Павловское юнк. уч. расстреляно. Владимирское горит; слышно, что юнкера с этим глупым полковником Полковниковым заседали в Инж<енерном> замке. О войсках Керенского слухов много — сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя. Сегодня в нашей квартире (в столовой) дежурит домовой комитет, в 3 часа будет другая смена.

Вчера две фатальные фигуры X. и Z. отправились было соглашательной «делегацией» к войскам Керенского — во избежание «кровопролития». Но это вам, голубчики, не в Зимний дворец шмыгнуть с ультиматумом Чернова. На первом вокзале их схватили большевики, били прикладами, чуть не застрелили, арестовали, издевнулись вдосталь, а потом вышвырнули в зад ногой.

Толпа, чернь, гарнизон — безотносительны абсолютно и сами не понимают, на кого и за кого они идут.

Газеты все задушены, даже «Рабочая»; только украдкой вылезает «Дело» Чернова (ах, как он жаждет, подпольно, соглашательства с большевиками!), да красуется, помимо «Правды», эта тля — «Новая жизнь».

Петропавловка изолирована, сегодня даже X. туда не пустили. Вероятно, там, и на «Авроре», засели главари. И надо помнить, что они способны на все, а чернь под их ногами — способна еще даже больше, чем на все. И главари не очень-то ею владеют.

Петербург, — просто жители, — угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни!

30 октября. Понедельник. 7 час. веч.

Положение неопределенное, т. е. очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись.

ВОЙСКА КЕРЕНСКОГО НЕ ПРИШЛИ (и не придут, это уж ясно). Не то — говорят — в них раскол, не то их мало. Похоже, что и то и другое. Здесь усиливаются «соглашательные» голоса, особенно из «Новой жизни». Она уж готова на правительство с большевиками — «левых дем. партий». (Т. е. мы — с ними.)

Телефон не действует, занят красной гвардией. Зверства «большевистской» черни над юнкерами — несказанны. Заключенные министры, в Петропавловке, отданы «на милость»(?) «победителей». Ушедшая было «Аврора» вернулась назад вместе с другими крейсерами. Вся эта храбрая и грозная (для нас, не для немцев!) флотилия — стоит на Неве.

31 октября. Вторник

Отвратительная тошнота. До вечера не было никаких даже слухов. А газет только две — «Правда» и «Нов<ая> жизнь». Телефон не действует. Был весь потрясенный Х., рассказывал о «петропавловском застенке». Воистину застенок — что там делают с недобитыми юнкерами!

Поздно вечером кое-что узнали, и очень правдоподобное.

Дело не в том, что у Керенского «мало сил». Он мог бы иметь достаточно, прийти и кончить все здешнее 3 дня тому назад; но... (нет слов для этого, и лучше я никак и не буду говорить) — он опять колеблется! Отсюда вижу,

как он то падает в прострации на диван (найдет диван!), то вытягивает шею к разнообразным «согласителям», предлагающим ему всякие «демократические» меры «во избежание крови». И это в то время, когда здесь уже льется кровь детей-юнкеров, женщин, а в сырых казематах сидят люди пожилые, честные, ценные, виноватые лишь в том, что поверши Керенскому, взяли на себя каторжный и унизительный (при нем) правительственный труд! Сидят под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов — озверение растет по часам.

А Керенский — не все договорил еще! Его еще зудит выехать в автомобиле к «своему народу», к знаменитому «петроградскому гарнизону» — и поуговаривать. УЖ БЫЛО. Оказывается — выезжал. И не раз. Гарнизон не уговорился нисколько. Но он и не сражается. Постоит — и назад с позиций, спать. Сражается сброд и красная армия, мальчишки-рабочие с винтовками.

Казаки озлоблены до последней степени. Еще бы! Каково им там, в этом, поистине дурацком, положении? И Борису, если он тоже там с ними. Каждое столкновение казаков с «красными» — (столкновений все же предотвратить нельзя — Керенский, верно, смахивает слезу пальцем перчатки) — кончается для красных плохо.

Керенский имеет сношение со здешними соглашателями-черновцами? Они же (как я верно писала) выбиваются из сил, желая воспользоваться для себя делом большевиков, которые исполнили грязную работу захватчиков и убийц. Черновцы мечтают приступить к дележке добычи, и непременно с тем, чтобы вся добыча была ихняя; вам же, грабители и убийцы, мы обещаем полную безнаказанность... Мало? Ну, вот вам уголок стола во время пира, мы ничего... (Уже не говорят о «бойкоте», уже «согласны спустить и кое-каких большевиков в свое министерство»...

А что говорят большевики? Они-то — согласились делить по-черновски свою добычу? Они ничего не говорят. Они делают — свое.)

Черновцы и всякие другие интернационалисты этим молчаньем не смущены. Убеждены, что все равно — разбойникам одним с добычей не справиться. Действительно, у них сейчас: служащие не служат, министерства не работают, банки не открываются, телефон не звонит. Ставка не шлет известий, торговцы не торгуют, даже актеры не играют. Весь Петербург озлоблен не менее казаков, но молчит и сопротивляется лишь пассивно.

Однако страшно ли «обезьяне со штыком» пассивное сопротивление? И на что разбойникам министерства? На что им банки? Им сейчас нужны деньги, а для этого штык лучше служащих откроет банк. Они старались — и отдадут крупинку награбленного Чернову или кому бы то ни было?! У них можно только отнять, а они уж носом чуют, что «отнимаем» не очень пахнет. Еще боятся, еще шлют своих копьеносцев к «позициям» с колючей проволокой и хромыми пушками (оружие, однако, почти все в их руках), — но уже понемногу смелеют, тянут лапу... щупают; попробуют — можно. Дальше валяй.

Не бесцельно ли позорятся соглашатели, деля капитал (Россию) без «хозяев»?

Я лишь рисую сегодняшнее положение. И вот, наконец, последнее известие, естественно вытекающее из предыдущих: три дня перемирия между войсками Керенского и большевиками. Во всех случаях это великолепно для большевиков. В три дня многое сделается и многое для них выяснится. Можно еще «на всякий случай» укрепить свои позиции, подзуживая победительное торжество и терроризуя обывателей. Можно, кроме того, и поагитировать в «братских» войсках, теряющих терпение и, конечно,

не пылающих высоким духом. Много, много можно сделать, пока болтают Черновцы.

А немец — что? Или он — не сейчас?

О Москве: там 2000 убитых? Большевики стреляли из тяжелых орудий прямо по улицам. Объявлено было «перемирие», превратившееся в будущее черни, пьяной, ибо она тут же громила винные погреба.

Да. Прикончила война душу нашу человечью. Выела — и выплюнула

1 ноября. Среда

Все идет естественным (логическим) порядком. Как по писаному, — впрочем, ярче и ужаснее всякого «писаного». Дополнения ко вчерашнему такие: здешние соглашатели продолжают соглашаться... между собой, о том, что нужно согласиться с большевиками. В думском комитете до последнего поту сидели, все разговаривали, обсуждали состав нового «левого» правительства, чуть не все имена выбрали... так, как будто все у них в кармане и большевики положили завоеванный «Петроград» к их ногам. Самый жгучий вопрос решили: соглашаться ли им с большевиками? Решили. Соглашаться. Как вопрос о соглашательстве стоит у большевиков — этим не занимались. Разумелось само собой, что большевики только и ожидают, когда снизойдут к ним другие левые партии (!!!).

В думском комитете, где осталось большевиков весьма немного, из захудалых — да и те просто «присутствовали», — назначения так и сыпались. Чернов, конечно, премьером... Очевидец мне рассказывал, что это жалкое и страшное совещание все время сопровождалось смехом и что это было особенно трагично. Предлагали так, просто, кого кто придумает. Предложили знаменитого Н. Д. Соколова — его кандидатура была встречена особым взрывом

смеха, но благосклонно. Вообще захудалые большевики мало против кого возражали, они помалкивали и только смеялись. Горячо галдели все остальные.

Чернов, — вернее Черновцы, ибо самого-то Чернова где-то нету, портфель министра нар<одного> просв<ещения> снисходительно обещали Луначарскому. (А он давно в Смольном!) Проекты блистательные...

...Царское было раньше оставлено; туда, после оставления Гатчины, явились, свободно и смело, большевики. Распубликовали, что «Царское взято». Застрелили спокойно коменданта (не огорчайтесь, А. Ф., это не «демократическая» кровь), стали сплошь врываться в квартиры. Над Плехановым издевались самым площадным образом, в один день обыскивали его 15 (siel) раз. Больной, туберкулезный старик слег в постель, положение его серьезно.

Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь, по каким угодно рассказам и записям, мог понять и представить себе нашу здесь атмосферу. В ней надо жить самому.

Сегодня большевики, разведя все мосты, просунули на буксире (I) свои броненосцы по Неве к Смольному. Совершенно еще не встречавшееся безумие.

По городу открыто ходят всем известные германские шпионы. В Смольном они называются: «представители германской и австрийской демократии». Избиение офицеров и юнкеров тоже входило в задачу Бронштейна? Кажется, с моста Мойки сброшено пока только 11, трупы вылавливаются. Убит и князь Туманов — нашли под мостом.

Самое последнее известие: Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался было ехать Луначарский (это еще что?), но Керенского нет.

2 ноября. Четверг

Я веду эту запись не для сводки фактов, но и для посильной передачи атмосферы, в которой живу. Поэтому записываю и слухи по мере их поступления.

Сегодня почти все, записанное вчера, подтверждается. В чисто большевистских газетах трактуется с подробностями «бегство» Керенского. Будто бы в Гатчине его предали изменившие казаки и он убежал на извозчике, переодевшись матросом. И даже, наконец, что в Пскове, окруженный враждебными солдатами, он застрелился.

Из этого верно только одно, конечно: что Керенский куда-то скрылся, его при «его» войсках нет и никаких уже «его войск» — нет.

Соглашательские потуги (вчерашнее «министерство») стыдливо затихли.

Масса явных вздоров о Германии, о наступлении Каледина на Харьков (психологически понятные легенды). А вот не вздор: в Москве, вопреки вчерашним успокоительным известиям, полнейшая и самая страшная бойня: расстреливают Кремль, разрушают Национальную и Лоскутную гостиницу. Штаб на Пречистенке. Много убитых в частных квартирах — их выносят на лестницу (из дома нельзя выйти). Много женщин и детей. Винные склады разбиты и разграблены. Большевистские комитеты уже не справляются с толпой и солдатами, взывают о помощи к здешним.

Черно-красная буря над Москвой. Перехлест.

Уехать нельзя и внешне (и внутренне). Да и некуда.

Пока формулирую кратчайшим образом происходящее так: Николай II начал, либералы политики продолжили — поддержали, Керенский закончил.

Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную, его позицию во время войны, во время революции — до июля. Там были ошибки, человеческие;

но в марте он буквально спас Россию от немедленного безумного взрыва. После конца июня (благодаря накоплению ошибок) он был кончен и, оставаясь, конченный, во главе, держал руль мертвыми руками, пока корабль России шел в водоворот.

Это конец; О начале — Николае II — никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, кадетах, правом блоке и т. д. — я довольно здесь писала. Я их не виню. Они были слепы и действовали, как слепые. Они не взяли в руки неизбежное, думали, отвертываясь, что оно — избежно. Все видели, что КАМЕНЬ УПАДЕТ (моя запись 15–16-го года), все, кроме них. Когда камень упал, и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский. И нес, держал (один!), пока не сошел с ума от непосильной ноши и камень — не без его содействия, — не рухнул всей своей миллионнопудовой тяжестью — на Россию.

3 ноября. Пятница

Весь день тревога о заключенных. Сигнал к ней дал Х., вернувшийся из Петропавловки. Там плохо, сам «комендант» боится матросов, как способных на все при малейшей тревоге. Надо ухитриться перевести пленников. Куда угодно — только из этой матросско-большевистской цитадели. Обращаться к Бронштейну — единственный вполне бесполезный путь. Помимо противности вступать с ним в сношения — это так же бесцельно, как начать разговор с чужой обезьяной. Была у нас мать Терещенки. Мы лишь одно могли придумать — скользкий путь обращения к послам. Она видела Фрэнсиса, увидит завтра Бьюкенена. Но их то же положение — обращаться к «правительству», которого они не признают? Надо хранить международные традиции; но все же надо понимать, что это для которой нет ни признания, ни непризнания.

Посольства охраняются польскими легионерами.

О Москве сведения потрясающие. (Сейчас — опять, что утихает, но уж и не верится.) Город в полном мраке, телефон оборван. Внезапно Луначарский, сей «покровитель культуры», зарвал на себе волосы и, задыхаясь, закричал (в газетах), что если только все так, то он «уйдет, уйдет из большевицкого правительства»! Сидит.

Соглашатели хлебнули помоев впустую: большевики недаром смеялись — они-то ровно ни на что не согласны. Теперь — когда они упоены московскими и керенскими «победами»? Соглашателям вынесли такие «условия», что оставалось лишь утереться и пошлепать восвояси. Даже подленинцы из «Новой жизни» ошарашились, даже с-эры Черновцы дрогнули. Однако эти еще надеются, что б<ольшеви>ки пойдут на уступочки (легкомыслие), уверяют, что среди б<ольшеви>ков — раскол... А кажется, у них свой начинается раскол и некоторые с-эры («левые») готовы, без соглашений, прямо броситься к большевикам: возьмите нас, мы уже сами большевики.

В Царском убили священника за молебен о прекращении бойни (на глазах его детей). Здесь тишина, церковь все недавние молитвы за Врем. пр<авительст>во тотчас же покорно выпустила. Банки закрыты.

Где Керенский — неизвестно; в этой истории с большевицкими «победами» и его «побегом» есть какие-то факты, которых я просто не знаю. Борис там с ним был, это очевидно. Одну ночь он ночевал в Царском, наверно (косвенные сведения). Но был и в Гатчине. Ну, даст весть.

4 ноября. Суббота

Все то же. Писать противно. Газеты — ложь сплошная.

Впрочем: расстрелянная Москва покорилась большевикам.

Столицы взяты вражескими — и варварскими — войсками. Бежать некуда. Родины нет.

5 ноября. Воскресенье

Приехал Горький из Москвы. Начал с того, что объявил: «Ничего особенного в Москве не происходило(?!) Х. видел его мельком, когда он ехал в свою «Нов<ую> жизнь». Будто бы «растерян», однако «Нов<ая> жизнь» поддерживает; помогать заключенным (у него масса личных друзей среди б<ольшевистс>кого «правительства») и не думает.

В стане захватчиков есть брожения, но что это, когда два столпа непримиримых и непобедимых на своих местах: Ленин и Троцкий. Их дохождение до последних пределов и незыблемость объясняется: у Ленина — попроще, у Троцкого — посложнее.

Любопытны подробности недавних встреч фронтовых войск с большевиками (где всегда есть агитаторы). Войска начинают с озлобления, со стычек, с расстрела... а большевики, не сражаясь, постепенно их разлагают, заманивают и, главное, как зверей, прикармливают. Навезли туда мяса, хлеба, колбас — и расточают, не считая. Для этого они специально здесь ограбили все интендантство, провиант, заготовленный для фронта. Конечно, и вином это мясо поливается. Видя такой рай большевицкий, такое «угощение», эти изголодавшиеся дети-звери тотчас становятся «колбасными» большевиками. Это очень страшно, ибо уж очень явственен — дьявол.

Керенский, действительно, убежал — во время начавшихся «переговоров» между «его» войсками и б<ольшеви>стскими. Всех подробностей еще не знаю, но общая схема, кажется, верна; эти «переговоры» — результат его непрерывных колебаний (в такие минуты!), его зигзагов. Он медлил, отдавал противоречивые приказы Ставке, то выслать войска, то не надо, вызванные возвращал с дороги, торговался и тут (наверно, с Борисом и с казаками: их было мало, они должны были требовать подкрепления).

Устраивал «перемирия» для выслушивания приезжающих «соглашателей»... Словом, та же преступная канитель, — наверно.

Рассказывают (очевидцы), что у него были моменты истерического геройства. Он как-то остановил свой автомобиль и, выйдя, один, без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат... которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им: «Мерзавцы!» — пошел, опять один, к своему автомобилю и уехал.

Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный.

6 ноября. Понедельник

Я кончу, видно, свою запись в аду. Впрочем — ад был в Москве, у нас еще предадье, т. е. не лупят нас из тяжелых орудий и не душат в домах. Московские зверства не преувеличены — преуменьшены.

Очень странно то, что я сейчас скажу. Но... мне СКУЧНО писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука. Вихрь событий и — неподвижность. Все рушится, летит к черту и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы. В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы; его сейчас почти нет. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей. И пахнут мертвечиной. Даже в землетрясении, в гибели и несчастий совсем внешнем, больше жизни и больше смысла, чем в самой гуще ныне происходящего, — только начинающего свой круг, быть может. Зачем, к чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли и слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда все делается посредством «как бы»

людей и уже не людей? Страшен автомат — машина в подобии человека. Не страшнее ли человек — в полном подобии машины, т. е. без смысла и без воли?

Это — война, только в последнем ее, небывалом, идеальном пределе: обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие, куда и зачем. И человеку в этой «войне машин» было бы — сверх всех представимых чувств — еще СКУЧНО.

Я буду, конечно, писать... Так, потому что я летописец. Потому что я дышу, сплю, ем... Но я не живу.

Завтра предполагается ограбление б<ольшеви>ками Государственного банка. За отказом служащих допустить это ограбление на виду — б<ольшеви>ки сменили полк. Ограбят завтра при помощи этой новой стражи.

Видела жену Коновалова, жену Третьякова. Союзные посольства дали знать в Смольный, что если будут допущены насилия над министрами — они порывают все свои связи с Россией. Что еще они могут сделать? Третьякова предлагает путь подкупа (в виде залога; да этим, видно, и кончится). Они выйти согласятся лишь вместе.

У Х. был Горький. Он производит страшное впечатление. Темный весь, черный, «некочной». Говорит — будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нем было очень тяжело. (Она — милая француженка, виноватая пред Горьким лишь в том разве, что ее муж «буржуй и кадет»). И вообще получалась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается.

— Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким.

Только что упоминал о Луначарском (сотрудник «Н<овой> жизни», а Ленин — когда-то совсем его «товарищ») — я и возражаю, что поговорите, мол, тогда с Луначарским... Ничего. Только все о своей статье, которую уж

он «написал»... для «Нов<ой> жизни»... для завтрашнего №... Да черт в статьях! Х. пошел провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Дима хотел уйти... Тогда уж я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в «Нов<ой> жиз<ни>» не отделяют вас от б<ольшеви>ков, «мерзавцев», по вашим словам; вам надо уйти из этой компании. И, помимо всей «тени» в чьих-нибудь глазах, падающей от близости к б<ольшеви>кам, — что сам он, спрашиваю, сам-то перед собой? Что говорит его собственная совесть?

Он встал, что-то глухо пролаял:

— А если... уйти... с кем быть?

Дмитрий живо возразил:

— Если нечего есть — есть *ли* все-таки человеческое мясо?

Здесь обрывается текст моей «Петербургской записи» — все, что от нее уцелело и после долгих лет попало в мои руки. Продолжения (которое по размеру почти равно печатаемому, хотя обнимает всего 20 следующих месяцев) я не имею и, вероятно, никогда иметь не буду. У меня сохранились лишь отрывочные заметки самых последних месяцев в Спб. (Июнь 19 г. по янв. 20 г.) — эти заметки вошли в сборник «Царство Антихриста», вышедший за границей в 21 г. на русском, французском и немецком языках. Они будут впоследствии перепечатаны в отдельном издании, соединенные с такими же заметками о шестимесячном нашем пребывании в Польше в 1920 г., с января по ноябрь.

Автор

Тайна зеркала (Иван Бунин)

I

Каждый русский замечательный писатель — в то же время и замечательный человек.

Может быть, это правило (с исключениями, его подтверждающими) распространяется и на писателей других стран. Сейчас я говорю о России, где так ярка и полна гармония между человеком, — личностью, — и ее талантом.

Самый крупный пример — Лев Толстой. Он, как горная вершина, виден отовсюду. И никто, из русских ли или из иностранцев, не будет спорить: Толстой сам по себе, как человек, как личность, не менее гениален, чем его гениальные произведения. Он и они — равны.

Если мы обратимся к другим нашим великим писателям, хотя бы к Лермонтову и Гоголю, мы должны будем сказать то же самое: оба они в рост своих произведений. Каждый из них равен своему таланту, своему гению.

Писатель вообще, — а русский писатель в особенности, — неотделим от своих произведений.

Многие русские критики знают это. Какой бы шумный успех ни сопровождал нового писателя — он нас не ослепляет. Если под смелыми, красивыми, даже сильными строками сквозит робкая и пустая душа, если не чувствуется стержня определенной личности, — мы знаем, что успех — только внешность, случайная волна, которая схлынет. Произведения писателя, если останутся — останутся лишь в рост человека, их создавшего.

Волна внезапного успеха, захлестнувшая одно время Максима Горького и Леонида Андреева, часто вредит писателям, даже губит их, останавливает их нормальный рост. Кто знает, не выработалась ли бы у Горького человеческая душа, средняя, но крепкая, во всю меру его таланта, если бы не исказил ее неумеренный внешний успех? Очень

большая сила выдержала бы, конечно, все; и, конечно, не один этот успех виновен в том, что мы сейчас в Горьком вместо честного, хорошего писателя имеем безвольное, бессильное жалкое существо, навеки потерянное и для литературы, и для России; однако и несчастие успеха сыграло тут свою роль.

Но я не о Горьком хочу говорить сейчас. Горький взят мною лишь как один из бесчисленных примеров, — отрицательных. Их слишком много. А именно теперь, когда кажется, что вся Россия стала отрицательной величиной, — надо напоминать: Россия есть, была и будет, Россия вечна. Не только потому, конечно, что у нее была такая литература и такие люди, ее создавшие; но между прочим и потому, что эта литература и эти люди есть.

Один из людей-писателей, утверждающий своим бытием бытие России, — Иван Бунин.

II

Иван Бунин имеет свою особенную судьбу, историю, свое собственное, ни на что не похожее лицо. Он своеобразен, как всякий замечательный русский писатель.

Никогда он не имел того кричащего, глупого успеха, от которого в молодости кружится голова. Хотя я и думаю, что его голова не закружилась бы, все же так лучше: к нему гораздо больше идет его лестница восхождения, тихая слава, которой он достиг. Действительно тихая и действительно слава. С начала 90-х годов, когда Бунин впервые появился на литературном горизонте, русская литература пережила много судорог, метаний, взлетов, провалов; много имен выскакивало на поверхность — и мгновенно исчезало навсегда. Шумели скороспелые славы. Строился картонный трон Л. Андрееву. Тут же объявлялись «новые течения» и рождались хрупкие «школы»... Бунин тихо шел рядом, ко всему приглядываясь и прислушиваясь, никуда

не бросаясь с головой, не оставляя собственного крепкого пути. Критика, в суете оборачиваясь к нему, — не знала, что с ним делать: ей надо было «положить его на какую-нибудь полочку», приклеить к нему какой-нибудь ярлык, — но все ярлыки от него отваливались. Подражатель Чехова? Нет. И уж никак не Горького! И не декадент! И не символист! Пишет прекрасно, трезвый человек, — да кто он? Куда его девать?

Можно бы, казалось, сообразить, что это просто Бунин, великолепный писатель сам по себе и стоящий труда, чтобы заглянуть в него поглубже. Но, повторяю, это было время суеты и мыльных пузырей литературного муравейника.

А Бунин, к тому же, в нем не жил, — он не жил в Петербурге. И, лишь касаясь общей литературной среды, — прочные дружеские связи он имел только с отдельными писателями. Он был близок с Чеховым. Он знал Льва Толстого.

Русская земля, русский народ — вот колыбель Бунина. Воздух неоглядных полей и синих лесов, которым он надышался, стал как бы частицей его самого, вошел в его кровь. Бунин происходит из старинной дворянской семьи, когда-то богатой, но разорившейся. В скромной усадьбе он провел детство и почти всю юность. Да и после — где бы он ни жил, где бы ни странствовал — он неизменно возвращается «домой», в родную деревню, в сердце России.

Странно было бы сказать о Бунине, как мы говорим о некоторых русских писателях: он знает крестьянскую, земляную Россию, знает мужика; или еще: он писатель пессимист (или оптимист), он мрачно смотрит на русский народ, не верит в него (или верит). Можно ли мрачно или не мрачно смотреть на свою собственную руку, верить в нее или не верить? Ее, прежде всего, чувствуешь изнутри, и так она близка, что невместно говорить о любви к ней или не любви, о знании ее или незнании.

Но если Бунин связан с русской землей, с народной Россией той таинственной внутренней связью, которая позволяет ему чувствовать боль ее как свою боль, — Бунин, при этом, зорок. Он видит, — ни один, может быть писатель не обладает столь острыми глазами, — и рассказывает то, что видит. Острота зрения у Бунина — это первое, что поражает читателя.

Рассказывает? Нет, он даже не рассказывает; он незаметно, тихо вводит читателя туда, где сам находится, заставляет его видеть то, что сам видит. И, конечно, увидев, рядом с Буниным, эти блески «оловянной» после дождя дороги, эти тихие цвета и светы, читатель начинает чувствовать запах конопли, слышать человечьи голоса... В этом смысле некоторые рассказы Бунина почти магичны. Он не говорит о физических ощущениях — он их дает. Из неуловимых, мелких черточек, теней и звуков сложившаяся — вдруг наваливается тоска, точно камень стопудовый. И кажется, никогда из-под него душе не вывернуться. Но вот крикнул что-то девичий голос, и всколыхнул ночь, и разбудил неясную весеннюю радость. Радость погаснет. Придет длинная — длинная скука, тягучая, как полевая межа... Хотите или не хотите — вы пойдете за Буниным и в эту скуку, пойдете куда он ни поведет, до конца.

Такова власть художника Бунина, прозрачная и тихая сила его языка.

Это много? О да, конечно, очень много. Эта художественная магия, или это мастерство, как называют иные, бесспорное для всех, дало ему сначала общее признание, затем, почти незаметно, его прочную, нешумную славу. В сравнительно молодые годы — Бунин уже академик, и не было журнала, который не мечтал бы украсить свои страницы хоть самым коротеньким его рассказом.

Но — надо сказать правду — как раз это самое художественное мастерство, сила художественного рисунка, это

чересчур острый взор, — не то что отталкивали от него, но оставляли в иных — чувство неудовлетворенности, в других — даже обиды. Простые души хотели любить Бунина, но почему-то любить не могли. Самые глупые и злостные выдумывали, что он то «холоден, как лед», то «ненавидит народную Россию и клевещет на нее» и тут же, кстати, старались и неуязвимую художественную форму его опорочить, найти подражательность. Критики поумнее, отдавая должное художнику, прибавляли: да, он удивительный описатель... Но быть замечательным описателем — довольно ли, чтобы быть и замечательным писателем?

Все это было, конечно, несправедливо. Но какая-то правда скрывалась за неточными и неверными словами.

Говоря совершенно грубо, от Бунина бессознательно хотели тенденции. И правильно хотели, ибо, если это требование перевести на язык иной, не грубый, отбросив слово «тенденция», — мы скажем: от писателя с таким громадным даром виденья ждали отношения к тому, что он видит. А еще глубже, еще вернее — жаждали ощутить замечательного человека в замечательном писателе.

Любить — можно только человека. Мы любим человека, даже любя писателя. А такого божественно-земного, земляного писателя, вдвигающего нас в плоть мира, заставляющего коснуться ее, почувствовать ее, — такого писателя, как Бунин, не любить нельзя, но любить безлико, отвлеченно, картинно тоже нельзя.

В чем же дело? Кто виноват? Читатель, всегда завороженный, но нередко оставляющий книгу Бунина с недоуменной и безысходной тяжестью на сердце, — или Бунин?

Я думаю, главным образом виноваты читатели. Они не умеют читать. А затем повинен и автор: он не снисходит к этим неумеющим, он не «милосерден» к читателю. Он его хватает и бросает в жизнь, — «а там разбирайся, как знаешь».

Сам Бунин очень закрыт. Я не говорю о тех, кто от невнимания, от нежелания потрудиться, не находит его в его произведениях. Но многие и хотели бы, да не могут. Люди, как дети: они беспомощны перед автором, скрывающим себя за художественным объективизмом.

Но не будем упрекать никого. Попробуем лучше проникнуть за эту художественную завесу, открыть Бунина, насколько возможно.

Мы видим то, что он пишет. Но откуда он исходит? Куда он идет? И куда идут за ним, с ним, читатели, покоренные силой его художественного таланта?

III

Подойдя к этим вопросам, я оставлю пока Бунина как художника. Да о внешнем мастерстве его сказано довольно и другими, и мною, выше. Не буду также останавливаться на перечислении его многотомных трудов, — в стихах и в прозе. Но отмечу, — и это очень важно! — что Бунин, русский человек и русский писатель, чувствующий русскую жизнь и природу изнутри, составляющий сам как бы часть ее, — он шире России. Ему мало России, ему нужен мир. На долгие периоды времени он покидает Россию, смотрит на иные небеса, слушает голоса далеких морей. И там он зорок, как никто. И туда, в нерусскую жизнь, в нерусскую природу он с той же магической властью вводит читателя. Правда, на берегу голубого Средиземного моря ему часто видится золото родных хлебов; на Капри написаны его лучшие русские рассказы; но ведь он ни на мгновенье и не перестает быть русским. Это его корень. Цветы же его — над всей землей, над миром.

Родная Россия, чужие страны, родные и чужие люди, звери — все живет у Бунина. Но всмотритесь ближе, как можно ближе в эту жизнь: она двоится, мир под взором Бунина. Прекрасен? — О, да. Или нет; он лишь

мог бы, — оставаясь до мелочей тем же, — быть таким прекрасным, что... вот, он — отвратителен, томителен, безвыходен. В чем же дело? Какая тут тайна? Почему Бунин так любит «образ мира сего», что этот же мир, сам, дает ему вдруг неисходную тоску, неизбывное томление?

Чтобы понять, надо обратиться к истоку дней писателя, к его рассказу, который так и называется «У истока дней».

«Большая комната в бревенчатом доме на хуторе, в степной России»... «Солнце косо падает в окна»... «В простенке старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет»...

Нечаянно взгляд ребенка падает на зеркало.

«Я хорошо помню, как поразило оно меня». «Я видел его ранее. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились ярким проблеском сознания. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило, — приобрело свой собственный лик, полный непонятного».

Ребенок не отходит от зеркал. Он наклоняет его, — комната падает вниз. Он потянул раму к себе, зеркало блеснуло — все исчезло.

Тайна осталась. Проходили дни, месяцы, годы... Но «зеркало поразило меня. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало»... «Я любил угловую комнату. Я входил, затворял двери — и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейную жизнь». Оставался наедине с зеркалом — опять испытывал его власть над собою.

«Мальчик в отраженной комнате был теперь выше ростом, смелее, решительнее, чем тот ребенок, несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... *во сто крат заманчивее той, в которой был я*! (Курсив мой.) И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтой побывать, пожить в этой отраженной комнате!»

Она та же, до малейших мелочей, и... «*во сто крат заманчивее*», прекраснее.

Существует ли она? Где она? Мальчик с усилием отодвигает тяжелый туалет — но там ничего, шершавые дощечки. Ему сказали, что это стекло, намазанное ртутью. Он поскоблил с краю — да, стекло, все исчезло. Значит в ртути что-то чудесное?

Но он еще не знал всей тайны зеркала. Он понял несказанную глубину ее в тот момент, когда «тишину ночи прорезали крики. Вошла заплаканная няня и быстро накинула на зеркало кусок черной материи. И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя — тайна!»

Тайна, как он говорит, «причастная тайне зеркала».

Он еще спрашивает себя, почему, когда смерть, его (зеркало) закрывают, но уже понял, уже ответил себе на этот вопрос. Он знает: там, в зеркальном мире, точь-в-точь таком же, как здешний, только во сто тысяч раз прекраснейшем — не может быть смерти. Смерть не должна в нем быть, не смеет в нем отразиться. Это она требует, чтобы закрыли зеркало.

И не оттого ли мир зеркала так прекрасен, что в нем нет смерти?

Рассказ Бунина «У истока дней» даст нам ключ ко всем его произведениям, к тому, закрытому, что лежит за его художественной магией, ключ к писателю — человеку. Это душа, носящая в себе две тайны: тайну зеркального мира и тайну смерти. Сближенные в одной душе — они находятся в постоянном борении, в постоянном стремлении уничтожить друг друга.

Жизнь, природа, люди, весь мир — не отраженный, — так прекрасен; ведь он совсем такой же, как в зеркале! Красота, радость, любовь... Но вот опять «как внезапный

ветер по затрепетавшим листьям дерева по телу проходит одна мысль, одно сознание: в мире смерть»... И мир искажается гримасой, искажаются люди, носящие в себе смерть... Нет выхода, — нет входа туда, в чародейный и единственно любимый мир зеркальный, где нет смерти.

Если мы с этим пониманием подойдем к Бунину, мы увидим и ту человеческую боль, страдание, с каким написана каждая строка его. Мы увидим в беспощадной зоркости его упрямое желание разгадать жизнь, упрямую, неумирающую любовь к жизни, здешней милой земной жизни... но победившей смерть.

Любовь?

«Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает. Да, да, никогда не бывает!» (Здесь, в незеркальном мире, со смертью.) Но все равно. Нужно нести в себе хоть какой-нибудь, хоть слабенький огонек!»

Порою Бунин, побежденный, говорит о дне, когда он исчезнет из мира в пустоту:

«И от моих попыток разгадать жизнь остается один след: царапина на стекле, намазанном ртутью». Но он ни минуты не бывает побежден окончательно.

Он говорит тут же:

«Ни мое сердце, ни мой разум, никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой».

Бунин вообще, как человек (и как писатель), из непримиримых. Это его замечательная черта. Отчасти она является причиной его закрытости, скрытости, сжатости, собранности в себе.

Добр ли он? Не знаю. Может быть, добрее добрых; недаром такие полосы, такие лучи нежности прорываются у него... Но как-то не идет к нему этот вопрос. Во всяком случае, не мягок, не ломок. Достаточно взглянуть на его сухую, тонкую фигуру, на его острое, спокойное лицо

с зоркими (действительно, зоркими) глазами, чтобы сказать: а, пожалуй, этот человек может быть беспощаден, почти жесток... и более к себе, нежели к другим.

Кто-то заметил, что лицо его напоминает лицо Иоанна Грозного. Да, пожалуй — только Иоанн Грозный был гораздо более беспощаден к другим, нежели к себе. А это громадная разница.

В наши дни, когда ветер смертных крыльев обнял почти всю землю, а родная Бунину земля, Россия, томится в агонии, — в эти наши тяжкие дни неужели так с этой злой тайной и примириться? Отдать ей красоту неба, душу и тела людей? Забыть, разлюбить мечту о новом зеркальном (совсем, как здешний) мире? Покориться без борьбы?

Иван Бунин вырван с корнем из родной почвы. Он физически не может вернуться, прикоснуться, как древний богатырь, к своей земле, набраться новых сил. Но он не древний богатырь. Он может еще долго копить силы, не касаясь земли, черпать их в страдании. Вот он вырван с корнем — но корень свеж и жив. Кто знает, что было бы, если бы корень остался сейчас в этой земле: ее соки ядовиты, она пропитана кровью.

Бунин был один из немногих, кто всем существом, изнутри, задолго до несчастия своей земли, чувствовал его приближение. Зная что-то о тайне жизни и «причастной ей» тайне смерти — он видел тень смерти на земле, на людях. Мы видели то же с ним, но мы не понимали.

«Не любит Россию, не верит в русский народ!» — кричали ему. Сколько ныне из этих «верующих» превратилось в «проклинателей»?

Да ведь дело тут даже и не в России. И не в вере в нее. Дело в том, что Бунин знал и видел то, что шире России. А лишь видя и любя это всемирное, вечное, жизнь в ее тайнах, — можно понимать и жизнь своей земли.

Зоркие очи. Крепкая, скрытая, упрямая сила любви к самому сердцу бытия, — к его смыслу, к его светлой тайне. Непримиримая, воинствующая ненависть к черноте, ко лжи, наплывающей на бытие. И острое оружие в руках — волшебство слова.

Это оружие не сложит, не опустит наш современный боец, замечательный человек и замечательный писатель — Иван Бунин.

Умная душа (о Баксте)

И хочется — и не хочется мне говорить сейчас о Баксте. Хочется потому, что все думается эти дни о нем. Но уж, конечно, сказать могу лишь два слова, сотую долю того, что думается и помнится. Всего больше говорят о человеке, когда он едва умер. Так принято. Но я этого не могу. Говорю или о живых, или об умерших давно, привыкших быть умершими. А смерть близкая — она должна бы заражать молчанием. Но не заражает; и все кажется, что шум наших слов тревожит умершего.

Я скажу о Баксте кратко, тихо, полушепотом. Отнюдь не перечисляя его художественных заслуг, — это сделают в свое время другие, — нет, о Баксте просто. О Баксте — человеке. Ведь все-таки, все-таки, — до конца жизни моей буду твердить, — человек сначала, художник потом. Перед лицом смерти это особенно ясно. Особенно понимаешь, что можно быть самым великим художником и умереть, и ничье сердце о тебе не сожмется. А кто знает, не это ли одно ценно для умершего, и очень ли нужны ему загробные восхищения и восхваления?

Бакст был удивительным человеком по своей почти детской, жизнерадостной и доброй простоте. Медлительность в движениях и в говоре давала ему порою какую-то «важность», скорее — невинное «важничанье» гимназиста; он природно, естественно оставался всегда чуточку школьником. Его добрая простота лишала его всякой претензии, намека на претензию, и это тоже было у него природное... Не скрытный — он был, однако, естественно закрыт, не имел этой противной русской «души нараспашку».

Его друзья по «Миру Искусства» (Бакст был членом их тесного кружка в 1898–1904 гг.) знают его лучше и ближе меня. Они почти все живы и когда-нибудь вспомнят,

расскажут нам о Баксте-товарище, с его милой «невыносимостью» и незаменимостью, о Баксте дальних времен. Но я хочу отметить, — и теперь же, — черты, которые открывались мне иногда в его письмах, иногда в неожиданном разговоре; они стоят быть отмеченными.

Знал ли кто-нибудь, что у Бакста не только большая и талантливая, но и умная душа? Знали, конечно, да не интересовались: интересуются ли умом художника? И поэту радостно прощают глупость (одну ли глупость?), а в художнике или музыканте ее даже принято молчаливо поощрять. Откуда-то повелось, что искусство и большой ум — несовместимы. Кто этого не говорит, — тот думает. Потому и нет интереса к уму художника.

У меня этот интерес был, и я утверждаю, что Бакст обладал умом серьезным, удивляюще-тонким. Не об интуитивной тонкости я говорю, она в художнике не редкость, художнику полагается, но именно о тонкости умной. Он никогда не претендовал на длинные метафизические разглагольствования, — они были тогда в большой моде, — но, повторяю: случайное ли письмо, случайно ли выпавшая минута серьезного разговора, и опять я удивляюсь уму, именно уму, этого человека, такой редкости и среди профессиональных умников.

В Баксте умник наилучшим образом уживался не только с художником, но и с жизнерадостным школьником, гимназистом, то задумчивым, то попросту веселым и проказливым. Наши «серьезные разговоры» отнюдь не мешали нам иногда вместе выдумать какую-нибудь забаву. Так, помню, мы решили однажды (Бакст зашел случайно) написать рассказ, и тут же за него принялись. Тему дал Бакст, а так как была она весьма веселая, то мы, подумавши, решили писать по-французски. Рассказ вышел совсем

не дурной: назывался он «La de»[56]. Мне было жаль впоследствии, что куда-то запропастился последний лист. Теперь, впрочем, все равно пропал бы, как пропали письма Бакста со всем моим архивом.

Постоянно, в те годы, встречались мы и в моем интимном кружке, очень литературном, но где Бакст был желанным гостем. А в работе пришлось мне видеть его раза два или три: когда он делал мои портреты и когда делал, у нас, портрет Андрея Белого.

Работал настойчиво, крепко, всегда недовольный собой. Белого, почти кончив, вдруг замазал и начал сызнова. А со мною вышло еще любопытнее.

Не знаю почему — его мастерская была тогда в помещении какого-то экзотического посольства, не то японского, не то китайского, на Кирочной. Там и происходили наши сеансы, всего три или четыре, кажется.

Портрет был опять почти готов, но Баксту молчаливо не нравился. В чем дело? Смотрел-смотрел, думал-думал — и вдруг взял, да и разрезал его пополам, горизонтально.

— Что вы делаете?

— Коротко, вы — длиннее. Надо прибавить.

И, действительно, «прибавил меня», на целую полосу. Этот портрет так, со вставленной полосой, и был потом на выставке[57].

Еще одна черта, совсем, казалось бы, несвойственная Баксту, с его экзотикой, парижанством и внешним «снобизмом»: нежность к природе, к земле русской, просто к земле, к лесу деревенскому, обыкновенному, своему. Может быть, и не осталось в нем этого в последние десятилетия, забылось, стерлось (вероятно, стерлось), но все

---

[56] Ключ (*фр.*).

[57] Перед войной этот портрет находился, кажется, в коллекции Юрия Беляева (?), где он теперь — неизвестно.

равно — было: ведь сказалось же однажды с такой неотразимой искренностью в письме ко мне из Петербурга в деревню, что и теперь вспоминается.

Мы виделись и переписывались с Бакстом периодически; случалось, теряли друг друга по годам. Частые мои отлучки за границу этому содействовали, «Мир Искусства» шел к концу; расцвет его был позади.

Вернувшись как-то в Петербург, слышу: Бакст женится. Потом: Бакст женился. И потом, еще через какое-то время: Бакст болен. Спрашиваю его друзей: чем болен? Они сами не знают или не понимают: какая-то странная меланхолия, уныние; он очень мнительный, и ему кажется, что неведомые беды ждут его, так как он перешел в христианство (в лютеранство, для женитьбы, жена его русская).

Друзья пожимают плечами, считают это мнительностью, «Девушкиными чудачествами», пустяками. Ведь только формальность, добро бы он был «верующий»! Другие видели тут, вероятно, начало душевной болезни... Но меня, и многих из нас, навело это на совершенно другие размышления.

А когда, в 906 или 7-м году, в Париже, довелось мне увидеть Бакста веселого, бодрого, воскресшего, — эти размышления приняли форму ясных выводов. Что воскресило Бакста? Париж, широкая дорога искусства, любимая работа, восходящая звезда успеха? Тогда ведь началось завоевание Парижа «Русским балетом»... Ну, конечно, кому ни придало бы это бодрости и жизнерадостности. И Баксту придало, но именно придало, прибавило жизни — живому. А ожил он, вышел из припадка странной своей меланхолии, раньше: тогда, когда смог (после революции 05 г.) снять с себя «формальность», навязанное ему христианство. Он физиологически выздоровел, вернувшись в родной иудаизм.

Как, почему? Ведь Бакст — такой же «неверующий» еврей, как и неверующий христианин? Причем тут религия?

Оказывается, не совсем ни при чем. Вот еще один знак глубины и цельности Бакста-человека. Добротность и крепость ткани его существа. Настоящий человек — физиологически верен своей вековой истории; а многовековая история народа еврейского не метафизически и не философски, но и физиологически религиозна. Всякий еврей, подлинный человек-еврей, страдает от разрыва, даже чисто внешнего, и тем острее, чем он сам цельнее и глубже. Дело не в вере, не в сознании: дело в ценности человеческой личности и в праведной, до физиологии, связанности ее со своей историей.

После долгих лет (и каких!) встреча с Бакстом опять здесь, в Париже.

Я смотрю, говорю и лишь понемногу начинаю «узнавать» его. Медленно происходит во мне процесс соединения Бакста давнишнего, петербургского, с этим, теперешним. Так ведь всегда бывает, у всех, если очень долго не видишься. Даже тогда, когда люди не очень изменяются внешне. Очень ли изменился Бакст? Ну, изменился, конечно, да не в пример нам всем, вырвавшимся из Совдепии: он ведь счастливчик, он большевиков не видал; и на нем понятно, как нельзя их вообразить тому, кто не видал. Его наивности насчет не представимой жизни в Петербурге заставляют нас улыбаться, как взрослые улыбаются детям.

Иногда я закрываю глаза и, слушая своеобразный медлительный говор, совсем вижу перед собой прежнего Бакста: его невысокую, молодую фигуру, его приятно-некрасивое лицо, горбоносое, с милой детской улыбкой, светлые глаза, в которых всегда было что-то грустное, даже когда они смеялись; рыжеватые густые волосы щеточкой...

Нет, и это — Бакст; он весь поплотнел, стал слитно-неподвижным, волосы не стоят щеточкой, гладко липнут ко лбу; но те же глаза, лукаво улыбающиеся, грустные и школьнические, такой же он невыносимый, досадный, наивный, мнительный — и простой. Это Бакст, постаревший на двадцать лет, Бакст — в славе, счастье и богатстве. По существу — это тот же самый Бакст.

Но окончательно узнаю я Бакста — следующим летом, когда между нами опять, — в последний раз! — завязалась переписка. Опять тонкие, острые, умные письма, слова такие верные, точные, под шуткой — глубина и грусть, под улыбкой — тревога. Он прислал мне свою книгу «Серов и я в Греции». Эта книга... но я не хочу о книге. Не хочу о «литературе». Скажу только, что Бакст умел находить слова для того, что видел как художник. Но он находил их также для видимого другим взглядом, внутренним, — слова свои, очень прозрачные, очень простые, очень глубокие.

И вот он умер.

Мне сказали это поздно вечером. Умер Бакст? Не может быть! Кто-то заметил, давно: «К Баксту нейдет умереть». Да, пожалуй, извне так должно было казаться. Но я знаю, что Бакст ни за что не хотел думать о смерти и — постоянно о ней думал. Смерть его — неожиданность, невероятность потому, что всякая смерть всегда неожиданность и невероятность. Даже для нас, живущих в самое смертное из времен, каждая отдельная смерть — неожиданность. К каждой надо привыкать отдельно.

Я долго еще не привыкну, что умер Бакст, что ушла куда-то его взволнованная, нежная и умная душа.

Около Толстого

Толстовские дни... Отчего это во все человеческие «юбилеи» всегда ввивается что-то неприятное, неблаголепное? Должно быть, уж так устроены люди. Намерения самые похвальные: вспомнить о человеке «по случаю»... Всегда помнить нельзя, так хоть по случаю. Однако сейчас же начинается неумеренность: и в похвалах, и в натаскивании вороха ненужностей, и в выискивании «ночных туфель; рядом же подымается спор — то насчет похвал, то насчет туфель, и в споре живых между собой незаметно тонет «дорогой юбиляр».

Толстой особенно счастлив (или несчастлив) на «юбилеи». Сам он их ужасно не любил. Но начались они с ним еще при жизни, а после смерти, — если выключить несколько лет, когда было не до юбилеев, — каждый год какой-нибудь «случай», повод для суждений, осуждений и восхвалений Толстого.

Повторяю это, в корне, совсем не плохо, и понятно, если вспомнить недавнее замечание Маклакова; он говорит, «что за Толстым мир не пошел, и хорошо сделал, ибо жить по Толстому нельзя; но Толстой разбудил человеческую совесть. Обеспокоил душу — ко благу. Поскольку продолжается это беспокойство хорошо. Не начинает ли, однако, вырождаться просто в шумиху юбилейничанья?

А на родине Толстого, в России большевистской, еще хуже: там откровенно хотят Толстого «использовать» (самой «маленькой пользой» не брезгуют). И вообще-то, — если по пословице «мертвым телом хоть забор подпирай», — подпиранье телом Толстого разнообразных заборов особенно в ходу; но, когда подпирается им забор большевистский, да еще руками «учеников» (недавняя брошюра Гусева — прекрасный пример) — смотреть на это очень противно.

А мы… Все чаще думается мне, что мы напрасно так кидаемся на всякий удобный «случай», чтоб поболтать о Толстом, почествовать Толстого. Из любви к нему следовало бы дохранить закрытыми воспоминание, свято довести до иной поры. Сейчас мы — раненые; рана болит, и куда уж тут судить о чем-нибудь спокойно и трезво, оценивать по справедливости. В каждую нашу старую любовь, самую вечную и верную, часто вливается теперь какая-то горечь. Любовь требует целомудренного молчания в такие времена, как наше, когда —

«От боли мы безглазы…».

И любовь к Толстому — в особенности. А то и выходит: одни Толстого формируют, делая из него чуть не ангела-хранителя России, потеряв которого она пала; другие, напротив, считают его предшественником большевиков (!), у третьих же, старающихся говорить о нем вне времени и пространства, просто не выходит ничего.

Не касаясь самого Толстого, вспомнить что-нибудь или кого-нибудь из его окружения — дело другое. Около Толстого много было любопытного. Почти все «толстовцы», такие разные и так печально-схожие, интересны; не меньше и некоторые из ярых антитолстовцев. Особенно интересны их отношения с Толстым; а порою даже загадочны.

Софья Андреевна, ее крепкое антитолстовство, вся так называемая «яснополянская драма», — понятны каждому, кто вгляделся в образ этой цельной русской женщины, жены и матери. Ясно и отношение к ней Толстого: изменяясь, он остался неизменным в любви к подруге всей жизни, — любви, притом, зрячей, он прекрасно видел Софью Андреевну.

Признаюсь: самое для меня загадочное — это фигура Черткова. Да и не для меня только, для всех нас, я думаю. Мы его не видим. А Толстой, который так видел людей

и нам их показывал, — Черткова не показал. В письме к Ал. Л. (уже после ухода, перед самой смертью) назвал его «самым близким и нужным человеком»; это, кажется, все, что мы узнаем от Толстого. По-прежнему не видя Черткова, мы не понимаем, почему он «самый близкий и нужный»; и даже на слово поверить — как-то боимся: ведь все письмо, где это сказано, со всеми там написанными словами, до такой степени не толстовское, на Толстого, каким мы его слышали и любили, не похожее, что ему сплошь не веришь; близости Черткова к Толстому подлинному — тоже...

К этому воистину ужасному по жестокости письму я вернусь; а пока хочу сделать маленькую выписку из моего «Петерб. дневника», — не для того, конечно, чтобы решать загадку Черткова, а просто чтобы прибавить мое впечатление от этого «самого близкого и нужного» Толстому человека к впечатлениям других лиц, с ним встречавшихся.

28 мая 1915 г. (Война)

«...Не хочется писать, приневоливаю себя, пишу частные вещи... Вот был у нас Шохор-Троцкий[58]. Просил кое-кого собрать, привез материал «Толстовцы и война». Толстовцы ведь теперь сплошь в тюрьмах сидят за свое отношение к войне. Скоро и сам Шохор садится.

Собрались. Читал. Иное любопытно. Сережа Попов со своими письмами («брат мой околоточный!») с ангельским терпением побоев в тюрьмах — святое дитя. И много их, святых. Но... что-то тут не то. Дети, дети. Не победить так войну!

Потом пришел сам Чертков.

Сидел (вдвоем с Шохором) целый вечер. Поразительно «не нравится» этот человек. Смиренно-иронический.

---

[58] Тоже толстовец, не из видных.

Сдержанная усмешка, недобрая, кривит губы. В нем точно его «изюминка» задеревенела, большая и ненужная. В не бросающейся в глаза косоворотке. Ирония у него решительно во всем. Даже когда он смиренно пьет горячую воду с леденцами (вместо чая с сахаром) — и это он делает как-то иронически. Также и спорит, и когда ирония зазвучит нотками пренебрежительными — спохватывается и прикрывает их смиренными.

Не глуп, конечно, и зол.

Он оставил нам рукопись «Толстой и его уход из Ясной Поляны», — ненапечатанная, да и невозможная к печати. Думаю, и в Англии (где он хочет ее печатать). Это — подбор фактов, как будто объективный, скрепленный строками дневника самого Толстого (даже в самый момент ухода). Рукопись потрясающая и... какая-то немыслимая. В самом факте ее существования есть что-то невозможное. Оскорбительное. Для кого? Софьи Андреевны?[59] В самом подборе фактов, да и в каждой строке, — злобная ненависть к ней Черткова. Оскорбительная для Толстого? Не знаю. Но для любви Толстого к этой женщине — наверно.

На рукописи прегадкая надпись — просьба Черткова «ничего отсюда не переписывать». Как будто кому-нибудь из нас пришло бы в голову это делать!

Перо Черткова умело подчеркивать «убийственные? деяния Софьи Андреевны. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. Вплоть до шаренья по карманам. И тяжелые сцены. А когда, будто бы кто-то сказал ей: «Да вы убиваете Льва Николаевича!» Она отвечала: «Ну так что ж! Я поеду за границу! Кстати, я там никогда не была!»

---

[59] Напоминая, что в то время (Ч. хотел печатать это немедля) С. А. была еще жива.

Любопытно, что это, может быть, правда, а для меня случай прощупать, что делает с «правдой» Чертков. Под его пером эти слова С. А. звучат зверски, и никто их иначе, как зверскими, и не услышит; а я вот имею возможность иными их представить, очень близкими к тем, что она сказала мне на балконе Ясной Поляны, в холодный майский вечер, в 1904 г. Мы стояли втроем, я, Д. Мережковский и она, смотрели в сумеречный сад. Была речь о том, кажется, что мы — по дороге за границу, едем туда прямо. С. А., с живой быстротой полусерьезной шутки, возразила мне: «Нет, нет, вы лучше останьтесь со Львом Николаевичем, а я с Дм. Серг. поеду за границу: ведь я там никогда не была!».

Сказать, что С. А. выражала желание с чужим мужем из Ясной Поляны за границу уехать, — ведь будет «правда»? Чертковская, как и та, вероятно, о которой он пишет. Если представить себе, что в ответ на упрек «кого-то», явно ненавистного, С. А. на зло бросила ту же привычную фразу о загранице — «зверство» как будто затмится... Но С. А. я не «оправдываю», — раз уж меня тянут к суду над ней чертковскими «фактами». Только верю им надвое.

В ночь ухода Толстой (приводится его дневник) уже лежал в постели, но не спал, когда увидел свет из-за чуть притворенной в кабинет двери. Он понял, что это С. А. опять со свечой роется в его бумагах, еще опять завещание. Ему стало так тяжело, что он долго не окликал ее. Наконец окликнул, и тогда она вошла, как будто только что встала «посмотреть, спокойно ли он спит», ибо «тревожилась о его здоровье». Эта ложь была последней каплей всех домашних лжей, которая и переполнила чашу терпения. Тут замечательный штрих (в дневнике). Подлинных слов не помню; знаю, что он пишет, как сел на кровати, еще в темноте, один (С. А., простившись, ушла) — и стал считать свой пульс.

Он был силен и ровен.

После этого Толстой встал и начал одеваться, тихо-тихо, боясь, что «она» услышит, вернется.

Остальное известно... Ушел — навстречу смерти.

Как, все-таки, хорошо, что он умер! Что не видит нашего страшного часа — этой небывалой войны. А если и видит — он «ему не страшен, ибо он понимает...», а мы, здесь, — ничего, ничего!..

С 1915 года много утекло воды. Дети Толстого разделились, толстовцы тоже: одни из них в СССР, другие в Европе. Чертков и Гусев (недавно подперший Толстым большевистский забор) — в СССР. О Черткове, как всегда мало слышно. Даже в эти «толстовские дни» мне попалось на глаза подписанное Чертковым лишь что-то краткое, — сухое и низкое вместе, — перепечатка (в «Своб.») из московского журнала. Была ли издана целиком его «невозможная» рукопись — я не знаю. Вероятно, была, ведь там все вещи теперь известные. Я не помню точно, включала ли рукопись и то жестокое, нетолстовское письмо Толстого, о котором упоминалось выше; его приводит ныне Алданов (в «Совр. Зап.»). Думаю, в рукописи оно было, а если не помнится — то потому, что оно слишком с ней сливалось в одной и той же ненавистнической линии, великолепно подтверждая «правду» (чертковскую). Там говорится о «подглядывании, подслушивании», о «напускной ненависти к самому близкому и нужному мне человеку» и даже о «явной ненависти ко мне и притворству любви»...». «Если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне», «я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо».

Алданов подчеркивает жестокие слова (или они подчеркнуты в подлиннике? Все равно, все слова одинаково не толстовские) и спрашивает: «Написал ли он сгоряча это ужасное свидетельство о женщине, с которой прожил 48 лет?

Или, может быть, прорвался в нем, подтолкнул его руку тот демон, который мучил Толстого?»

Может быть, и демон. Ведь мы не знаем, кто Чертков. Но вот что мы знаем, и наверно: «самым близким и нужным» для подлинного Толстого была правда, была ясность, прощение другим — не прощение себе, непреклонность любви, т. е. как раз то, чего нет ни в рукописаниях Черткова, ни в письме, на которое «подтолкнул демон». И если это мы знаем, и в подлинную нужду подлинного Толстого верим, мы с совершенным правом можем сказать: Толстой Черткова не видел, глаза его «были удержаны». Чертков не был ему «самым близким и нужным». Ведь что-нибудь одно: правда и любовь или мстительность и ненависть.

«Петербургская Запись», из которой я беру цитаты, долгие годы считалась погибшей, и лишь недавно, каким-то чудом, была мне возвращена. Не вся, только первая часть, и обрывается рукопись на такой краткой отметке:

7(20) ноября, вторник (1917 г.)

«Семь лет со дня смерти Льва Толстого. Никто его не вспомнил: “Ну я тебя вспомню, "поденщик Христов!"” Вспомни и ты о нас, счастливый»...

Страничка прошлого («Ф. К. Сологубу — для Игоря Северянина»)

Это мое стихотворение — письмо, ниже печатаемое, имеет свою маленькую историю.

Да ведь и относится оно ко временам историческим, — чуть не доисторическим для нас, — довоенным!

В апреле 1913 года Ф. К. Сологуб прислал мне в Ментону (где мы тогда находились) письмо, со вложением стихов Игоря Северянина, о Балтийском море и посвященных мне. Письмо было откуда-то из Крыма, там Сологуб жил тогда вместе с И. Северянином, а, может быть, попали они туда, совершая одно из совместных своих турне по России.

Мы часто переписывались с Сологубом. Бывало, и в стихах. Ничего не сохранилось из этой переписки. Но сегодняшний приезд Игоря Северянина в Париж заставил меня порыться в старых бумагах и в моей памяти. Клочок бумаги с ответом Сологубу «для передачи Игорю Северянину» — нашелся. Его я печатаю ниже.

Кое-что нашлось и в памяти. Ф. К. Сологуб с особенной горячностью, даже как будто с увлечением, относился к юному тогда «эго-футуристу», поэту Игорю Северянину. Говорю «как будто», потому что Сологуб был человек с тройным, если не пятерным, дном и, даже увлекаясь, никогда на «увлекающегося» похож не был. Во всяком случае, это в квартире Сологуба положено было первое начало «поэзо-вечеров», у Сологуба мы, тогдашние петербургские писатели, познакомились с новым поэтом и с напевным чтением его молодых стихов. Это были стихи, впоследствии такие известные, из «Громкокипящего Кубка»: первая книга И. Северянина, скоро потом вышедшая с интересным сологубовским предисловием.

Я очень помню эти вечера в квартире Сологуба. Он, вместе с заботливой, всегда взволнованной А. Н. Чеботаревской, нежно баловал Игоря Северянина. После долгих «поэз» — мы шли веселой гурьбой в столовую. Нам не подавали, правда, «мороженого из сирени», но «ананасы в шампанском» — случалось, и, уж непременно удивительный ликер, где-то специально добываемый, — «Crème de Violette».

Дела давно минувших дней! Игорь Северянин их, я думаю, помнит. Вспомнят и другие, кто остался жив.

Письмо Сологуба со стихами И. Северянина и мой ответ стихотворный — относятся к периоду более позднему. Как будто странный ответ: почему говорится в нем столько о «Ледовитом Океане»? Но я вспоминаю, почему: тогда, в Ментоне, мы жили вместе со старыми, «царскими», эмигрантами. И были как раз заняты чтением интереснейших писем с крайнего севера, от политических ссыльных (тоже «царских»).

Самое странное, — теперь! — что письма эти, с кучей фотографических снимков, спокойно посылались из России по почте и спокойно эмигрантами получались.

Другие времена. Другие эмигранты. Другая ссылка. Все другое!

Но Ледовитый Океан остался.

Ф. К. Сологубу (Ответ)

Ментона, апрель, 1913 г.

...Я вижу, Игорь Северянин
Тремя морями сразу ранен.
Зане —
Он грезит Балтикой на Черном бреге
Сюда, ко мне
На Meditérranée[60].

[60] Средиземное море (*фр.*).

Ну что ж, скажите — я благодарю,
Хотя морями вовсе не горю.
Когда над средиземной простынею
Жужжу, ветрюсь на хидроплане,
И то я занят думою одною:
О Ледовитом Океане.

Там щурится морская кошка,
Сполохи яркие висят,
А утром встать немножко дрожко:
На утро в юрте — 50.

Там вешний день криклив и хмурен,
Там льдист апрель, июнь обурен,
И наст бесталый, вековой,
Звенит под летнею травой.

Голятся гуси в смертной сетке,
Дощатые неверны ветки[61],
Постель из хвой, сырой урас[62].
Средь мги, на шкурной растопырке,

Ночного солнца белый глаз,
Седые воды Индигирки...
О, мокротяжкие плащи тумана!
О, стужное кипенье Океана!..

---

[61] Плоскодонная лодка.
[62] Шалаш.

Почти-рай

Встреча с Вячеславом Ивановым в Риме

(Из итальянских впечатлений)

В наше сумасшедшее время хочется иногда забыть все сенсации, газетные известия, политические или холливудские, поговорить о чем-нибудь мирно-спокойном и красивом. Рассказать, например, о рае, в котором мы жили три месяца.

Впрочем, мы называли его «почти-рай». Сам по себе от настоящего он мало отличался; но в настоящем, я думаю, у нас будет вечное острое ощущение счастья; а тут, — все-таки на земле! — мы блаженства постоянного не испытывали.

«Много видал я в жизни прекрасных стран, — говорит Массимо д'Азелио, — горных, приморских, приозерных, много долин и широких пространств; но того, что открывалось передо мною с балкона в Рокка-ди-Папа и столько говорило воображению, чувству прекрасного, памяти о великом прошлом, — я не нашел нигде, ни в каком другом месте земли».

Около этого городка, «на дыбах» Папской Скалы, мы и жили на знаменитой вилле «Флора». Она похожа на палаццо, но мы живем одни, в цветах и тишине. Гигантские каштаны уже начинаются в саду, сзади дома, сад переходит в парк, парк в каштановые леса по всем горам. Темно-зеленые, почти черные своды над лесными тропами, — мы никогда не могли дойти до их конца. А в другой, закатной стороне, к Риму, — то, на что смотрел д'Азелио с своего балкона, а мы — из нашей лоджии с древними колоннами или из верхних окон студии.

Там, за черной зеленью, — ниже-ниже — лазурно-льдистое озеро в пушистых берегах, круглое, как

библейский Моав: «Моав — умывальная чаша Моя...». На берегу замок: там живет сейчас старый-старый человек — папа Пий XI.

А еще ниже, в сизом дыму отдаления, под огромным небом, — огромная римская Кампанья; без края. Нет, в ясные дни край виден: полоска расплавленного серебра. Море.

Какое горячее солнце! Какой нежный горный воздух! Молодая сицилианка накрывает на стол в садовой беседке. Даже в этом что-то райское: всякий день на столе корзина свежей лесной земляники. Настоящей, душистой, какую мы собирали в русских лесах в июне. Только здесь, в почти-раю, она, приозерная, почти всегда: от апреля до Рождества.

А когда сицилианка приходит в сад со своим младенцем на руках, садится около саркофага, у стены, доверху увитой голубыми цветами, мне начинает казаться, что рай — настоящий: так молчаливо и значительно улыбается ребенок, так прямо смотрит на солнце.

И она улыбается — ребенку. В эту минуту она прекраснее гоголевской Аннунциаты.

В студии, как ни ярко солнце, жаль припереть ставни, закрыть небесное озеро, старинный замок, где живет папа. Стол Мережковского у окна. Он пишет о... Лютере. Против папы? Нет, только напротив, постоянно имея перед глазами его замок; может быть, так и надо писать о Лютере: не забываешь, сколько было, все-таки, прекрасного, и остается, в римском католичестве.

Иногда уединенье наше нарушается: приезжают гости. Русские редко; чаще итальянцы. Тут хочу признаться: итальянцы вообще люди милые, любезные, многие, наверно, замечательны, но... я их не понимаю. Каждый полон для меня неожиданностями. Что такое, например, молодой богач, владелец нашей Флоры? Вид у него кондотьера, говорит, обычно, пустяки; в нашем «палаццо», которым он

очень гордится, рядом с памятниками старого искусства, с полотнами Веласкеза, висят картинки современные, вкуса сомнительного. И вдруг, однажды, за рулем автомобиля, забыв, как опасны узенькие улочки папской резиденции, он принялся декламировать дантовский «Ад», с жестами, с пафосом. Автомобиль шатался, кренился, дети с криком разбегались, но он не опомнился, пока всю «Песнь» не прочитал.

Или милый, скромный Р., издавший роскошную книгу о Ливии: вдруг оказалось, что он так любит русскую литературу, что собрал целую библиотеку переводов с русского на разные языки. А друг его бурный, старый Г., вечно рассказывающий, хохоча, разные истории о «Габриелэ» (д'Аннунцио), закадычном своем, с юности, приятеле? Г. забавен, а историям я не верю. Или еще: знаменитый генерал с серебряной челюстью. Тоже был у нас с друзьями. Никакого серебра под черной бородой не видно, очень мил, любезен и — все-таки загадочен.

Мы водим гостей по парку, все веселы, шутят, смеются... Да вот, должно быть, главное: очень они, итальянцы, жизнерадостны, всегда полны — неизвестно на что — надежд. Другой фон какой-то душевный; не оттого ли мы, русские, да еще эмигранты, их не понимаем?

Наши горы возглавляются острой, узкой вершиной, где когда-то был храм Юпитера. Доселе целы его мшистые стены, будто нечеловеческими руками воздвигнутые. В их гигантском кольце маленьким кажется средневековый монастырь. Туда ведет древняя римская дорога, «священная», тоже такими же гигантскими каменными глыбами выложенная, вымощенная.

Храм разрушен, но в ясные ночи, как в былые века, драгоценным камнем переливается над вершиной звездный Юпитер. Храм разрушен, но примирился ли с этим древний бог? Всегда оттуда, из-за острия, тянутся первые,

черно-желтые, пальцы туч. Оттуда с воплем падает первый ветер. Ломает деревья внизу, — своих вековых дубов и стен храма не трогает. «Опять Юпитер сердится, — говорят жители нижних гор, — не быть добру».

Поздним осенним вечером мы стоим перед стеклянной дверью нашей лоджии. Смотрим, что за дверью делается, оторваться не можем. Все стоим, и сицилианка с младенцем, и растрепанная девчонка Джина, что днем таскает младенца по саду.

Там, за дверью, вместо огромного неба, огромные бело-огненные крылья машут, ни на миг не переставая. С высоты до земли быстрые, длинные взмахи, и земля под ними вспыхивает, и озеро горит синеватым пламенем. «Феста», — шепчет сицилианка, и правда, будто праздник, только не наш, человеческий. У нас даже слов нет для взмахов этих крыльев, для голубого огня их: трепет? блистанье? Не похоже ни на что. Вот только прямо перед нами падающие молнии похожи на толстые колонны из огня, у которых вдруг отламывалась верхушка. Разрушаясь, колонны падают — куда? Близко; а может быть, далеко, — в море.

Так мы и стояли, смотрели, слушали; неизвестно сколько времени. Потом пошли наверх, — там закрыты ставни, ничего не видно. Только грохот — взбесившаяся Юпитерова конница скачет по священной дороге. И так — до утра.

* * *

Октябрь. Мы покинули наш «почти-рай». Мы опять в Риме, — увы, ненадолго. Через несколько дней — Париж, дождь, мокрые тротуары, монпарнасские поэты...

Сегодня последнее воскресенье. Пойдем в гости к нашему знаменитому соотечественнику, «мудрецу на Тарпейской скале», Вяч. Ив. Иванову.

В Риме, после Парижа, все «рукой подать». Мы идем пешком.

Вот и волшебная лестница Капитолия. Волчицы не видно. Она спит. Да ее, кажется, перевели из левого густого садика в правый. Там тоже пещера.

Марк Аврелий на предвечернем небе. Что за величие покоя! В одном мановении руки — мир всего мира... Обогнув М. Аврелия, идем по узкой улочке, меж старых дворцов. Мы уже на знаменитой скале, сейчас дверь В. И-ва, но невозможно не остановиться на этой маленькой открытой площадке: под нами Форум, далее — Колизей, и все — в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола, Ave Maria...

С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ступеней. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Стоит пройти только через переднюю и маленькую столовую на балкончик — там провал. И длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она спускается в густой зеленый садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин-поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном своей постоянной сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын студент.)

Вот эти стихи:

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковницы и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.

Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен

Две памяти молитв созвучных
Двух спутников, двух неразлучных.

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.

Кто из петербуржцев-писателей не помнит знаменитую «башню» на Таврической и ее хозяина? Минули годы (и какие!), все изменилось. Вместо башни — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумного роя новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске или итальянский ученый. Иные удостаиваются «a parte»[63] в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина... Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на древнего мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — живой отклик на все.

Мы отвыкли от встреч с людьми настоящей, хорошей культуры. А какое это отдохновение! Вяч. И-в, конечно, и «кладезь учености», но не в том главное, а в том, что заранее знаешь: с ним можно говорить решительно обо всем; он поймет значительность всякого вопроса, в любой области. Как он сам на данный вопрос отвечает — уже не столь важно: мы иногда не соглашаемся, спорим, но спора не делим; взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен; споры же бесполезнейшая вещь на свете.

Но особенно живо воскресла передо мною «башня», когда мы заговаривали о поэзии, о стихах. Мы привезли

---

[63] Уединенной беседы (*ит.*).

в Тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченный их разбор, давший повод к длинным речам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад! Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе до сих пор живет «эстет» начала века. И, может быть, «эстета» в себе он больше всего и любит.

Невольная зависть. В самом деле, что такое новейшее наше разочарование в эстетизме, в литературе, в силе слова? Ведь это, пожалуй, только дань безумным «темпам» нашего времени, погоне за всяческой «актуальностью». Искусство требует мира и тишины; а нам некогда слушать голос муз, мы слушаем радио.

Так или иначе, жители Тарпейской скалы счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, а Ave Maria из-за римского Форума...

Но не будем завидовать. Лучше порадуемся за них.

Рим. Октябрь, 37 г.

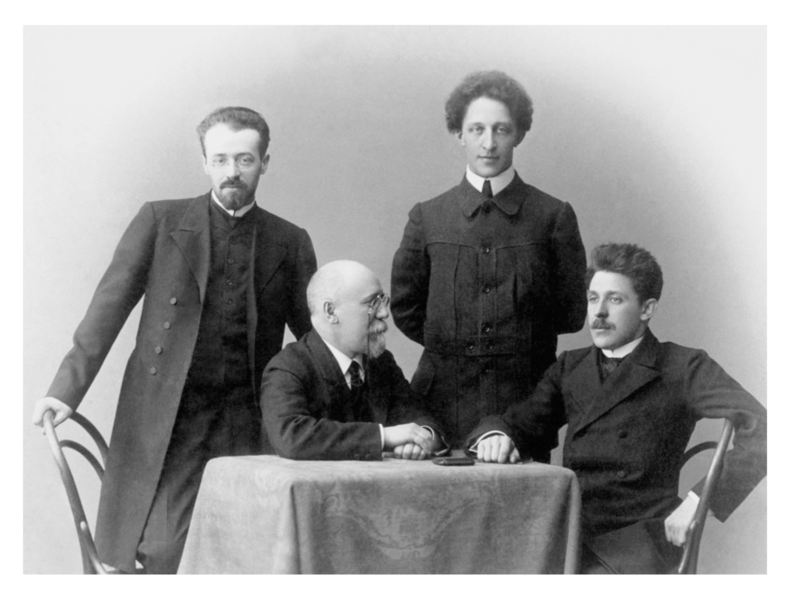
Иллюстрации



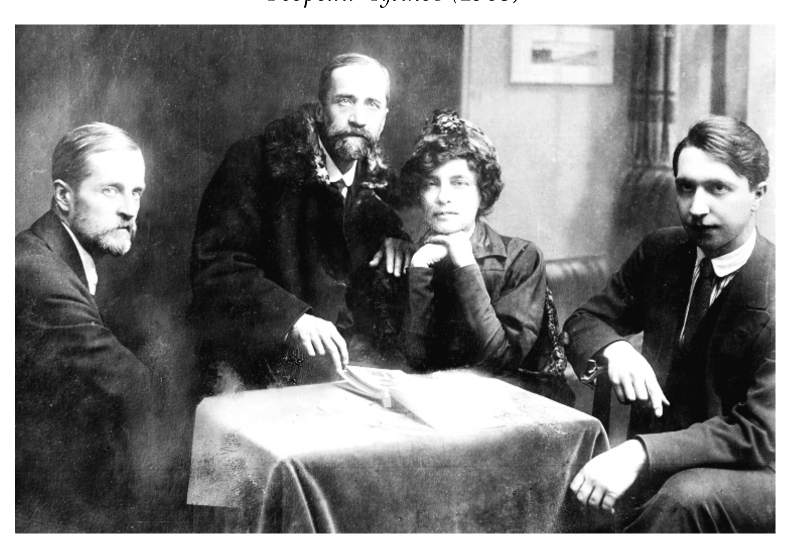
Дмитрий Мережковский, 1900-е годы



Иван Алексеевич Бунин



Константин Эрберг, Федор Сологуб, Александр Блок, Георгий Чулков (1908)



Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. А. Злобин. Исход из Советской России. Конец 1919 — начало 1920 года



Гиппиус на рисунке И. Репина, 1894 год



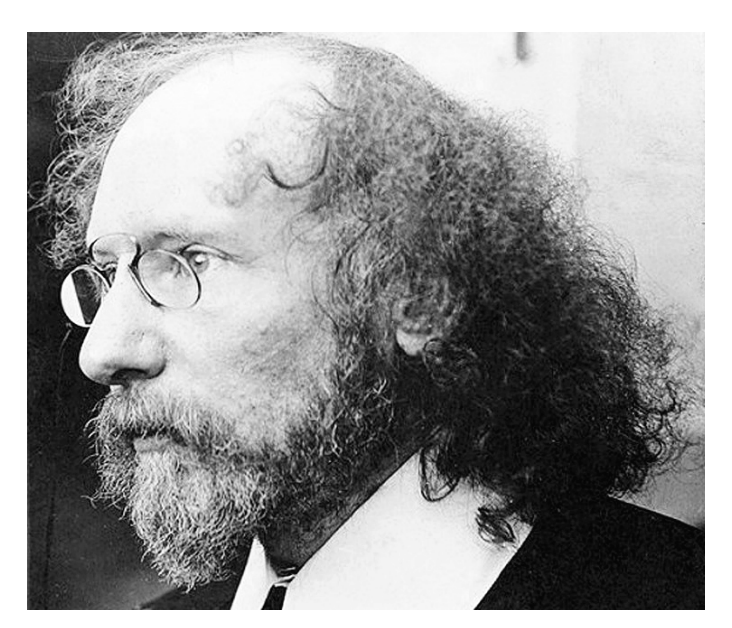
Зинаида Гиппиус и Аким Волынский (Флексер)



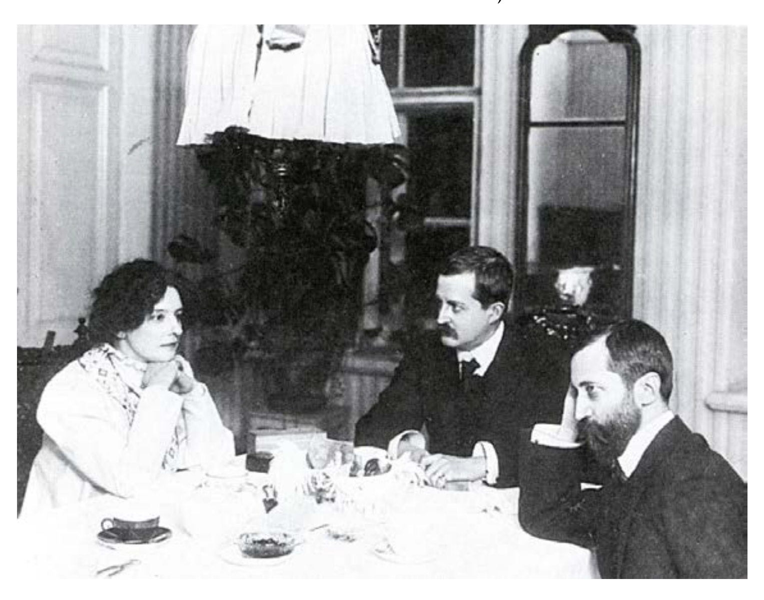
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев)



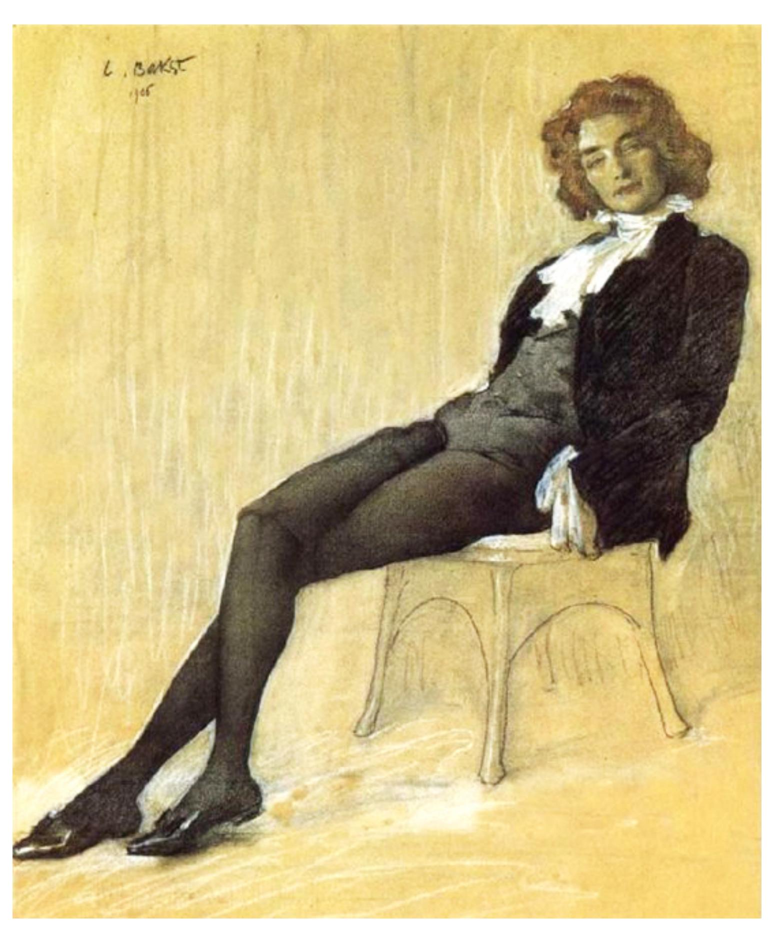
Шарж на З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова. Петербург. 1908–1913



Вячеслав Иванович Ива́нов, 1900



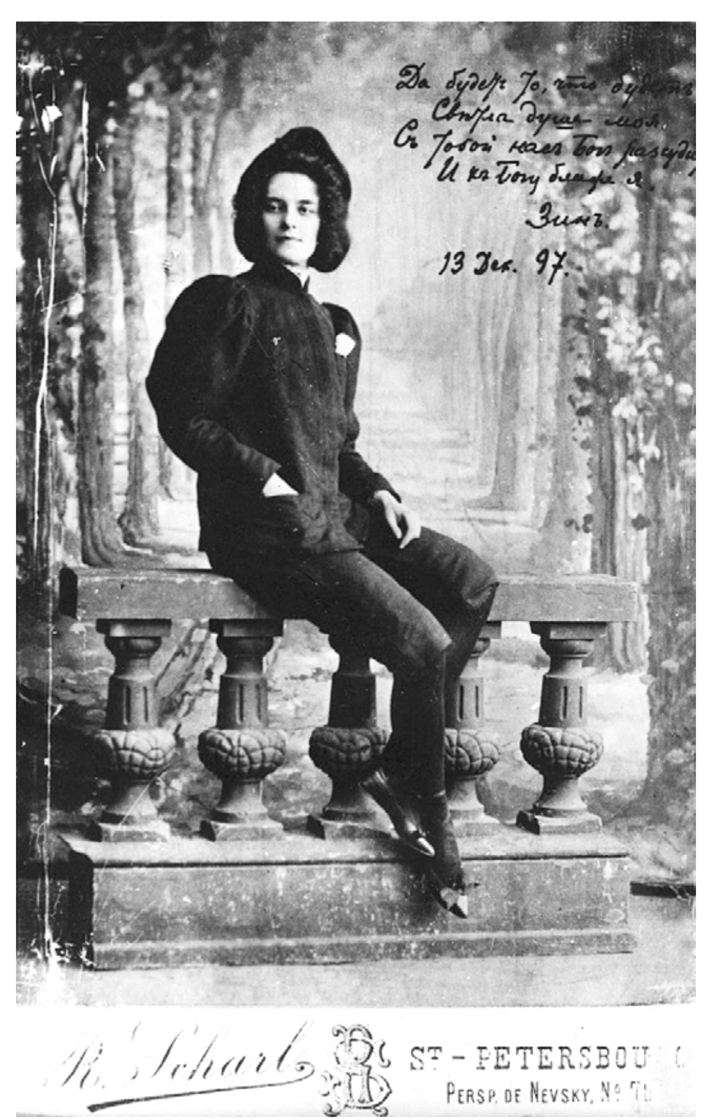
Зинаида Гиппиус в домашней обстановке с Д. Философовым и Д. Мережковским, 1914 год



Гиппиус на портрете Л. Бакста, 1906 год



Зинаида Гиппиус, 1910 год



Зинаида Гиппиус



Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская (1910)

Оглавление

Автобиографическая заметка...3
Contes d'Amour. Дневник любовных историй...10
О бывшем...65
Парижская ажанда...143
Синяя книга...169
Общественный дневник...196
Тайна зеркала (Иван Бунин)...405
Умная душа (о Баксте)...416
Около Толстого...422
Страничка прошлого...429
Почти-рай...432
Иллюстрации...439